

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:  
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)  
А. Г. Байбородин (Иркутск)  
П. В. Басинский (Москва)  
А. В. Болдырев (Курск)  
А. В. Кирилин (Барнаул)  
В. М. Костин (Томск)  
А. К. Лаптев (Иркутск)  
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)  
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)  
М. А. Тарковский (Красноярск)  
М. В. Хлебников (Новосибирск)  
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов  
ответственный секретарь

Максим Долгов  
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова  
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова  
редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев  
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов  
редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита  
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова  
Верстка: О. Н. Вялкова

**7/2019**

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Вячеслав СОФРОНОВ. Страна Печалия.</b> Главы из романа. ....	3
<b>Павел МАРКОВ. Одиночество.</b> Рассказ. ....	60
<b>Татьяна САПРЫКИНА. Лапочка.</b> Рассказы. ....	79
<b>Елена САВЕЛЬЕВА. Когда созреет урожай.</b> Рассказы. ....	94

### ПОЭЗИЯ

<b>Александр ГАБРИЭЛЬ. Дальняя станция.</b> Стихи. ....	55
<b>Владимир КОСТИН. Грустная память о лучшем.</b> Стихи. ....	75
<b>Вера ОХОТНИКОВА. Сорокопут.</b> Стихи. ....	91
<b>«Щекочет горло мотылек...» Александра Малыгина,</b> <i>Евгений Егофаров, Ольга Казаковцева.</i> Стихи. ....	110

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

#### *Гражданская война в Сибири*

<b>Морис ЖАНЕН. Отрывки из моего сибирского дневника.</b> ....	115
<b>Иван СМИРНОВ. От колчаковщины к советам.</b> <i>Переговоры с Политическим центром в январе 1920 года.</i> ....	148

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Константин ВАСИЛЬЕВ. Кресло особого устройства и тайный люк в полу — по народным слухам и по свидетельству просвещенной публики.</b> ....	166
--	-----

#### *Книжная полка*

<b>Владимир ЯРАНЦЕВ. Хор и голос.</b> ....	184
--	-----

<i>Авторы номера</i> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Вячеслав СОФРОНОВ

## СТРАНА ПЕЧАЛИЯ

Главы из романа\*

### Неприкаянная слободка

*Что пользы человеку от всех трудов его,  
которыми трудится он под солнцем?*

Еккл. 1, 3

Монастырская слобода, примостившаяся бочком на самой окраине Тобольска, вольготно раскинулась по берегу небольшой речушки, бегущей с близкого болота на встречу со своим могучим водным собратом — Иртышом. Уже никто и не помнил, когда появились здесь первые дома, и обычно вопрошающего отсылали ко временам первого сибирского архиепископа Киприана, собственно, тот монастырь и основавшего. Именно с тех самых пор, когда понадобились рабочие руки на строительство обители, и остались на монастырской земле многие трудники, соорудив себе абы как временные жилища из остатков, а иногда попросту из сворованных материалов.

Живший в слободе народ склонности к хлебопашеству или иному долговому и изнуряющему труду сроду не испытывал, и вряд ли когда это здоровое желание, свойственное большинству выходцев из черносошного крестьянства, могло в жителях неожиданно проснуться и заставить обратиться к земле. Как подшучивали над ними хозяйственные деревенские мужики: пахал бы долю, имей на то волю.

По той же причине никто из слобожан не спешил обзавестись хоть какой-то домашней скотинкой или курями, не говоря уже о косяке гусей, для которых местный луг и мелководная речушка были бы истинным раздольем. Даже обязательных для любого мужицкого двора собак слободчане не заводили потому, что и охранять-то у них нечего, а зазря тратиться на кормежку праздно сидящих в пустом дворе псов какой здоровый человек станет? Зато жили они вольготно и необременительно по завету Господню, повелевавшему людям в вере крепким не думать о дне завтрашнем, а надеяться, что наступит другой день, а уж с ним будет и пища.

---

\* Журнальный вариант.

Не для того они бежали с родных мест, чтобы в вольной Сибири тянуть крестьянскую лямку, когда вокруг, куда глазом ни кинь, имеется в достатке все, что душе человеческой угодно. Лишь руку протяни и бери чего пожелается: хоть зверя дикого, хоть птицу боровую или там ягоду лесную, не говоря о рыбе, что чуть не сама на берег выскакивает, на сковороду просится. Великого прибытка от богатств тех вряд ли станет, а концы с концами при желании, особенно если голод шибко прижмет, свести можно. Русский мужик, куда его судьба ни закинь, а пропитанием себя почти что голой рукой все одно обеспечит, к властям за куском хлеба не потянется.

Но объявлялись и такие, кто вдруг ни с того ни с сего пробовал заделаться пимокатом, а то и скорняком или, скажем, сапожником. А почему бы и нет? Сырье, пусть не лучшей пробы, сыскать по соседям или в ином месте завсегда можно. А уж дальше как пойдет. Может, и выйдет из неумелых рук обувка или там шапка заячья — то как стараться станешь.

Иной, наковыряв на берегу бадейку липкой глины, сядет погожим днем на крылечко возле дома и айда лепить из нее чашки-плошки, корчажки разные, одним словом, что бог на душу положит. Разложит здесь же на дощечках, любитесь изделиями своими, языком цокает. Сосед подойдет, башкой покрутит, глядишь, слово доброе скажет, улыбкой одарит, мол, нежданно-негаданно, а никак дар у парня объявился. И тому приятно: какой-никакой, а прибыток для дому, будет из чего щи хлебать. Только вот через денек или раньше пойдет вся его работа трещинками маленькими, скукожатся чашки-плошки и их не то что на стол ставить, а и показать кому стыдно. А все отчего? Секрета работы мастеру доморощенному никто не передал, не научил, как начатое до ума довести: печь соорудить, обжечь толком — тогда бы и на стол можно было нести. Оно завсегда так: душа чего-то просит, а как то желание исполнить, подсказать некому. Любой росток от корня идет, глубинные соки впитавшего. А без него ничто живое на земле жить не может: если что и взойдет ненароком, тут же в прах обратится.

Под стать мужьям были и слободские жены, сосватанные пришлым людом за Уралом, а чаще от прежних мужей обманом или посулами разными уведенные. Водился издавна в Сибири и такой обычай: за долг отдавать бабу другому мужику, что собственной женой обзавестись не сумел. Как лошадь в работу, коль нужда припрет. А уж что меж них ночной порой поведется — кому дело до того? От бабы не убудет, а как надоест, не ко двору станет — вон выпроводит. А коли кто уходил надолго в другой город на заработки или по иной надобности, то запросто оставлял супругу свою названую доброму знакомцу, твердо договариваясь, чтобы по его возвращении она обратно в дом к нему вернулась.

Знавшие о том отцы духовные давно махнули рукой на слободские порядки. И без того им забот хватало. Не бежать же по дворам с приглядом: кто да с кем ночевал нынче? Тем более что многие из женок тех и вовсе были веры басурманской и святой крест сроду не нашивали. Хотя



поначалу пробовали владыки тутошние вывести под корень весь этот блуд, накладывая епитимьи направо и налево на люд, уличенный в прелюбодействе. А что вышло? Обыватель сибирский, не привыкший надолго задерживаться на одном месте, оставлял ту епитимью вместе с надоевшей женой на вечную память молитвенникам своим, а через полгода объявлялся где-нибудь за тысячу верст от прежнего жительства.

Жены сибирские, восприняв от мужей стойкое неприятие домашней работы, не были сильны ни в рукоделии, ни в огородничестве, и подле домов их редко встречались возделанные грядки с той же капустой или репой, которые у иных хозяев бывают предметом постоянной летней заботы и изрядным подспорьем в семейном пропитании. Зато с середины лета и до поздней осени все они пропадали в лесу и на болотах, собирая кто до чего охотник. И плох был тот дом, где не нашлось бы пары бочек моченых грибов и кадушки со зрелой клюквой. Тем и жили, что тайга им угодовала. А зимой слободские женщины все как один вязали мерёжу для рыбацких сетей, пряли и ткали на заказ, не имея собственного льна, а тем более шерсти.

Дети при таком несуразном жизненном укладе и нестойкости семейной рождались крайне редко, и мало кто доживал до года. Хотя были и многодетные семьи, но, едва встав на ноги, старались они перебраться поближе к зажиточным горожанам, дабы не нести на плечах тягостный быт и уклад свободных нравов монастырской слободы. Кто против того мог дурное слово сказать? Каждый человек соломку там стелет, где ему ночевать приятней, и чужих подсказок не послушает. А слободчанам что? Съехали одни, а на другой день на их месте уже другие по собственной воле заявятся.

Так и жили по своим законам, не признавая порядков сторонних.

\* \* \*

Часто сменявшиеся монастырские настоятели не раз пытались прибрать под свою руку жителей соседствующей с обителью слободки. При этом они понимали, что тронь их, выкажи утвержденные властью права на землю и недвижимость — и обитатели ее, не отягощенные особым скарбом, в день соберутся и откочуют в иные края, где их уже вряд ли достанешь и вернешь обратно. Потому пытались воздействовать на них более тонко, силой убеждения и призывами потрудиться во благо церкви, нажимая на извечную русскую доброту и склонность к помощи ближнему.

Мужичков для подобных бесед приглашали в келью к игумену, где он встречал их в парадном облачении и, поинтересовавшись (больше для вида) здоровьем и делами, на что обычно получал в ответ красноречивое «че» или «ага», начинал вести долгие разговоры о соблюдении постов, спасении души и нуждах вверенного ему монастыря. Мужички, стоя на ногах, терпеливо его слушали, согласно кивали, а иногда в соответствующих местах и крестились широко, но ни единого слова в ответ не произносили. Каждый думал, как бы быстрее податься обратно, а некоторые



вообще впадали в сонное состояние и, смежив веки, пытались незаметно бороться с подступающей зевотой, не забывая продолжать кивать в такт настоятельским словам, считая за лучшее не мешать тому выговориться до конца.

Все разговоры заканчивались обычно призывом игумена по-соседски поспособствовать в разных хозяйственных делах, коих у монастырской братии было ничуть не меньше, чем дел духовных. При этом речь даже о малом материальном вознаграждении не велась, зато мужикам твердо обещалось, что за души их грешные будет обязательно отслужен молебен. Слободчане, выслушав игумена, клятвенно заверяли, что если не сегодня, то завтра непременно зайдут и подсобят чем могут, однако, добравшись до дома, в стенах которого они чувствовали себя в большей безопасности, не спешили выполнять данное обещание. Если настоятель и отправлял за кем-то из них служителя, то чаще всего сказывались больными, донельзя занятыми и в монастырь уже не шли, поскольку, по их разумению, псалмы, может, и поют хором, а трудится каждый своим двором.

Так и существовали, находясь в непосредственной близости друг от друга, монастырь и слобода, словно два государства, меж которыми не было ни мира, ни войны, но каждое считало себя свободным и от другого не зависящим. Для слободчан дорога была воля, лишиться которой они не желали ни за какие блага, а монастырскому начальству желалось прибрать ту слободу к рукам вместе со всем живущим там людом, только власти его на то не хватало.

\* \* \*

И так шла жизнь на земле, названной непонятным для русского уха словом — Сибирь. В стране горестной и печальной, необжитой людом православным, а потому заповедей Христовых в полной мере не воспринявшей.

Жалкая горстка христиан растворилась, как щепоть соли в артельном котле, меж болот и урманов. И не было силы, что могла бы связать их воедино, как остов храма, вершиной своей в небо устремленного. То там, то сям, словно ягоды, из лукошка оброненные, ютился народ православный на просторах сибирских. Каждый сам по себе, безобщино, порознь, не скрепленный единой молитвой и верой в силы свои. Уж чересчур широк шаг у русского мужика. С версту, а то и поболее за один мах проходит. Поди угонись за ним, ежели он никакого удержу не знает, будто пожар верховой бежит, ветром подгоняемый. До работы ли ему, когда впереди простор немислимый? Пока не упрется в окоем берега морского, ни за что не остановится. Потому и о достатке не помышляет, что хочет он найти страну неведомую, где иной власти нет, окромя как от Бога.

Вот когда осядет на землю, остепенится, тогда и зачнет о хозяйстве думать, скотиной обзаводиться, денежку помаленьку впрок копить. А пока он всю ширь земли, ему задарма привалившей, не узнает — не успоко-



ится. Нечего и думать остановить его хоть силой, хоть уговорами. Все одно утечет, как вода в половодье, берегов не познавшая. Никакая власть не в силах совладать с таким народом. Силенок не хватит обуздать его и привязать к стойлу. Уж таковым он уродился и помрет — с верой и мечтой о свободной стороне, до которой дойти не успел...

## Начало сибирского жития

*Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их.*

Еккл. 4, 9

Именно в этой самой слободе и выпала доля обосноваться опальному протопопу Аввакуму. В небольшом домике, куда церковные власти издавна селили своих служителей, не разрешая никому другому его занимать. Впрочем, имелись в городе и другие, более пристойные дома для проживания духовенства. Но коль скоро находились они в ведении злопамятного архиерейского дьяка Ивана Струны, то он, узнав, кого владыка Симеон желает обеспечить жильем, поспособствовал в отведении места речистому протопопу наихудшего, показав тем самым, на чьей стороне власть, а значит, и сила.

Провожавший Аввакума келейник Спиридон не проронил за всю дорогу ни словечка. Сколько протопоп ни пытался с ним заговорить, тот лишь отделялся невнятным хмыканьем и кивками в знак согласия с изрекаемыми собеседником словами. Проведя протопопа через всю слободу, он остановился напротив стоявшего на отшибе, почти до крыши занесенного снегом домишки, в очередной раз кивнул и произнес единственную фразу: «Вот пришли, видать...» Чуть постоял, затем круто повернулся и побежал обратно, будто за ним гнался кто-то невидимый. Аввакум в недоумении посмотрел ему вслед, а потом, шепча про себя молитву, стал пробираться по колено в снегу к входу в свою неказистую обитель.

Дом мог быть назван жилым только человеком, обладавшим очень богатым воображением, который к тому же видел его издали. Вблизи же он оказался жалкой лачугой, где, кроме стен и полуразрушенного очага, ничего больше не было. Даже имевшуюся когда-то дверь добрые люди сняли и унесли неизвестно куда. Небольшое отверстие, бывшее, судя по всему, окном, куда в лучшие времена вставлялась слюдяная рама, зияло откровенной пустотой и совместно с дверным проемом создавало сильный ветрогон. На удивление сохранились остатки колотых бревен, служащих некогда в качестве половых плах. И то, внимательно глянув на них, Аввакум понял, что расхитители побрезговали ими по причине их полной трухлявости.

В углу лежала гнилая же солома, из чего можно было заключить, что какой-то бродяга в урочный час укрывался здесь от непогоды, а затем и он покинул негостеприимное жилье, найдя себе более надежное при-



бежище. Сносно выглядели лишь изрядно прокопченные балки и присыпанные толстым слоем земли, просыпавшейся местами вниз, толстые потолочные плахи, до которых по какой-то причине не дотянулись жадные чужие руки. Посреди них, прямо над остатками глинобитного очага, было дымовое отверстие; через него просматривался небесный свод, покрытый слоистыми тучами, предвещавшими скорый снегопад.

Аввакуму сделалось нехорошо от вида уготовленного ему жилища. Он помянул недобрым словом Ивана Струну, стараниями которого стал обладателем сих хором, дав себе слово при удобном случае отплатить ему чем-то подобным, и искал глазами, куда можно хоть на время присесть. На глаза ему попался чурбачок, и он со вздохом опустил на него, пытаясь собраться с мыслями.

Любой другой на его месте тут же бы направился на поклон к владыке Симеону или к зловредному дяку, да только не он, протопоп Аввакум. Нет, лучше он будет спать на улице или в ужасной монастырской избе, поедаемый клопами, но никогда не покажет своей слабости и не попросит о милости. Он верил, что это есть очередное испытание, посланное ему Господом, которое нужно во что бы то ни стало пройти, а потому, стиснув зубы, стал прикидывать, как сделать жилье хоть чуточку обитаемым к приезду семьи.

Главная беда его заключалась в том, что, будучи по рождению поповским сыном, а после сделавшись служителем церкви, он никаким трудом, тем паче строительством не занимался. Правда, при случае он мог расколоть одно-другое полено, но если бы вдруг кому случилось увидеть его потуги со стороны, то, не скрывая усмешки, свидетель позора тут же отобрал бы у него главный мужицкий инструмент, дабы батюшка по нечаянности не отсек себе чего.

Жил Аввакум с самого рождения исключительно в общинных домах, построенных всем миром специально для батюшек, назначаемых на приход. Те жилища мало чем отличались от домов зажиточных горожан, и внутри постояльцев ждала какая-никакая, а домашняя утварь, под навесом во дворе лежал изрядный запас дров, а в помощь матушке обычно приходили сердобольные соседки, спешившие подсобить по хозяйству и прочим хлопотным житейским делам. Церковный староста регулярно направлял, согласно заведенному порядку, деревенских мужиков для исполнения тех или иных рабочих надобностей. Они и дрова кололи, и воду подвозили, и ремонтировали в случае необходимости сам дом.

Еще не так давно протопоп и представить себе не мог, что ему придется заниматься мужицкой работой, к которой он относился с некой брезгливостью, полагая себя пригодным лишь к церковному служению. И никто никогда неумение то в вину ему не поставил. Так уж повелось, что служители церковные сроду хозяйство не вели, за что работный народ, живший бок о бок с ними, украдкой, а иногда и в открытую подсмеивался над батюшками-неумехами. А на неоплачиваемую работу свою отвечал шутками и побасенками, описывая в них не всегда приличными словами лиц звания духовного.





Аввакум не сомневался, что и здесь, в Тобольске, найдутся со временем люди, которые возьмут все хозяйственные заботы на себя, но как быть на первых порах, просто не знал. Сейчас же он не мог себе позволить даже глотка воды испить, не имея посуды под воду и не зная, где ее берут.

Вот Марковна его — та обладала редким умением сходитьсь с нужными людьми и всегда устраняла мужа от суетных хозяйственных дел, беря все на себя. Так что иных забот, кроме церковного служения, Аввакум не ведал, и сейчас ему оставалось лишь дожидаться приезда своей спасительницы. И тогда совместная жизнь у них непременно наладится и войдет в привычное русло. А он продолжит свою личную борьбу с никонианами, как он с некоторых пор стал звать всех сторонников введения новых церковных обрядов. И будущее вновь приобрело для протопопа вполне реальные очертания и смысл, заключающийся в вечном противостоянии с теми, кто не разделял его собственных убеждений.

Но не мог он тогда знать, что судьба преподнесет ему в далеком сибирском городке еще немалые житейские испытания, и на сей раз не со стороны ненавистного патриарха, а от безобидных соседей по монастырской слободке, жить рядом с которыми он вынужден будет весь срок пребывания в Тобольске. А слобода та ничем от похожих на нее мест не отличалась, но, находясь на сибирской земле, несла на себе вечную печать скорби и уныния, чей вкус отведать предстояло и несгибаемому протопопу помимо его на то воли.

\* \* \*

Еще чуть посидев на нагретом им чурбачке, он решил действовать и широкими шагами направился в монастырь, где оставил привезенные с собой вещи.

Пока он шел по улице, ему попалось несколько человек, которые торопливо кивали в знак приветствия, но подойти под благословение к незнакомому, к тому же спешащему куда-то батюшке не решались. Были то главным образом тетки солидного возраста, и Аввакум решил, что большим грехом не будет, если он заговорит первым.

Выбрав одну, вида более степенного и благообразного, неспешно поздоровался, перекрестил ее, склонившуюся в поклоне, и спросил, отойдя на несколько шагов, дабы никто ничего дурного не подумал:

— Скажи, матушка, где здесь народ воду берет?

— Тебе для пищи или на стирку требуется? — живо отозвалась та.

— Ты, родная, скажи, где берут ее, а там видно будет, пить ли ее стану или щи варить, — ответил он, заметив, как проходящие мимо редкие люди замедляют шаг и прислушиваются к их разговору.

— Неужто батюшка сам щи готовить станет? — недоверчиво спросила баба, тоже поглядывая по сторонам и кивая знакомым.

— Прежде чем щи готовить, не мешало для начала хотя бы просто воды испить, а где ее берут, не знаю.



— Так пойдем до моего дома, напою.

— Как-то неловко, — замялся Аввакум.

— Коль неловко, то можно и от жажды умереть. А ты разве не при монастыре состоишь? Тут у нас других батюшек вроде и нет, а тебя вот впервые заметила, — зачестила словоохотливая женщина, которую снедало обычное бабье любопытство узнать все подробности о незнакомом человеке.

— Нет, я сам по себе. Из Москвы два дня как приехал на службу к вам...

— Из самой Москвы? — всплеснула та руками. — Чего же к нам-то вдруг? Какая нужда заставила? Или места поближе не нашлось?

Аввакуму не хотелось разводить разговоры посреди улицы, а посему, не ответив на вопрос, он принял приглашение:

— Хорошо, пойдем к тебе в дом. Там и водицы изопью, и расскажешь заодно, где братъ ее следует.

Баба согласно кивнула и столь же быстро, как и говорила, засемила к дому, оказавшемуся в нескольких шагах.

— Фома, черт сивый, вставай, гости к нам! — закричала она в глубину полутемного помещения, откуда тут же раздалось глухое ворчание и вскоре появился не одетый мужик с всклокоченными и, действительно, сивыми волосами, который с недоумением уставился на Аввакума.

— А это кто? — спросил он у жены. — Ты, Устинья, зачем его к нам привела? Опять станет на работу в монастырь звать, а мне еще за те разы не плачено.

С этими словами он развернулся и пошел обратно.

— Не бойсь, — отмахнулась от него, как от мухи, хозяйка, — не из этих он, не из монастырских. Приезжий батюшка. С Москвы. — Она протянула Аввакуму деревянный ковш с водой: — Да ты на него внимания не обращай, он только с виду сердитый такой, а на самом деле душу добрую имеет. Вот попей.

— Благодарствую, — ответил протопоп и сделал большой глоток. — С колодца вода или с реки?

— Колодцы рыть испокон веку в Сибири не заведено. С реки таскаем. Так что и тебе, батюшка, туда же придется ходить. Только неужто ты сам за водой пойдешь?

Последние слова она сказала со смехом, и Аввакум невольно смутился, представив, как он в рясе и с крестом на груди тащит ведро с водой.

— Надолго к нам в Тобольск? — спросила Устинья, и глаза ее лукаво блеснули. — Чай, один, без семьи прибыл? Знала я такого: у одной вдовы на постой станет, а как та на сносях окажется, к другой переберется. Так и жил, пока владыка его не отправил куда-то. После трое ребятишек в городе у разных баб осталось. Живут и родного батьку не знают.

Аввакум смутился еще больше, подумав, что Устинья эта необычайно остра на язык, и поспешил оправдаться:

— За мной подобных грехов сроду не водилось. У меня жена законная и детей четверо с ней следом едут, жду их со дня на день. А меня



в дом определили, где ни окон, ни дверей, ни печки нет. Не знаю, как семью в такой дом принимать.

— Это не тот ли дом, где раньше покойный дьякон жил? Он почитай второй год без хозяина стоит в конце слободы. Неужто туда определили? — спросила с неизменной усмешкой Устинья. — Повезло вам, батюшка, прямо скажу. Там и остая в малице своей не всякий мороз выдержит. Как же жить там станете?

— Сам не знаю, — вздохнул Аввакум. — Так уж вышло...

— Да уж, вышло так вышло, не утянешь и за дышло, — неопределенно высказалась хозяйка, а потом неожиданно громко крикнула, чуть повернув голову вглубь дома: — Слышь, Фомушка, батюшка нам теперь соседом будет, коль до утра в доме том дотянет. Чего скажешь?

— А чего я скажу? — отвечал муж. —хлопотать надо, чтоб новое жилье дали. В этом жить никак невозможно.

— Вот и я о том же, — поддержала его жена. — Проси, батюшка, другое для себя пристанище. Хлопочи перед владыкой нашим или еще перед кем, а сюда определяться, да еще с семьей, и не думай.

— Нет, иное жилье просить не стану, — упрямо ответил Аввакум. — Авось проживем и здесь, коль Богом так уготовано.

— Ишь какой гордый, — одобрительно хмыкнула. — Тогда проси у наших мужиков помощи, без них никак не обойтись. Пусть на первое время хоть дров кто даст протопить внутри.

— Кто же ему дров в самые морозы даст? — подал голос Фома. — Сейчас каждое полено у людей на счету. На других запас не готовили.

— Может, у нас заночуешь? — предложила Устинья, но муж ее громко закашлял и что-то забормотал, из чего Аввакум заключил, что будет здесь гостем нежеланным.

— Ладно, спасибо за добрые слова и то, что воды испить дали. Пойду в монастырь, авось там найду кого в помощники себе, — сказал он, поклонившись. — Надо как-то дом тот обживать.

— Да уж... — сочувственно развела руками хозяйка. — Ты, Фома, это... помоги батюшке чем можешь. Негоже будет, если человек рядом с нами замерзнет. Да еще в сани. Ты, Фомушка, пойдй с ним, пойдй, у тебя душа добрая, я же знаю, — ласково закончила она.

Супруг ее, которому явно не хотелось вылезать из своего теплого угла, непрерывно ворча что-то себе под нос и покашливая, вышел к свету, глянул из-под густых бровей на протопопа и принялся одеваться. Был он в плечах широк и костист, но как-то не уверен в движениях и даже застенчив, хотя и производил впечатление человека хмурого и сердитого. Аввакум дождался, пока он оденется, вновь поблагодарил Устинью, и они вместе с Фомой вышли на улицу.

\* \* \*

У самых монастырских ворот Фома вдруг встал и твердо заявил:

— Внутрь не пойду. Ты, батюшка, иди, а я здесь подожду. Так мне спокойнее будет.

— Отчего же? — удивился Аввакум, подозревая, что спутник его совершил в свое время что-то недоброе в стенах обители, отчего и не хочет теперь там показываться. — Если грех какой за тобой числится, то скажи — сам с настоятелем объяснюсь.

— Грех на всех нас один: мало братии монастырской помогаем, а живем на их земле и податей не платим. Если сейчас меня кто увидит, то вмиг снарядят в работу. Так что я лучше здесь останусь.

Аввакум чуть подумал и решил, что спорить бесполезно, а потому, не тратя время понапрасну, пошел в монастырь один. Там он далеко не сразу нашел вездесущего Анисима, который, увидев протопопа, смутился и даже сделал вид, будто не узнал его, однако потом хитрые глазки его заблестели и худое прыщеватое лицо расплылось в подобострастной улыбке. При этом шапка у него была надвинута по самые брови, но не могла скрыть зловещий синяк, обрамлявший левый глаз.

— А-а, ты, батюшка, верно, за вещами пришел? — предвосхитил монах вопрос Аввакума. — Все они в целости, в сохранности, я за ними тут присматриваю, чтоб, избави бог, не покусился кто.

— Благодарствую, — сухо поблагодарил его Аввакум. — А кто это тебя приложил? Светит так, что ночью без фонаря ходить можно. Свои наставили или иной кто нашелся?

— Так тот мужик, что тебя привез, — с готовностью сообщил Анисим. — Давеча заходил злой весь и, ни словечка не сказав, двинул мне прямо в глаз. А за что, спрашивается? Говорит, будто вор я и сбрую у него украл. А зачем мне его сбруя? У меня лошадей сроду не было, а посему никакая сбруя мне не нужна, — зачастил он, натужно всхлипывая. — Можно подумать, он меня за руку поймал, когда я у него сбрую ту крал. Эдак напраслину на каждого навести можно...

— Значит, Климентий так с тобой рассчитался, — прервал его излияния Аввакум. — И правильно сделал. Может, и не ты сбрую у него спер, того не знаю, но уж больно морда у тебя хитрая и сам ты проныра пронырой. Синяк — он что? Заживет! А вот Климентий без сбруи просидел здесь трое суток зазря... Значит, уехал он?

— Уехал, батюшка, уехал, слава тебе господи! И век бы мне его не знать, может, и не свидимся больше на этом свете.

— Ладно, хватит трюндычить, веди меня к вещам моим.

— Пойдем, батюшка, рад служить всей душой. Ты только помяни меня грешного в молитвах своих, а я уж помогу чем смогу, — продолжал он непрестанно говорить, пока шли к покосившемуся монастырскому сараю.

Там Анисим снял с пояса большой ключ, открыл дверь и нырнул в темноту, где незнающий человек тут же или спотыкнулся бы о что-нибудь, или разбил себе лоб, потому как свет проникал в помещение лишь через узкое пространство двери. По этой причине Аввакум не решился войти внутрь и дождался, пока Анисим вытащит во двор его дорожный сундук, где находились самые необходимые вещи и богослужебные книги, а следом за ним и ларец с бумагами и письменными принадлежностями. Там же хранились все наличные деньги, взятые Аввакумом с собой в до-



рогу, но большая часть их уже была истрачена во время пути, и оставалась самая малость, отложенная на черный день.

Аввакум внимательно осмотрел замки и убедился, что они целы и невредимы, сдержанно поблагодарил Анисима за заботу об имуществе и заметил, как глаза того хищно блеснули, когда взгляд упал на извлеченные из сарая вещи.

— Это и все добро, что ты из Москвы привез? — удивился Анисим. — Не много же вы добра нажили...

— Сколько есть, все мое, — отмахнулся Аввакум от назойливых вопросов не в меру любопытного монаха. — Помогите лучше до ворот дотащить, там меня человек поджидает. А санок не найдется у вас? Потом верну обязательно.

— Есть и санки, на них дровишки возим. Только боюсь, как бы кто не хватился их, — наживу тогда неприятностей за доброту свою, — намекнул проныра на необходимость платы за пользование монастырским имуществом.

— Погоди, на ноги встану, там и отблагодарю, — пообещал Аввакум.

— Как скажешь, батюшка, — покорно согласился Анисим. — У нас так говорят: коль чего не дадут, то и в грех не введут.

Он юркнул куда-то за сарай и вскоре возвратился с небольшими санками, на которые сообща взгромоздили сундук, а сверху поставили ларец. На подходе к воротам Анисим еще издали заприметил стоящего снаружи Фому и радостно, будто родному человеку, закричал:

— А-а... вот кто в помощниках — Фома неверующий! Давненько тебя не видел. Где прячешься? Чего не заходишь? Отец Павлиний несколько раз тебя поминал, мол, сказано было тебе еще по осени, до Покрова, воротины на столбы навесить, а тебя и днем с огнем не сыщешь. Когда обещанное-то выполнишь? Так и доложу отцу настоятелю, что тебя видел и ты опять от работы отказался. А уж он пусть поступает как знает с тобой. Может, и епитимью наложит. Как тогда жить станешь?

— Принесла тебя нелегкая, как знал — не хотел идти... — Фома сплюнул. — Ты меня епитимьей не страшай, а то у меня тоже есть что про тебя настоятелю рассказать. Устинья моя на той неделе видела, как ты на базаре сапоги продавал, а они никак не твоего размера. Стало быть, стибрил опять у кого-то. Мне твой грех этот давно известен. Вот и доложу отцу настоятелю, каков ты есть. Поглядим тогда, кого первым накажут. Я и с вашей епитимьей проживу, а вот тебя из монастыря как есть выпрут. Точно говорю, мое слово верное.

— Ладно, ладно, остынь, — примирительно заявил Анисим и, переведя взгляд на Аввакума, торопливо стал объяснять: — Сапоги мне от младшего брата достались, а размер, точно, не мой. Что же мне с ними делать? Вот и отправился на базар продавать. Большого греха в том нет...

— Грешно, коль монашествующий человек торговлей занялся, — назидательно обронил Аввакум, которому не хотелось становиться свидетелем перепалки.



Но мнение его об Анисиме окончательно укрепилось: человек он на руку нечистый и дел с ним больше иметь не стоит.

— Да, а отец Павлиний в монастыре или опять отъехал куда? — спросил он Анисима, который почел за лучшее укрыться за монастырскими стенами, пока Фома не обвинил его еще в чем-нибудь, и уже направлялся обратно, даже не попрощавшись.

— Не знаю, — ответил тот на ходу. — Вроде бы еще не возвращался, как третьего дня уехал. Завтра узнавайте... — И с этими словами скрылся из виду.

— Ладно... — проговорил Аввакум и обратился к Фоме: — Ну что, поехали?

— Ага, — однозначно согласился помощник и впрягся в сани.

К новому жилищу Аввакума они шли молча, и каждый думал о своем.

Фома мечтал, как бы поскорее вернуться домой, забраться в теплый угол и там, как он делал каждый зимний вечер, рисовать в воображении, что, когда вновь наступит долгожданное лето, он непременно сбежит куда подальше от надоевшей жены с ватагой таких же, как он, молодцев с неуспокоенной душой.

В Тобольске он порядком подзадержался, сойдясь с Устиньей, и без малого два года маялся от безделья. Натура его не позволяла сидеть долго на одном месте, душа требовала частых перемен, а потому любил он проходить за день по многу верст, узнавать новые, ранее неизвестные места, знакомиться с людьми, ночевать где-нибудь под кустом на берегу малой речки и знать, что никто завтра не явится по его душу и не отправит на работу.

Тем и нравилась ему Сибирь, что можно было здесь жить так, как душе твоей угодно, оставаясь человеком вольным и независимым. Но год от года становилось все больше желающих закабалить его, Фому, приставить к какому-то занятию. То воеводский дьяк объявится, то игумен монастырский. И все норовят снарядить его в работу, заставить делать что-то ему, Фоме, неприятное и ненужное. Да не таков он, чтобы дать накинуть себе на шею хомут рабочей лошади. И раньше с других мест уходил он, как только ощущал повышенное внимание к себе власти государственной или церковной. И пока он силен, и живет в нем вольный дух свободного человека, и ноги в состоянии уносить его от кабалы господской, будет он, Фома, идти все дальше и дальше, покуда не найдет уголок, где до него никому не будет дела...

Аввакум же, наоборот, думал, как бы побыстрее обосноваться в новом для него городе и зажить спокойно, размеренно, что у него обычно плохо получалось. Каждый раз, лишь начинал он чувствовать недостаток в доходах своих и начинали его уважать прихожане, появлялись дети духовные, чем он больше всего гордился, считая главной пастырской заслугой наличие душ, ему доверявших, — как на грех, открывалась ему в чем-то неправда, терпеть которую он не мог и безудержно бросался изводить под корень. Попытки эти заканчивались всегда одним и тем же: зло, с коим он боролся все эти годы, оказывалось если и не сильнее его,





то хитрее, коварнее и знало, когда подставить ножку противнику и опрокинуть его на землю. И ведь никто не заставлял его вступать в неравную ту борьбу, рисковать не только собой, но и женой, детьми, которые волей-неволей оказывались пусть не участниками, так свидетелями его обидных поражений и очень редко — малых побед.

«Побед... — повторил Аввакум про себя. — А были ли они, победы? И если случались, то где их плоды? Победителей не ссылают к черту на кулички...»

Произнеся даже не вслух, а мысленно, про себя имя врага рода человеческого, Аввакум поморщился и на ходу перекрестился, для чего ему пришлось отпустить ларец, который он осторожно поддерживал, тогда как Фома тащил сани. В этот самый момент под полоз попала небольшая кочка, отчего сани накренились и ларец полетел в снег на обочину дороги.

Протопоп тут же подхватил его и грозно крикнул Фоме:

— Вези осторожней, не дрова чай!

Фома от этих слов остановился, повернулся всем корпусом к Аввакуму и, сузив глаза, спокойно проговорил:

— Ты, батюшка, того... это самое... Замашки свои брось. А то знаю я вас, долгогривых: вам только палец протяни — вы по локоть откусите. Тащи сам, коль не нравится. Я тебе не холоп какой, чтобы помыкать мной.

Аввакум невольно растерялся от подобных речей и, набывчившись, вырвал из его рук веревку, перекинул через плечо и сам повлек сани. На первой же кочке, которых тут было великое множество, злополучный ларец вновь грохнулся вниз, и ему пришлось останавливаться, поднимать его. Фома же так и стоял там, где его застал оклик протопопа, и с интересом глядел на тщетные усилия того справиться с тяжелой поклажей.

— Ладно уж, давай помогу, коль взялся. Благо почти добрались до дома твоего, совсем чуть осталось. Видно, вся ваша порода такая, что всякого, кто по званию вас, попов, ниже, вы своим холопом считаете. Дело твое, но здесь, в Сибири, ты бы попридержал норов, а то он тебя вскорости и до беды доведет.

Он перехватил веревку из рук Аввакума и молча повез санки дальше. Аввакум же засеменял следом, положив руку на ларец и думая, что стоит лишь помянуть нечистого, а он уже тут как тут и норовит разъединить, поссорить людей. Тяжко вздохнул и принялся читать на ходу молитву, стараясь ступать в такт шагам Фомы.

Когда они дошли до лачуги, отведенной Аввакуму под жилье, Фома помог занести внутрь сундук, сокрушенно глянул по сторонам и, ни слова не сказав, зашагал домой. Аввакум, оставшись один, первым делом открыл ларец и извлек оттуда небольшую иконку Казанской Божьей Матери и поискал глазами, куда бы ее поставить. Не обнаружив подходящего места, вынужден был пристроить ее на чурбачок, после чего опустился перед ней на колени и принялся благодарить заступницу за все ее благодеяния и помощь в делах.

— Если бы не Ты, Матушка, — шептал он негромко, — то меня давно бы в живых не было и детки мои наверняка сгнули, без отца родного



оставшись. Спасибо Тебе за все. Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего... — вычитывал он знакомую с детства молитву, при этом успевая отсчитывать сделанные им поклоны, которых по раз и навсегда установленному порядку совершал он в день не менее пятисот, а жене по занятости ее разрешал делать хотя бы двести с полста.

Пока он молился, все земное и житейское незаметно ушло из мыслей его, и в пылком воображении протопопа возник цветущий райский сад, похожий на яблоневые сады в весеннюю пору в его родной деревне. И как бы со стороны он видел себя меж деревьями, неспешно прогуливающегося под ручку с Анастасией Марковной, которая тихо и радостно улыбалась ему, незаметно поглаживая кисть мужниной руки. Где-то рядом бродили и другие счастливые супружеские пары, чьих лиц он различить не мог, но и не нужно ему было знать тех лиц — хватало и того, что он счастлив и так будет продолжаться всегда, целую вечность...

Досчитав до пятисот, он взял в руку иконку, поцеловал ее пылающими неземным огнем губами в край ризы, поставил обратно и, еще раз перекрестившись, поднялся на ноги. С горечью оглядел свой необитаемый приют, тяжело вздохнул и решил заняться устройством его.

Для начала он выломал из пола гнилую половицу, достал нож, креса-ло и трут, настрогал щепы и попытался ее разжечь. Одна малая лучинка чуть затлела и тут же погасла. Он отщепил еще одну, стараясь сделать ее потоньше, и опять поджег. После нескольких попыток робкий огонек заиграл в безжизненном доме, что весьма обрадовало и ободрило Аввакума. Он протянул к огню руки, погрел их, а потом положил сверху и всю половицу, которая долго не разгоралась и вдруг занялась жарким пламенем, выбросив из себя сноп искр. Искра попала ему на одежду, и он испуганно отскочил от огня, огляделся по сторонам, опасаясь, как бы пламя от его неумелых действий не перекинулось на стены. Наконец сообразив, что огню нельзя давать распространяться по всей половице сразу, он ногой переломил ее, положил обломки один на другой и стал внимательно следить за своим костерком.

## Подружки

*Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше.*

Еккл. 7, 3

В тот же вечер жители монастырской слободки стараниями словоохотливой Устиньи уже знали, что меж них поселился прибывший из Москвы батюшка, и это дало им пищу для долгих размышлений и предположений. В дом к Устинье, которая в свои сорок лет умудрялась оставаться бабой шустрой и расторопной, благодаря чему всегда первой знала все слободские и городские новости, явились одна за другой две ближайšie соседки — казачья вдова Варвара и дочь старого рыбака Глашка, обе незамужние, а потому никому не подвластные и по той же причине на язык злые.

Варвара по возрасту была ровесницей Устинье, а Глашка хоть и прожила на десять лет меньше, однако успела хлебнуть за свой короткий век всякого и умела постоять за себя не хуже любой базарной бабы. Объединяло их общее желание найти себе в спутники доброго и хозяйственного мужика, про которых говорят, что жить за ним можно как за каменной стеной. Но этакая порода для Сибири слыла большой редкостью и все больше попадались такие, как Фома, что только и мечтал, как бы посытнее пожрать и завалиться спать на весь день. Одинокие мужики, если и появлялись в слободе, долго не задерживались на одном месте. И однажды, не вынеся нескончаемых попреков сожительницы, чаще всего тайком, сбегали куда глаза глядят, оставляя спутнице своей возможность браться и дальше, да теперь уже в сторону пустого угла.

Устинья за последние несколько лет поменяла уже троих один с другим схожих «шатунов», как она их называла, и не особо оттого кручинилась, надеясь лишь на собственные руки и сметку, благодаря которой ей и удавалось выживать да еще содержать таких вот нахлебников, как Фома. Как только соседки узнали, что в дом к ней заходил приезжий протопоп, у них пробудился здоровый интерес порасспросить ее, кто он таков и надолго ли прибыл в Тобольск.

— Каков он собой-то? — спрашивала Глашка, рассчитывая, что в скором будущем обязательно познакомится с тем батюшкой, а там... чем черт не шутит.

Соблазнил ее когда-то в совсем еще юном возрасте известный на всю округу Степка Соколок, чей прах давно покоился на слободском кладбище. После того побывало у нее полюбовников немало, но ни один из них не повел речи о замужестве и совместном житье. Объяснялось это прежде всего тем, что нравились Глафире парни видные, у родителей которых, однако же, были свои виды на сыновей. Им подыскивали невест из семей состоятельных, чтоб хотя бы таким путем выбраться из печального положения монастырских поселников. А у Глафиры, чье приданое состояло разве что из рваного отцовского невода да собственной нехитрой одежды, особых перспектив на замужество с такими женихами не было. На других же парней, тихих и незаметных, побаивающихся ее за словечки дерзкие, а порой и непристойные, она и сама глядеть не желала, поднимая на смех всякого, кто пытался только намекнуть ей на свое расположение.

В летнюю пору любила она прохаживаться поблизости от монастыря в ладно сшитом зеленом сарафане, в зеленом же кокошнике на гордо посаженной голове и с доставшейся от покойной матери ниткой речного жемчуга на шее. Она выжидала кого-либо из монастырской братии, направляющегося в город по делам, и, оказавшись поблизости от инока того, неожиданно охала и хваталась за грудь.

Редко кто не бросался к ней с помощью, думая, будто бы девице стало худо и она сейчас, лишившись чувств, повалится на землю. Ей же того и надо было. Обхватив чернеца обеими руками за шею, она расслабленным телом припадала к нему, как былинка к могучему стволу, и губы шалуни оказывались в опасной близости от уст ничего не подозреваю-

щего монаха. Чем заканчивались эти припадки, никто толком не знал, но по тому, с каким завидным постоянством игумен изгонял из стен обители то одного, то другого инока или послушника, можно было судить о немалых Глашкиных успехах.

Потом, когда слава о ее шуточках стала уже, как водится, бежать впереди девки самой, монахи, завидев еще издалека зеленый сарафан соблазнительницы, подобрав полы рясы, пускались наутек, словно гнался за ними сам искуситель рода человеческого. Ничуть не унывая, Глафира стала искать применения своим талантам под сенью храмов Божьих, посещая по очереди все городские церкви и высматривая там молодых детей поповских, помогающих отцам во время службы. Тут она уже не разгрызала сцен с потерей чувств, а, наоборот, проявляла их, не сводя взора, горящего неистощимым огнем, с того или иного прыщеватого поповича.

Воспитанный в строгости и не отпускаемый родителями ни на какие гулянки, отрок тот, встретившись однажды неопытным взглядом с ее горящими зелеными очами, чаще всего с первого раза бывал поражен огнем, обещавшим неземное блаженство. Ладно, коль батюшка его, пекущийся не только о службе, но и о состоянии души отрока, вовремя замечал опасные переглядывания и принимал срочные и действенные меры, заключавшиеся в сокрытии юнца в стенах отчего дома, а когда и это не помогало, то в отправке к какой-нибудь родне куда подальше.

Но в двух случаях из трех Глафира тайным оружием своим лишала неоперившегося поповича рассудка и воли, встречаясь с ним тайно в заповедных и тихих уголках, которые при желании и великой любовной страсти всякий может сыскать. Все ее победы на церковном поприще рано ли, поздно ли становились достоянием местных кумушек. Варвара с Устиньей, единственные из слободских баб относящиеся к ней с сочувствием и покровительством, во время вечерних посиделок с плохо скрываемым любопытством пытались разузнать у нее подробности тех походов. Однако Глафира, напуская на себя таинственность и истому, лишь отмахивалась от их щекотливых вопросов. «Да ничего такого не было», — обычно отнекивалась она, опустивши скромно глаза свои вниз, так что если бы кто не знал ее и увидел в первый раз, то принял бы вовсе не за великую грешницу, а за деву, себя блюдущую в постах и молитвах и ни о чем греховном не помышляющую.

«Так уж и не было?» — дергала ее за одежду Устинья, знавшая толк в любовных утехх, но и на мгновение не представлявшая себе, как это можно пойти и завязать знакомство с незнакомым прежде человеком. Так называемые мужья ее, через короткий срок бесследно исчезающие, обладали безошибочным чутьем и немалым опытом в отыскании приюта близ одинокой женщины, которая неизменно нравилась мужикам этой породы. И она принимала очередного горемыку, как бы ненароком попросившегося на ночлег, а потом задерживающегося по обоюдному согласию на зиму, а то и на две, полагая, что то и есть промысел Божий — оказывать сострадание и помощь ближнему. А куда ж деваться, коль ласками мужскими она никогда не бывала избалована и по-своему ценила их, понимая, что

бабий ее век давненько начал клониться на закат и вскорости сумерки сменяются долгим ночным мраком.

Варвара в отличие от Устиньи худо-бедно прожила со своим казачком почти десяток годов, из коих, если подсчитать, когда видела его дома, и годика по дням не наберется. Все-то он был в походах да разъездах, ладно хоть привозил каждый раз какое-никакое барахлишко, о происхождении которого рассказывать не любил. Если Варвара не успевала спрятать привезенные им из очередного похода, изрядно поношенные, еще хранящие чужой запах вещи, то он их неизменно пропивал. Она же брезговала оставлять себе чего из плохой одежки и выменивала ее на что иное, чем и жила, когда муж ее, чуть погостив и от души погуляв, опять отправлялся, как он заявлял, «по делам государевым». Не говори он при прощании слова эти, может, и нашла бы она иного кого, будучи бабой домовитой и хозяйственной. Но слова о казенной службе заставляли ее думать, будто бы и она причастна к той службе, дожидаясь по многу дней возвращения супруга.

Она и представить себе не могла, что бы случилось, застань ее казак с кем другим. Вряд ли он стал бы осуждать бабу за случившееся и сам наверняка имел жен таких почти что в каждом городке, куда его направляли. Может, даже бы обрадовался. Ну, отвесил бы оплеуху, погрозил для остротки саблей, хлестанул плетью напоследок и подался бы к какой-нибудь незамужней.

Нет, другого боялась Варвара. Ждала она, как бы после того не пришли люди военные или приказные чином повыше и не осудили ее за измену государю и всему отечеству, которым мужик ее служил верой и правдой столько лет. Вот эта-то боязнь и не позволяла ей в свое время приголубить иного мужика, чтоб жил он подле нее, а не наездами не боле недели, пусть бы и сбежал потом, как случалось с приживалами соседки Устиньи. Только бы не было того вечного ожидания, в котором она пребывала, и прошла бы у нее приобретенная с годами привычка вздрагивать и выбегать на порог от бряцанья лошадиной сбруи во дворе, от любого стука и голоса, раздававшихся под дверь. И трудно сказать, опечалилась ли она, или обрадовалась, когда известили ее, будто бы казак ее убит в короткой стычке со степняками и завещал перед смертью не ждать его больше и жить дальше как ей вздумается.

Некоторое время она сомневалась в смерти мужа своего невенчанного, а потом решила, что так оно и легче. Однако по непонятной причине мужиков стала сторониться, сперва положенный срок храня верность покойному, а позже, уже по окончании срока того, поняла неожиданно для себя, что душа ее покрылась невидимой коростой и не то что плотского желания, а даже мыслей о нем не осталось.

И тогда посетил ее долгий испуг своей ненужности и никчемности в этом мире, постепенно сменившийся успокоенностью и тихой печалью о быстро истекшей бабьей доле. Потому, узнавая о любовных похождениях Глафиры, не осуждала ее, но и не завидовала, как Устинья, сладостно закатывающая глаза при расспросах грешной соседки.

Втроем они встречались не так уж часто, а вот сейчас, с появлением нового в слободе человека, был повод не только посудачить, но и оттаять душой от беспросветной женской участи. Посему, когда Устинья обсказала им о встрече с протопопом, каждая заинтересовалась по-своему, примеряя новость эту к собственным представлениям.

— Каков он собой? — повторила свой вопрос Глафира, смачно облизнувшись, будто в рот ей попал кусок пчелиных сот, и слегка повела плечиком: — Хорош или так себе, плюгавенький?

— Не знаю, как и описать, — с готовностью отозвалась Устинья. — Высок, голос зычный, взгляд строгий имеет. Но вот глаза какие-то... — запнулась она вдруг, не зная, как передать подружкам силу протопопова взора.

— А чего с глазами? Косой, что ли? — простодушно спросила Варвара, уже загодя пожалев незнакомого ей протопопа.

— Тьфу на тебя! — обиделась хозяйка дома. — Сроду не встречала попов косых. Как к такому на исповедь подойдешь, если у него глаза в разные стороны глядят? Тоже мне, сказанешь, словно воздух испортишь...

— Гы-гы! — рассмеялась Глашка, при всей внешней привлекательности имевшая смех неприятный, похожий на гусиное гоготание. — Это верно! Варька наша, праведница великая, иногда такое выдаст, что хоть стой, хоть падай.

— Ага, тебе лишь бы упасть под кого, — быстро нашлась Варвара. — Себя-то со стороны не видишь, зато над другими горазда шутить...

— Ладно, успеем еще поругаться. Ты, Устья, про глаза того попака что-то сказать хотела, — напомнила Глафира. — Что там у него с очами? Может, чертики пляшут, а? Гы-гы!

У нее вновь прорезался неприятный смешок, который она тут же в себе погасила, видно, зная, какое впечатление он производит на других, и чинно застыла на лавке, положив тонкие ручки на колени.

Устинья чуть задумалась, восприняв вопрос Глашки всерьез, а потом, кивнув в знак согласия, сдержанно ответила:

— Может, и права ты, Глашуня. Чего-то у него в глазах есть этакое, но точно не скажу. Не вправе я о батюшке говорить нехорошее что. Это ты у нас без узды живешь, кнута Господня пока не пробовала, можешь и не такое сказать. А я вот не буду... Но глаз таких раньше не встречала. В них будто огонь полыхает, того и гляди обожжет, а то и совсем спалит. Уж этак он глядит...

— Да как — «этак»? — передразнила ее Глашка, далеко выпятив нижнюю губу, как это делала обычно Устинья. — Все мы «этак» глядим, а никого не сожгли, не запалили. Сказывай ладом.

— А что сказывать? — пожалала плечами Устинья. — По-особому он смотрит, вот и все. Как иначе пояснить, не знаю.

— Со строгостью? — подсказала Варвара.

— Со строгостью, — согласилась Устинья. — Да только словами это не опишешь — то видеть надо.

— А цвета глаза какого? Черные, как деготь, или как у меня, — и Глашка хитро усмехнулась, — с кошачьим отливом? Вот удивлюсь, коль со мной схож попик глазом будет.

— Нет, не смоляные, однако и не кошачьи, как твои. Глаза у него обычные, васильковые, как у многих. Но огонь в них, горят изнутри.

— Свят-свят-свят! — перекрестилась Варвара. — Страсти-то какие. Может, показалось тебе?

— Сроду не замечала за собой этакого, а тут на тебе, казаться вдруг стало, — с обидой в голосе сказала Устинья. — Да вон Фомку моего спросите: он его больше видел, пока с ним в монастырь ходил за поклажей.

— Фомушка, касатик, покажись незамужним бабам, скажи словечко, — с напускной лаской в голосе позвала Глафира. — А то сидишь там как сыч в дупле и даже не выйдешь.

— Чего надо? Спать мешаете, — сонным голосом отозвался тот, но все-таки поднялся и вышел к ним. По всему было видно, что он вовсе не спал, а, наоборот, внимательно прислушивался к бабскому разговору, потому что сразу заявил: — В глаза ему не смотрел. И ничего в них необыкновенного нет. Глаза как глаза. Насчет строгости не знаю, меня их поповская строгость не касается. Пусть иных стращает, а мне они не начальники.

— Знаем мы тебя, — скорчила рожу Глафира, — сидишь под кустом, накрывшись листом, и ничегошеньки на свете не боишься.

— Точно сказала! — прыснула со смеху Устинья. — Таков он и есть. Ничегошеньки знать не желает, лишь бы его не трогали.

— Ой, ну чего вы к мужику привязались? — заступилась за Фому сердобольная Варвара. — Оставьте его в покое. Иди, Фомушка, отдохай, не слушай их, охальниц.

— Ну вас! Прежде чем с такими говорить, нужно ведро гороху съесть, — отмахнулся от баб Фома и, глянув напоследок в сторону Глафиры, тут же состроившей ему глазки, поплелся обратно на лежанку.

— Так где же сейчас тот батюшка? Неужто в холодном доме ночует? Этак он и до утра не доживет. Там же ни полена дров нет, ни дверей — все настезь! — всплеснула руками Варвара. — Помочь бы ему чем...

— Я бы его пригрела, к себе пригласила, — со значением сообщила Глафира, — да боюсь, откажется. А может, ты, Варька, позовешь его? Чего боишься? У тебя дом получше моего будет и отца больного нет.

— Скажешь, тоже мне! — вспыхнула та маковым цветом. — Он, поди, женат, коль батюшка. У тебя на уме только дурное.

— Да хватит вам собачиться! — прикрикнула на них Устинья. — Негоже так говорить о человеке в сане. Замолкни, Глашка, а то выпру вон и не погляжу, что подружка моя. Может, и впрямь, дойдем до дома его? — нерешительно спросила она. — По-соседски. Узнаем, как он там. Большого греха в том не вижу.





— Можно вещей теплых унести ему, — предложила Варвара. — Дерюгу какую, чтоб дверь хотя бы от ветра завесил.

— Никакого ветра на дворе и в помине нет, — скривилась Глафира. — Скажи лучше, хочешь поглазеть, что за попик к нам в слободу пожаловал. Пойдемте, я тоже не прочь глянуть. Только у меня ничего нет, что можно ему дать. Сама как щука в пруду живу: что на мне, то и мое.

— А еще лучше, если на тебе совсем нет ничего, — не замедлила уколоть ее Варвара.

— Девки, кончайте! — уже с угрозой в голосе воскликнула Устинья. — А то знаю вас: и до драки дойдет.

— А мне ничего, пускай говорит, — беззаботно ответила Глафира. — Мели, Емеля, твоя неделя.

\* \* \*

С этими словами они наконец закончили обычную для них беззловную перебранку, оделись и пошли в сторону одинокого дома, ничего не сказав о том Фоме. А тот, хоть все и слышал, не желал обременять себя лишней раз не только какой-то ненужной ему работой, но даже не позволял пробуждаться чувствам своим, которые, как он знал, пробудившись, непременно заставят его чем-то заняться и отвлекут от главного — от мечтаний о новой дороге. И на ней не будет назойливых указчиков, без коих он вполне обойдется и найдет свою собственную тропку в ту дальнюю сторону, где нет ни господ, ни холопов и каждый человек может жить не обремененный выполнением кем-то придуманных законов.

Устинья незаметно от Фомы взяла старый овчинный тулуп и несла его, перебросив через плечо, как рыбак тащит сеть, возвращаясь с лова. Варвара же по дороге ненадолго заглянула к себе и вытащила из кладовой дерюгу, привезенную когда-то мужем из похода, что который год лежала у нее без дела. Только Глафира вышагивала налегке, полагая, что человека не всегда можно согреть изделиями рук человеческих, тогда как тепло душевное гораздо важнее и жарче дает себя знать. Все шли молча, и лишь жесткий от мороза снег отзывался скрипом на их недружную поступь, а из звуков его складывалось одно и то же слово: «Идите, идите, идите...» Но вряд ли они улавливали смысл этих звуков, думая каждая о своем.

Устинья не знала, чем кормить Фому, который в дом ничего не нес, наниматься куда-либо на работу не спешил, однако ни разочка еще от еды не отказался.

«Может, батюшка новый поговорит с ним и призовет делом заняться?» — размышляла она на ходу, в душе понимая, что вряд ли Фому примут какие-то проповеди. Фома — он Фома и есть.

Варвара втайне надеялась когда-нибудь узнать у батюшки такую молитву, которая поможет начать ей новую жизнь и снимет с души коросту, мешавшую дышать полной грудью, и хоть раз в году ощутить себя счастливой, и безбоязненно жить дальше, как живут все одинокие бабы, хорошо понимая, что счастье их осталось где-то в прошлом и никогда к ним





больше не постучится. Но неугасающая надежда все-таки жила в каждой из них, а иначе зачем и жить на этом свете?

Глафира чуть приотстала и убеждала себя в том, что идет лишь заодно с подругами глянуть, кто поселился в их слободе, построить ему при случае глазки, проверить на выдержку. Но и она надеялась и верила: а вдруг да тот священник знает некую тайну и совершит над ней обряд, после чего найдется добрый человек и придет к ней в дом сватов? И тогда заживет она счастливо, отрешившись от былых грехов, и уже не нужно будет искать быстротечную любовь на стороне, а просто любить единственного на всем белом свете человека и ни о чем больше не думать.

...Когда они подошли к домику протопопа, то увидели через дверной проем мерцающий внутри огонек. Взошли на крыльцо и окликнули хозяина. Ответа не последовало. Тогда Глашка вошла первая и, сделав несколько шагов, увидела спящего на соломе, свернувшегося клубочком человека с рыжеватой, доходящей почти до пояса бородой. Глаз его, к сожалению, она рассмотреть не могла. Она обернулась к подругам и, приложив палец к губам, дала знать, чтоб они соблюдали тишину.

Те осторожно переступили порог, и Устинья укрыла Аввакума тулупом, а Варвара занавесила вход дерюгой. Потом они так же молча покинули лачугу и отправились восвояси. Каждая шла к себе в дом, где их никто не ждал, и они сознавали, что сделали сегодня нечто такое, чего бы могли и не делать, и никто бы им не попенял за то. Но так уж женщины были устроены, что чем больше страдали и претерпевали, тем мягче и нежнее становились сердца их, о чем сами они порой и не подозревали...

Аввакуму же в это время снилось, что пришли к нему три жены-мироносицы и принесли Святые Дары, после вкушения которых сделалось у него на душе тихо и спокойно. И он даже забыл, что находится в неприветливой стране, зовущейся Сибирью, где предстоит ему жить долго, гораздо дольше, чем он сам мог предположить. Однако ему верилось, что если будет он непрестанно молиться и просить Господа порушить все препятствия вокруг, то так оно и случится. И придут к нему люди за словом Божьим. И он научит их, как жить на земле без греха, чтобы войти в Царствие Небесное, куда каждому открыта дорога, если человек прислушается к речам его.

## Служение и согрешение

*Наблюдай за ногою своею, когда идешь  
в дом Божий, и будь готов более к слу-  
шанию, нежели к жертвоприношению;  
ибо они не думают, что худо делают.*

Еккл. 4, 17

Проснулся протопоп, когда на улице было еще темно. Пальцы на ногах пощипывало от холода, и все тело сотрясал легкий озноб. Вскочив на ноги, он поворошил головешки в очаге, нашел несколько еще тлевших



угольков и подул на них, а потом выдернул пук соломы из своей лежанки и подсунул его к очагу. Солома вспыхнула и озарила его неустроенное жилище.

Но Аввакуму от увиденного сделалось почему-то весело, и он опустился на колени перед иконой Божьей Матери, принявшись читать утреннюю молитву и отсчитывать неизменные поклоны, которых он решил позволить себе в первой половине дня лишь половину от установленной обычной нормы. Закончив молиться и уже от одного этого согревшись, он достал из ларца просфору и аккуратно, не позволяя упасть на пол ни единой крошке, стал отламывать от нее малые кусочки и класть в рот. Для его трапезы не хватало воды, и тогда, недолго думая, он вышел во двор, зачерпнул из сугроба пригоршню снега и отправил ее в рот, а остатками снега растер себе лицо. Талая вода окончательно взбодрила его, и он надумал отправиться в указанный ему владыкой храм к заутрене.

Достав из сундука стихарь, он облачился в него, а сверху надел ризу. На голову водрузил теплую камилавку и приготовил еще обязательную фелонь, епитрахиль, поручи, а затем бережно извлек сделанный по особому заказу посох. Хотя по чину ему не полагалось его иметь, поскольку посох всегда был символом власти архиерейской, но в церковных канонах не существовало и запрета на его ношение, чем Аввакум и воспользовался. Хотя еще в Москве не раз подвергался критике за это.

Посох ему изготовил умелец, что резал иконостасы для московских храмов. Наверху рукояти он поместил яблоко, которое оплели две змеи, и головы их с выпущенными жалами застыли в немой угрозе одна напротив другой. Взял за работу он с Аввакума деньги немалые. Однако вещь стоила того. К тому же мастер сделал посох разборным, что позволяло брать его в поездки, разъединяя на две половинки. Когда Аввакум шествовал с ним по Москве, то неизменно ощущал на себе взгляды горожан, принимающих его не иначе как за архиерея и с поклоном уступающих дорогу. Прознавший об этом патриарх Никон после ареста протоппа велел тот посох найти и предать огню, да верные люди вовремя спрятали занятную вещицу и вернули хозяину незадолго до его отъезда в Тобольск.

Аввакум любовно огладил посох, щелкнул по носу ближнюю к себе змею и вышел из дома, который, как он надеялся, со временем обретет вид вполне достойного жилища. Дойдя до городских ворот, он грозно прикрикнул на дремавших возле костра караульных, и те, со сна не разобрав, кто перед ними, но увидев в утренней мгле архиерейский посох, бухнулись на колени, прося прощения за свой недогляд. Аввакум лишь улыбнулся в бороду и прошел мимо, не сказав ни слова.

«Пусть привыкают, — подумал он. — Все они дети мои духовные и должны почитать и бояться отца своего».

Возле храма Вознесения Господня не было ни души, и он, поморщившись, постучал концом посоха в дверь церковной сторожки, где ночевал сторож, обычно исполнявший обязанности звонаря. Через какое-то время дверь открылась и оттуда высунулась голова заспанного, не старого



еще мужика с испуганными глазами, которые он непрерывно щурил, пытаясь разглядеть, кто поднял его в такую рань.

Узрев уставленный на него посох, он открыл от удивления рот и затрясся:

— Виноват, владыка, виноват... — Наконец рассмотрев, что перед ним вовсе не владыка Симеон, он удивился еще больше и, вытаращив глаза, сказал: — А я тебя за владыку нашего принял. — И повторил еще раз: — Виноват...

— Хватит виниться, айда на колокольню. Звонить будем, пора народ на службу звать.

— Так рано же... Третьи петухи еще не пропели, — попытался возразить тот, но Аввакум не дал ему договорить:

— Вот и разбудим их нашим звоном.

— Слушаюсь, — покорно согласился звонарь и нырнул в сторожку за ключами от колокольни.

Пока они шли к ней, он постепенно приходил в себя и, уже вставив ключ в замок, повернул к Аввакуму голову и осторожно спросил:

— А ты кто будешь, батюшка? Раньше я тебя не замечал здесь.

— Протоиерей ваш, — со значением ответил Аввакум и поторопил звонаря: — Открывай, открывай, чего копаешься?

— Замок, видать, замерз, — ответил тот и вдруг вновь глянул на Аввакума, тихо произнеся: — А как же батюшка наш Аверкий? Его куда?

— То не твоего ума дело. Как владыка Симеон решит, так и будет. Ты лучше поторопись с замком.

— Нет, — решительно заявил звонарь, — без отца Аверкия и его благословения открывать не стану. Мало ли чего ты тут мне наговоришь? Пока что он настоятель, и пусть мне скажет, что звонить нужно, а так... — И он выразительно затряс головой, давая понять, что выполнять указания Аввакума отказывается.

— Где живет настоятель ваш? — тоном, не допускающим возражений, спросил Аввакум.

— Недалече живет.

— Вот и дуй за ним. Скажи, что протопоп Аввакум, из Москвы прибывший, ждет его. Пусть поторопится, а то так и всю службу проспать недолго.

Служитель спрятал ключ от звонницы у себя на поясе и нехотя пошел к церковным воротам, постоянно оглядываясь, словно опасался, как бы незнакомый человек не совершил без него что-то предосудительное. Аввакум же, уже изрядно замерзший, направился в сторожку, сердясь, что служба его начинается совсем не так, как ему хотелось бы.

\* \* \*

Иерей Вознесенского храма отец Аверкий прибыл в Тобольск вместе с семейством еще во время управления Сибирской епархией владыкой Герасимом и надолго в этом городе задержался. Архиепископ благово-

лил и покровительствовал ему, несмотря на различные прегрешения того по части сбора пожертвований с прихожан, великая толика которых оседала в иерейском загашнике. «Кто безгрешен, тот пусть первым в меня камень кинет», — любил он повторять на жалобы, долетавшие до него от страждущих справедливости сибирских жильцов.

Ходили разговоры, что владыка, сам обремененный хлынувшими за ним на сытые епархиальные хлеба многочисленными родственниками, с участием относился к отцу Аверкию, произведшему на свет четырех дочерей, попечительство о которых и было его главной заботой. Уже перед самой своей кончиной архиепископ поставил отца Аверкия городским благочинным, сделав его тем самым недосягаемым для жалобщиков и недоброжелателей, мигом ставших частыми гостями в просторном его доме. Хаживали они туда не столько угоститься малосольной рыбкой и попить клюквенного морсика с сочными расстегайчиками, сколько полюбоваться на пышнотелых дочек его, прислуживающих гостям. Батюшка Аверкий радостно потирал руки в преддверии скорого появления сватов, и вдруг... Все поменялось после скоропостижной смерти владыки Герасима.

С прибытием почти через год архиепископа Симеона произошли многие перемены. Коснулись они и отца Аверкия, отстраненного от благочиния. Нашелся на его должность иной претендент из числа приехавших с новым пастырем людей. Едва лишь владыка Симеон обосновался на тобольской кафедре, как вслед за ним потянулись в Сибирь на церковное служение его земляки и знакомцы в надежде занять особо хлебные приходы. Так и вышло. Старых батюшек потеснили: кого на покой отправили, а иных перевели в захолустные приходы, где в окрестных деревеньках проживало не более полутора десятков крестьян, которые сами перебивались с хлеба на воду.

Вновь прибывшие в короткий срок обзавелись прочными связями с состоятельными сибирскими жильцами и повели жизнь сытую, славя пригревшего их владыку Симеона. А вскоре грянули перемены в службе и разные нововведения. Старые служители глухо роптали из дальних уголков преогромной Сибирской епархии, да кто их слышал, а тем более прислушивался? Зато земляки Симеоновы восприняли новшества и слова не сказавши против. Будто давно их ждали. Они с готовностью стали вести службы по новым правилам и учить прихожан, как креститься тремя перстами.

Старые батюшки ожидали, что взбунтуется своенравная Сибирь, даст отворот новинам тем, но обошлось. Иные заботы были на уме у сибирского православного люда, а потому пошептались меж собой и до поры до времени затаили обиду на духовников своих, надеясь: авось само рассосется, поменяется в обратную сторону.

Вот тогда-то и стал отец Аверкий подумывать о возвращении в родную Тверь, откуда был взят на сибирскую службу. Однако время шло, а он все никак не мог решиться подать прошение о своем переводе.

Поначалу матушка попадья худо себя чувствовала и боялась, что не пережить ей трудной обратной дороги на родину. Но это еще полбе-

ды. Главное, подошел срок выдавать замуж дочерей, и, возвратись они на Русь, где отца Аверкия наверняка в самой Твери не оставят, а направят в какой-нибудь сельский храм, тогда о подыскании поповнам добрых женихов можно и не мечтать. Может, и сыщется кто желающий для одной, но всем остальным где в деревне женихов сыскать? Ладно бы одной или двум замуж пора приспела, а то ведь вышло так, что все они погодки! Выбирай любую, все девки давно уже в соку и полной девичьей красе! Только девичья краса быстро сходит. На такой товар спрос короток: год-другой — и никто не глянет, еще и пристыдят, коль предлагать станешь. Потому матушка попадья на все разговоры супруга о переезде отвечала коротко: «Как дочек замуж отдадим, тогда, коль живы будем, о том и поговорим».

И отец Аверкий хорошо понимал: права она. Здесь, в Тобольске, молодых парней пруд пруди, а вот добрых девок на выданье днем с огнем не сыщешь. Не каждая мать согласится с дитем в Сибирь студеную ехать и растить его здесь. Одни мужики и живут да парни молодые. На десяти-рых из них, коль подсчитать, едва ли одна невеста найдется.

Есть, конечно, бабы гулящие, которых служилый народ по необходимости в дом приводит, но живут с ними тайком, без церковного венчания, а случится ехать в иное место, то с собой не берут, передают со смехом, словно вещь, друзьям за разовую добрую выпивку. Надо сказать, парни, что на сибирской службе состоят, хоть бабским вниманием и не балованы особо, обжениться не спешат, резонно полагая недолгим время пребывания в этих краях. Почти у всех там, на родной стороне, зазнобы остались — может, и дождутся женихов своих. Опять же, надо родительское благословение получить, а то привезешь с собой молодую жену, а ее в мужнину семью и не примут. Тоже закавыка непростая, которую с ходу не решишь.

Уже пару раз заявлялись сваты от таких, намекали, мол, хорошо бы сговориться. О приданом выведывали, думая, что батюшка наверняка скопил тут немало, будет чем жениха порадовать. Однако отец Аверкий знал цену таким женихам, поскольку сам обвенчал не одну сотню молодых, а потом невольно узнавал на исповеди о житье их совместном. Счастливых браков он для себя не отметил, хотя кто его знает, где оно, женское счастье, запрятано? А дочек своих любил, жалел и лихой доли им, конечно, не желал. Потому сватам не говорил ни да ни нет, решив повременить в надежде на более достойных женихов, желательно из духовного же сословия.

Хотя он знал наперечет всех городских и служителей, и диаконов, и пономарей, подходящих женихов среди них назвать не мог. Такие, как он, иереи, само собой, все женаты, да и другие церковные служители тоже. Поповичей же в возрасте юношеском было всего двое, но, судя по всему, их отцы желали видеть невестками отнюдь не дочек Аверкия, поскольку все знали о его несложившихся отношениях с владыкой. Не то чтоб шарахались от него, но и дружбы большой не заводили. И посему вряд ли когда решатся породниться с ним, рассчитывая на более выгодные партии для сынов своих.



А время шло, поповны день ото дня все более и более наливались спелыми соками, глаза у них становились какими-то масляными, речи томными — так недалеко и до греха. Тут глаз да догляд нужен. И решил отец Аверкий вместе с матушкой, что сразу после Святков, если только вновь пожалуют прежние сваты или иной кто, не мешкая соглашаться на свадьбу, а там как Бог даст.

Преклонный возраст отца Аверкия не давал возможности надеяться на хорошее место в родных краях. И сам он в глубине души понимал, что служит уже не так, как ранее, без былого огонька и благочестия, больше полагаясь на помощь диакона Антона, который в нужные моменты под-сказывал ему, что за чем следует. Память-то стала не та, и порой во время акафиста он вдруг с удивлением останавливался и долго соображал, какой канон сейчас требуется читать. Антон службу знал хорошо и, однажды заметив сбой, сам стал без смущения помогать настоятелю, ничуть не сетуя. Был он к тому же парнем малообщительным и вряд ли выносил сор из избы, то есть не трезвонил направо и налево о немощах престарелого иерея.

Так или иначе, пока отец Аверкий продолжал служить в одном из самых почитаемых в городе приходо-в при Вознесенском храме, куда хаживал на службу сам сибирский воевода князь Василий Иванович Хилков и все его близкие. И не просто хаживал, а не раз удостоивал отца Аверкия чести великой, подходя к нему исповедоваться, а затем и причаститься. Поначалу батюшка смущался оттого, что волей-неволей узнавал о таких делах, о которых простому смертному знать вовсе не положено. Воевода временами пускался не только в перечисление грехов, совершенных им в бытность свою в Сибири, но вспоминал многое из юности и каялся при-том истово, со слезой, ненамеренно хватая батюшку за рукав и притягивая к себе. Нет, и на Страшном суде не признался бы отец Аверкий в открово-вениях тех. Носил же их в себе ежечасно, и если исповедные слова иных людей быстро выветривались из памяти, то грехи воеводы никак не жела-ли оставлять его и мучили донельзя, лишая сна и покоя.

Несколько раз князь приглашал его в свои покои, оставлял отобе-дать, интересовался семейством, выспрашивал об отношениях с влады-кой, на что отец Аверкий не знал, что ответить, терялся, нес какую-то чушь, мол, любое начальство от Бога, и грех великий думать о нем, а тем более говорить что-то худое. Но князь Василий хитро смотрел на батюш-ку и, словно по открытой книге, читал все, что тот пытался скрыть, повто-ряя: «Ладно напускать туману-то, знаю, все знаю, что у вас там, на архи-ерейском дворе, делается. Все мне известно. Владыка чихнет, а мне впору “будьте здоровы” кричать. Не хочет он со мной дружбу водить, сторо-нится, а я не в обиде. Пусть живет как знает, меня его дела не касаются. А вот тебя, батюшка, он не жалует, точно говорю. Почему так, то мне неведомо. Сам думай, ты его человек. Рано ли, поздно ли спровадит он тебя из города — помянешь тогда мое слово...»

Отец Аверкий и верил, и не верил словам воеводы, и оттого еще больше брал его страх не столько за свое, сколько за будущее своих до-



машних. Молил Господа лишь об одном — чтоб побыстрее сыскались жёны для дочек.

Меж тем о приглашениях его на двор к воеводе стало быстро известно архиерейским приказным, о чем те немедля донесли владыке. После того отец Аверкий заметил, что архиепископ ещё более переменялся к нему, стал сух, холоден и хоть худых слов при нем не говорил, но чувствовалось по всему, что прав князь Василий: недолго оставаться ему в Тобольске.

Совсем приуныл отец Аверкий и боялся сказать матушке, опасаясь её слез, причитаний, рева дочерей. И во всем виноват не кто-нибудь, а он один, смиренный иерей, который всю жизнь исправно служил, нес свой крест, не помышляя о дурном, а теперь вот и не знает, как на старости лет повернется его жизнь. И он терпеливо ждал, надеясь на исконно русское: авось и на этот раз пронесет. Может, и грянет гром, но стрела огненная пролетит мимо, не опалив седин его.

А недавно прослышал он, что прибыл из Москвы новый протоиерей и ставят его на службу не куда-нибудь, а в его собор, который Аверкий не без оснований считал своим, прослужив там без малого десятков лет. Он не представлял, как сложится у него с этим приезжим, однако понимал: добра ждать нечего. Два медведя в берлоге не уживутся. Последнюю ночь провел без сна, думая о несправедливости этой жизни, когда у одних все идет как по маслу, а другие тянут лямку из последних сил.

\* \* \*

Когда ранним утром отец Аверкий услышал осторожный стук в окно, то решил, что прибыл посланник от владыки, и живо соскочил с постели, босым побежал к двери, не замечая, как бешено бьется в груди сердце, готовое выскочить вон и упасть на холодный пол. Проснулась и матушка, почуяв недоброе, приподнялась на подушках, напрягла слух, пытаясь услышать разговор раннего посланца с мужем. Она узнала голос Федьки, церковного звонаря, и успокоилась, вздохнула, перекрестилась, но в этот момент до нее долетели слова, что отца Аверкия немедленно требуют в храм. Батюшку часто вызывали то к новорожденным, то к болящим, но чтоб кто-то требовал... Такого ранее не бывало.

— Заступись за нас, Царица Небесная, — прошептала она и спросила у вернувшегося супруга: — Кто там зовет тебя? Чего случилось?

— Сейчас пойду и узнаю, — с неприязнью ответил он, покосившись на не желающую вылезать из-под теплого одеяла попадью и не решаясь сказать вслух, насколько она обленилась, проводя в постели большую часть дня, и что давно забыла, как следует жене провожать мужа из дома.

«Эх, дать бы ей в ухо хотя бы вполсилы», — с тоской подумал он, но тут представил, что начнется, как прибегут дочери — и тогда весь день насмарку. А так, уйдя в храм, он только вечером вернется домой и сразу ляжет спать, не вступая в разговоры со своим бабьим семейством. Он принялся торопливо одеваться.





Пока шли к храму, Федька второпях рассказал, как ни свет ни заря заявился незнакомый ему человек то ли с архиерейским, то ли с иным посохом в руках, отчего он поначалу принял его за владыку, и велел звонить к заутрене.

— Едва отбился, — с придыханием выговаривал гонец. — Думал, сейчас так и звездет посохом промеж глаз! Глаза у него горят, словно в каждом по свечке вставлено, бороденка рыжеватая вздымается, топорщится страшно. Говорит громко, ажно в ушах звенит. Да еще, говорит, с самой Москвы приехал! Неужто и взаправду из Москвы? И почему в наш храм?

Федька на ходу непрестанно размахивал руками, точно отгонял кого невидимого от себя, отчего и без того нелепая его фигура выглядела совсем забавно.

— Испужался я донельзя, однако на колокольню не полез и его не пустил. Правильно сделал, батюшка?

— Правильно, правильно, — торопливо успокоил его отец Аверкий, стараясь не оступить на проложенной в снегу тропинке.

От быстрого шага он тяжело дышал, сердце колотилось в груди, как заячий хвост, будто предчувствуя что-то нехорошее, ждущее его в скором времени. Притом он не мог позволить себе показать это свое предчувствие и неосознанный страх перед дышащим в затылок Федькой, а потому осанисто выпятил грудь и время от времени сводил брови к переносью, хотя звонарь вряд ли замечал это. Отец Аверкий ненадолго остановился, желая отдышаться и унять сердечное биение. Встал и Федька, подобострастно глядя на батюшку.

И тот, понимая важность момента и пытаясь подбодрить звонаря и самого себя, произнес:

— Погоди чуть — узнаем, кто таков в такую рань без приглашения, меня не известив, заявился. Я ему покажу, как самовольство у меня в храме проявлять. Ишь, удумал... Звонить без моего на то согласия... Не на таких управу находили. — Прочищая голос на морозном воздухе, он звучно кашлянул. — И с этим управимся. Не впервой...

Но в душе он понимал: нет, не справиться ему с тем человеком, ничего не выйдет. Новые времена наступают, и против этого он, заурядный иерей, бессилен что-либо предпринять. А начнет противиться — не поздоровится ему: управятся с ним, как с цыпленком, и перышка единого не оставят.

...Меж тем Аввакум, насидевшись в церковной сторожке, не утерпел и вылез наружу, не обращая внимания на пронизывающий, дующий с реки ветерок. Через какое-то время он услышал далекие обрывки слов, будто обрезал их кто и нес отдельные слоги ветром к нему, но самих говорящих в утренних сумерках различить было пока невозможно. Потом голоса смолкли, зато стал слышен скрип снега, и наконец, чуть не наскочив на него, появились два покрытых инеем человека, первым из которых был дородный батюшка, а из-за его плеча выглядывал давешний звонарь, не пустивший Аввакума на колокольню.



— Мир тебе, — степенно проговорил еще не отдышавшийся от быстрой ходьбы отец Аверкий и слегка поклонился.

— Спаси, Господи, — негромко откликнулся Аввакум, ожидая, как поведет себя пришедший.

Звонарь Федька молча прошмыгнул к себе в сторожку, оставив их одних, дав тем самым понять, что его дело сторона и он готов подчиниться тому, кто первым отдаст ему приказание.

— Не ведаю, как и дошли, темень этакая... — не спешил начать неизбежный разговор, ради которого его пригласили, отец Аверкий. — Поди, озяб тут? — добавил он, уже понимая, что новоявленный протопоп с посохом в руках, в точности похожим на архиерейский, имеет над ним явное превосходство и молодостью своей, и связями с сильными мира сего, и какой-то непонятной, исходящей от его облика силой. Тяжело вздохнул и спросил с несвойственным ему подобострастием: — Звонить прикажешь?

— Давно пора, — кивнул Аввакум, даже не удивившись, а лишь мельком отметив про себя, что приходской батюшка ни в чем ему перечить не смеет, и показал рукой на дверь храма: — Скажи, чтоб открыл и свечи зажег. Потом пусть на колокольню лезет, а я пока облачаться стану.

— Федька, собачий сын! — сипло закричал отец Аверкий в сторону сторожки. — Отворяй двери в храм! Свечи зажги! Совсем разбаловался! Выгоню вон в другой раз, коль опять хорониться от меня начнешь...

— Другого раза не будет, — мягко, но с нажимом перебил его Аввакум. — Я тут такой порядок наведу, какого сроду у вас, морд квасных, не бывало.

— Истинно так, — перекрестился бывший настоятель и неожиданно почувствовал пробравшуюся сквозь седину усов в рот к нему солоноватую слезу. — На все Твоя воля, Господи, — прошептал он и, не глядя по сторонам, без былой величавости пошел к дверям.

Он дождался, когда Федька откроет, и пропустил вперед Аввакума. С трудом наложил на себя крестное знамение и, уже не осознавая, что и как делает, привычно вступил в храм, а там, прислонясь к стене, вдруг сполз по ней на пол и замер, неловко раскинув далеко от себя руки.

Аввакум же, не заметив того, прошел к Царским вратам, опустился на колени и начал горячо читать молитву, не воспринимая ни единого звука, даже если бы за стеной выстрелил кто из пушки. Потому он не сразу понял, чего от него хотят, когда Федька несколько раз дернул его за рукав. При свете слабо горевших свечей протопоп разглядел искаженное в немом крике лицо звонаря, и лишь потом до него стали доходить бессвязные слова, а чуть позже и их смысл.

— Батюшка Аверкий преставился! — то ли кричал, то ли, наоборот, шептал Федька.

И только тут Аввакум увидел подошвы сапог отца Аверкия, лежащего под иконой Николая Чудотворца. Он поднялся с колен, подошел

к телу и склонился над ним. Федька поднес к лицу старого иерея свечу, и веки того дрогнули, из груди послышался слабый хрип.

— Живой! — обрадовался звонарь. — Слава те господи! Пойду подмогу звать, до дома его доставить. А ты уж, батюшка, один тут управляйся, пока диакон наш Антон не подойдет. Он все и покажет...

С этими словами он кинулся наружу, вторично оставив Аввакума наедине с прежним настоятелем. Тот чуть приоткрыл глаза, попробовал что-то сказать, но тщетно. Аввакум оказался в полном замешательстве. Он не знал, как поступить: то ли оставаться рядом с отцом Аверкием, то ли готовиться к началу службы. Так он какое-то время постоял в нерешительности, а затем, рассудив, что ничем помочь не сможет, перекрестил старого иерея и ровным шагом направился к двери, ведущей в алтарь.

...А в эту самую минуту в доме отца Аверкия внезапно пробудилась младшая из его четырех дочерей, которой приснилось, будто бы кто-то душил ее. Она громко заверещала:

— Маменька, маменька, убивают! Всех нас сейчас убьют! Помоги!

Сестра, спавшая рядом и старше ее ровно на год, стремительно села на постели и, не открывая глаз, безошибочно залепила ей тяжелую сестринскую затрещину. Младшая успокоилась и тут же уснула, не слыша, как злой ветер, прилетевший в Сибирь из-за Уральских гор, пытается оторвать неплотно прикрытый ставень, а был бы сильнее — сорвал бы и крышу с поповского дома, и разметал строение по бревнышку, да и унес бы их самих далеко на восток, где только-только начинал сереть край неба под громоздкими тучами, облепившими небесную твердь и не пускающими солнечный свет к людям и всем, кто обитал на этой печальной земле.

### Обычка еще не привычка

*Смотри на действие Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?*

Еккл. 7, 13

Через малое время батюшка Аверкий окончательно пришел в себя, однако подняться без посторонней помощи не мог и лишь стонал, желая привлечь к себе внимание. Протопоп Аввакум не стал отвлекаться на его стоны, а продолжал все так же громко, истово и нараспев читать по памяти одну за другой молитвы. Затем он принялся за облачение, делая это неторопливо, но сноровисто. Иногда он бросал взгляды в сторону отца Аверкия, хотя ни разу не прервал свое занятие, утешаясь мыслью, что пути Господни воистину неисповедимы и никто на всем свете не может знать, что случится с ним самим завтра.

Он услышал, как открылась входная дверь, и решил, что это вернулся ушедший за подмогой звонарь.

— Помилуй, Господи, — раздался чей-то незнакомый голос. — Есть тут кто еще?

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа... — ответил Аввакум из алтаря, давая понять о своем присутствии.

— Аминь! — подхватил новоприбывший. — Ты, что ли, Федор? Или иной кто? Что с батюшкой Аверкием случилось?

— То лишь Богу известно, — продолжая повязывать поручи, отвечал Аввакум. — А я буду ваш настоятель новый. Сам-то кто? Прохожий или на службу пожаловал?

Некоторое время слышалось лишь громкое сопение и шуршание одежды, и потом последовал ответ:

— Диакон Антон...

— Коль пришел, то проходи, готовь к службе все что положено... Давно служишь? Чего робкий такой?

— Третий год уже пошел. А с батюшкой как быть? — спросил диакон.

— Как быть, как быть... — передразнил его начинающий терять терпение Аввакум. — Сказал же тебе: все в руках Господа нашего. Читай молитву и входи в алтарь, ждать надоело.

— Прости, Господи, — со вздохом произнес тот и принялся скороговоркой читать молитву.

Протопоп, услышав бормотание, больше похожее на разговор подвыпившего человека с таким же нетрезвым горемыкой, не на шутку взъярился, поскольку никогда не допускал чтения молитвы абы как, и, выскочив из боковой алтарной двери, вскричал зычно:

— Не смей осквернять храм Божий тарабарщиной своей! Замолкни, нехристь крови татарской! Еще раз услышу — выгоню взашей! Читай сызнова!

Диакон, чьего лица он не мог разглядеть, тяжело засопел, словно его заставили тащить непомерную ношу, бухнулся на колени и начал читать заново ту же самую молитву, стараясь теперь как можно четче произносить каждое слово. Аввакум чуть послушал и, удостоверившись в правильности чтения, что-то снисходительно буркнул себе под нос и вернулся в алтарь.

Диакон Антон читал долго, при каждой остановке вбирая в грудь как можно больше воздуха. А рядом продолжал лежать с открытыми глазами отец Аверкий, который, судя по всему, вполне понимал смысл происходящего, но не мог ни вмешаться, ни хотя бы согласиться с происходящим, а лишь жалобно глядел на диакона, словно сочувствовал непростому его положению.

Едва Антон закончил чтение и поднялся с колен, в храм шумно вошли несколько человек, которых вел сторож Федор. Они слаженно подхватили отца Аверкия и вынесли его вон, не проронив ни слова. Антон, не посмеявшийся принять участие в выносе болящего, покорно направился в алтарь и принялся разжигать кадило и готовиться к предстоящему богослужению.

Дальше все пошло по заведенному порядку: подтянулись немногочисленные прихожане храма, протопоп провел службу по старым канонам, что вызвало радостное роптание среди собравшихся, и в конце сообщил о своем к ним назначении, не посчитав нужным что-то сказать о происшествии с отцом Аверкием.

Впрочем, прихожане неведомыми путями и без того уже знали обо всем и разошлись, сдержанно шушукаясь, обсуждая чрезвычайное для них событие. К вечеру эта новость стала достоянием всех и каждого, и пошли долгие разговоры, суть коих сводилась к тому, что старого батюшку довели чуть не до смерти, а новый хоть и красив собой и голос зычный имеет, но все одно новый и кто знает, чего от него следует ожидать. К тому же, рассуждая здраво, из Москвы в Тобольск просто так человека не выпроводят — не иначе как за грехи какие сплавил подальше. Потому ухо с ним надо держать остро.

А уж как он на человека глянет, судачили меж собой всеведущие и падкие до подобных новостей молодухи, — мурашки по коже ползут! Так простой смертный смотреть не может. Поди, с волхвами или иными чародеями дружен был, за что и пострадал, добавляли замушние кумушки.

\* \* \*

Подобные пересуды были для тоболяков делом обычным и не миновали еще ни одного из приезжих. Особенно если тот находился при высокой должности и от него зависели судьбы многих. Всякое новое есть непривычное. К старому долго ли, коротко, но со временем обвыкали, знали, чего ждать, через что подход наладить — то ли словом лестным, или малым подношением. Нет такого человека, который бы слабость свою не выказал. А как он себя покажет — тогда, глядишь, со временем таким же, как все прочие, станет. В Сибири всякое семя земельку находило и приживалось на новом месте, коль жить ему дальше в стране той желалось...

Не все, ой не все порядок здешний признавали. Бывало, шли наперекор, встречь ветру и людскому пониманию. Только быстро их укорачивали, норов обламывали, под свое течение подстраивали. Конь на четырех ногах — и то не всегда ровно идет. Что ж о человеке говорить, который торной дороги не видит, а все целиной по бездорожью прется, ни себя, ни других не жалея? Рано ли, поздно ли — оступится. Хорошо, если башку себе не свернет, зато впредь умнее станет, начнет жить так, как местные законы велят.

Потому и праведников в сибирской стороне вряд ли кто когда видел. Правда, ходили разговоры о святых подвижниках близ Мангазеи и Верхотурья, но разговор тот на полку не поставишь, лоб на него не перекрестишь. Вот когда объявят о причислении тех Божьих угодников к сонму святых, тогда и верить народ начнет, называть имена их в молитвах. А пока... Покамest лучше жить, как раньше жили, и не мучить себя загадками, отгадку коим не знаешь.



И хоть сказано в Писании, что не стоит город без праведников, да не объяснено, как их от остальных отличить — от тех, кто в грехе живет. Как ни крути, грешников на белом свете во сто, а то и в тысячу крат больше, нежели добродетельных праведников. Потому и встречали каждого приезжего с осторожностью, пока не узнавали повадок его доподлинно и не становилось всем ясно, кто он таков.

Вот и батюшку Аввакума тоболяки встретили так — без вражды, но с ожиданием, в чем он себя проявит и как выкажет обычай свой речами и поступками. А когда разнеслось по городу, что отец Аверкий при встрече с ним замертво в храме у порога рухнул, встреपнулись все. Разное подумали. Знак свыше был, посчитали. Просто так батюшка чувств не лишится — по всему видать, не простой человек этот новый протопоп, есть за ним какая-то сила. Но какая — того навскидку не скажешь, а опять же ждать нужно, что русскому человеку завсегда привычно было.

Что-что, а ждать на Руси умели. От отца к сыну свойство то передавалось вместе с прочими житейскими заповедями. Ждали хорошей погоды, чтоб год урожайный вышел. Ждали доброго царя, который бы жизнь простому люду облегчил. С тем и умирали, но верили: авось детям их легче жить будет.

А кому ждать невтерпеж становилось, те бросали и хозяйство, и жену, и деток сопливых и уходили куда глаза глядят в поисках затаенного уголка, где так долго ждать доли счастливой не придется. И как назло, в ином месте оказывалось чаще всего если не хуже, то так же, как раньше. И стекался народ нетерпеливый все в ту же сибирскую землю, протаптывая тропинки в местах необжитых, диких, и назад уже не возвращался, плюнув на бывшее житье и новое не начав по-настоящему. И текла в Сибири своя жизнь, чем-то на прежнюю похожая, но все равно иная...

Может, со временем новый поселенец и понимал глупость своего решительного поступка, однако обратно возвращаться не спешил, живя надеждой и верой в лучшее. Так каждый стремится непременно в рай попасть. И на смертном одре, смежая очи, верит: быть ему там! Вот только никто из страждущих пока что назад не вернулся, не поведал, как там, на другом свете, нашему брату, по всем статьям грешному, живется...

Так и протопоп Аввакум, сомнений в делах своих не ведавший, пусть не сразу, но понял: прав был везший его Климентий, когда говорил, мол, Тобольск от всех иных городов отличен, ни на один не похож. А вот чем, того сразу не разберешь, пока не свыкнешься с местными порядками и обычаями. Именно об этом думал протопоп, направляясь после службы неспешным шагом в свой необжитой дом по тропинке, что вела с верхней части в подгорную.

Нижняя часть города расстилалась перед ним переплетением нескольких десятков улиц, мозаикой из сотен заметенных снегом строений, курящихся тонкими струйками сизых дымков, которые чертили себе путь к небесному куполу. Наверное, так же и Христос смотрел на лежавший перед ним Иерусалим, когда готовился войти в него, чтобы страданиями своими спасти людской род.





Аввакуму думалось, что попал он в Сибирь далеко не случайно, а по воле свыше. А посему должен стойко пережить все напасти, выпавшие на его долю, подав пример тем, кто отшатнулся от Бога и живет не ради спасения души, как то подобает истинно православному человеку, а больше для пропитания, а то и вовсе для наживы и стяжания богатств земных, не думая о смертном часе.

«Нет пророков в отечестве своем, — вздохнул он горестно. — Тогда, может, лучше совсем не иметь отечества, если не готово оно признать правоты твоей и услышать предупреждение, для него уготовленное?» Чем дальше уносился он в рассуждениях от реального мира, тем более тягостные мысли одолевали его.

«Неужели каждый, кто видит дальше собственного носа, будет осмеян, а то и казнен за правду, за веру, за любовь к тем, кто сам не может узреть будущность свою? Почему-то никто не ведет на бойню дойную корову, не плюет в родник с чистой водой, не рубит плодоносную яблоню. Потому как будет это неразумно и глупо. Отчего же тогда не чтут люди тех, кто указывает им на язвы и пороки душевные? Или они надеются на иное врачевание и пытаются скрыть, утаить эти язвы и пороки не только от постороннего глаза, но и от самих себя? Неужели всегда будут думать они лишь о сытности телесной и не обращать внимания на душу свою, полагая, будто бы она способна прожить в теле как медведь в берлоге, без очищения и покаяния? Затем и нужны духовные отцы, чтобы будить спящих и указывать на греховность их помыслов. А кто им не внемлет — не обретет жизнь вечную...»

\* \* \*

Наконец он отвлекся от грустных размышлений и начал замечать проходивших мимо людей, что с интересом поглядывали в его сторону. В самом начале спуска навстречу ему попалось несколько древних старух, которые шли одна за другой, закутанные в темные шали так, что видны были лишь узкие щелки глаз и большие мясистые носы, делавшие их похожими одна на другую. Аввакум чуть посторонился, давая им пройти, и при этом машинально поправил серебряный наперсный крест, говорящий о его сане, но, к его удивлению, ни одна из женщин не замедлила шага и не подошла под благословение, а последняя еще и недружелюбно зыркнула на протопопа и сердито что-то прошептала.

Несколько обескураженный, он двинулся дальше и наткнулся на группу нищих и калек, расположившихся на склоне вблизи от пешеходной тропинки. Двое на месте рук имели культы и с непокрытыми головами держали меж жалких обрубков рваные шапки.

Один из них, с лицом, замотанным в грязное тряпье, чтобы скрыть следы поразившей его дурной болезни, низко кланялся каждому проходящему путнику и тонюсенько повторял одну и ту же фразу:

— Подайте, добрые люди, Христа ради, ратнику, за отчизну нашу пострадавшему.





Сбоку от него стояла девочка лет десяти и исподлобья, без всякого выражения на веснушчатом личике смотрела на протопопа, придерживая левой рукой нищенскую полупустую суму. Краем глаза Аввакум заметил, что рядом с нищими стояли трое молодых людей с суковатыми палками в руках. Увидев его, они отделились от общей группы и стали заходить ему за спину, хищно поглядывая на его крест.

«Никак грабители, — быстро смекнул он. — Калеки тут для отвода глаз, а эти, здоровехонькие, сейчас снимут с меня все что можно, ладно коль не убьют!» Недолго думая, он прыгнул с утоптанной дорожки в глубокий снег, споткнулся о скрытый сугробом ствол старого дерева, упал и покатился вниз по склону. Вслед ему понеслись злобные крики и улюлюканье, но он думал лишь о том, как бы не зацепиться за торчащие из-под снега там и сям древесные пни. Наконец, удачно достигнув нижней дороги, он поднялся, отряхнулся, ощупал крест и прошептал благодарственную молитву.

— Уж я вас! — погрозил кулаком неудачливым грабителям. — Помните еще меня!

В ответ же услышал залихватский свист и несколько непристойных слов. Протопоп плюнул, покрутил головой по сторонам, пытаясь понять, по какой дороге идти, и зашагал наугад в надежде, что дорога сама выведет его куда нужно. Обращаться к кому-то за советом он уже не хотел, опасаясь вновь нарваться на неприятность или презрительный отказ.

\* \* \*

Он продолжал размышлять на ходу, что в той же Москве, где он имел немалое число врагов, было у него и почитателей предостаточно. Каждое сказанное им слово ловили! Готовы были пойти за ним в огонь и в воду. И он отвечал им тем же, опекая всех и каждого, часами стоял на молитве, прося у Господа прощения пасомых своих. Богомольные москвичи буквально друг дружку с ног сбивали, издалека спеша под длань духовного лица, частенько зазывали в гости, норовили сунуть в руки сверточек с куском капустного или рыбного пирога. Не то что угрюмые и неприветливые тобольские насельники. Эти не только дороги ему не уступали, но, наоборот, перли напролом, огрызались на замечания привыкшего во всем и везде верховодить протопопа. Дерзкие и самостоятельные сибиряки уже начали раздражать его, да и сам город представился если не библейским Содомом, то азиатским Вавилоном, которому суждено быть развеянным в прах по воле Господней за прегрешения жителей его.

«Не зря, ой не зря посылаются городу сему пожарища так часто», — думал он, злорадно поглядывая на останки сгоревших домов, черневшие обугленными стенами и тонкими шеями печных труб, что по какой-то причине были покамест не разобраны. Мелькнула и тут же затерялась мысль, что огонь Божий не только карает, но и очищает скверну человеческую, давая возможность начать иную, новую жизнь.



«Не суть ли человеческого естества зловонное тело наше, кое во грехи нас и толкает?» — продолжал он рассуждать, не замечая, что идет по какой-то незнакомой, тянущейся вдоль речного берега слободе.

Чуть погодя он поднял вверх глаза, огляделся и удивился, увидев во круг низенькие, обмазанные глиной домишки в одно оконце (иное наглухо закрыто тонкой дощечкой). Почти возле каждого невзрачного строения, которое назвать домом язык не поворачивался, лежало приваленное к глухой стене сено; его прямо под открытым небом мирно щипали расседланные лошади.

Неподалеку Аввакум увидел невысокий минарет с полумесяцем наверху, истово перекрестился и только тут понял, что, желая сократить путь, попал ненароком в татарскую слободу. Стараясь не смотреть на блестящий в лучах скатывающегося за реку солнца чеканный профиль бронзового полумесяца, он стал пробираться по узкой улочке, перепрыгивая через кучи навоза и сваленные где попало березовые и осиновые бревна. Вдруг он заметил, что за ним увязалась ватага татарских ребятишек, что-то лопоча на своем наречии, взвизгивая и тыча в него коротенькими ручонками, то ли дразня, то ли домогаясь подаяния.

— Пшли, пшли, нехристи, отсюда, — тихонько шикнул на них Аввакум, но ничего не помогало.

Откуда-то выскочила кудлатая черная собака и ухватила за полу подрясника. И тут он не выдержал, подхватил с земли кривую палку, замахал ею, заорал зычно и на татарчат, и на собаку, мигом юркнувшую за дом. Мальчишки, убоявшись его грозного оружия, смешно тараща глаза, умчались вслед за псом. Аввакум остался один посреди незнакомого и непривычного ему мира и вновь невольно поднял взор к полумесяцу, который, сколько ему ни грози палкой, не сдвинется со своего места. И чем больше вглядывался он в бронзовый серп, тем тоскливее становилось у него на душе.

Он находился в чужом, негостеприимном городе, где его никто не знает и знать не желает. Его не принял священник, к которому его направили, потом едва не ограбили, а могли и убить! И в довершение всего он попал к мусульманам, что само по себе, по представлению Аввакума, было наваждением, чуть ли не происками врага рода человеческого.

Солнце скрылось за гребенчатой кромкой дальнего леса. Теперь мусульманский серп представился Аввакуму клювом могучего степного орла, раскинувшего над землей крылья, застывшие дневной свет, и готового заклевать каждого, кто не склонился перед ним в почтительном поклоне. Грудью остроту бронзового клюва ощутил протопоп и торопливо заслонился от него, прижав руку к православному кресту, охватив его всей пятерней. Лишь тогда обрел он прежнюю уверенность и, напоследок окинув торжествующим взглядом поле незримой битвы своей с басурманским племенем, медленно зашагал дальше.

Но, как ни странно, не испытал он радости и удовлетворения от свершенного, наоборот, коварная печаль, витавшая в сибирском воздухе, окутала его душу тонкой удушающей паутиной, мешая дышать пол-



ной грудью. Вспомнилась утренняя сцена в храме, где рухнул без чувств отец Аверкий. Вслед за тем — изготовившиеся к нападению на взвозе грабители. И ватага татарских мальчишек, без видимой причины погнавшихся за ним. И к мусульманскому минарету кто-то незримый привел его, православного протоиерея. Не иначе как враг рода человеческого затеял с ним хитрые игры, вводя в искушение, испытывая на прочность, терпеливо дожидаясь, когда же он оступится и явит уныние и покорность.

— Нет, — почти ласково произнес протопоп, ни к кому не обращаясь, — не дождешься от меня потачки. Не таков раб Божий Аввакум! Не станет он плясать под дудку твою. Лучше сам отступишь и ищи кого попроси. Мне наперед известны козни твои и замыслы подлые. Не выйдет!

\* \* \*

С такими мыслями, взмокший от долгой ходьбы, он добрался до своего невзрачного домика и был немало удивлен, увидев в зиявшем еще утром пустом проеме новенькие двери. Он даже ненадолго замер перед ними и сделал несколько шагов назад, глянув на дом как бы со стороны, думая, что перепутал его с другим. Однако это был тот самый дом, где он провел предыдущую ночь. Та же тропинка в глубоком снегу, неубранный двор, небольшое крылечко из тесаных бревен, брошенная кем-то разошедшаяся кадушка без обручей, колючки репейника, торчащие неммым укором вдоль заборчика. Но тут же заметил он и заделанное бычьим пузырем оконце, через которое струился тихий желтоватый свет от горящей внутри лучины.

«Анастасьюшка моя приехала! — обожгла его радостная мысль. — Как же она дом нашла? Почему меня не известила, не сообщила о приезде? А может, и не она вовсе?»

Обуреваемый сомнениями, он взбежал на крыльцо и распахнул дверь, открывшуюся легко и без скрипа. Шагнул через порог и застыл в удивлении. На новенькой скамье сидел невысокого роста мужичок с рыжей шевелюрой и что-то подстрагивал на ней острым топориком.

Увидев вошедшего Аввакума, он хмыкнул и как ни в чем не бывало буднично произнес:

— Вечер добрый, батюшка...

— Добрый... — отозвался Аввакум. — А ты кто таков будешь? Новый жилец, что ли?

Он решил, что после случившихся за день злоключений в довершение всего объявился тот, кто сейчас выгонит его из дома, и приготовился постоять за себя, крепко сжав в руке посох.

— Да нет, мил человек, зачем мне дом твой, когда свой имеется? Живи себе. Я подсобить зашел. Вот дверь навесил, а то худо без двери в этакую морозину. Лавку изладил, чтоб было куда сесть. Да ты проходи, — по-хозяйски кивнул он протопопу. — Я уже и домой собрался — думал, не дождусь.

— А как имя твое, добрый человек? — наконец догадался спросить протопоп.

— Яшкой меня кличут. Или Яков Плотников. Кому как нравится. По плотницкому делу и прозвание получил.

— Понятно, — промолвил Аввакум, хотя как раз было ничего не понятно. — Тебя из монастыря или с архиерейского двора ко мне снарядили?

— Как же, они снарядят! — снова хмыкнул плотник. — Сам пришел, по-соседски. Живу я тут неподалеку в слободе. Все одно заказов нет, вот и решил помочь немножко.

— Спасибо тебе, Яков, за то. Семейю жду на днях, а как их в дом без дверей ввести? Теперь другое дело... Сколько за работу возьмешь? Говори, не стесняйся. Пусть не сразу, если дорого вдруг для меня окажется, но расплачусь.

— Да разве в деньгах дело? — сморщился Яшка. — Деньги меж людьми что блохи на собаке. И без них никак, и с ними худо. Сочтемся. Не о том разговор.

— О чем же тогда? — спросил Аввакум, усаживаясь на все тот же деревянный обрубок, уже служивший ему подставкой. — Ты вот скажи мне лучше: почему дом, где раньше тоже люди жили, пустехонек стоит?

— Точно, пустехонько, как у голодного в пузе, — согласился Яков. — Куда все подевалось?

— А много чего было?

— Да все было как у всех: и стол, и лавки, и кровати. Чай люди здесь не один год прожили.

— И куда все подевалось?

— Ну, как сам хозяин помер, то жена его с детками уехали к родне куда-то. Говорят, с собой, кроме одежды да посуды, ничего и не взяли, все целехонько оставили. Знали, поди, что других людей вместо них поселят.

— И что потом? На двор к владыке свезли или покрали все?

— Зачем покрали? Крадут, чтоб никто не знал, не видел. Наши мужики поглядели, поглядели: дом пустой стоит, никто не живет. Вот у кого надобность в чем случилась, тот каждый себе и взял помаленьку.

— Знаешь имена воров тех? — спросил Аввакум, сухо кашлянув. — Назови, а уж я о них владыке передам — мигом сыщут и к ответу призовут за воровство ихнее.

— Какие же они воры? — искренне удивился Яков. — Взяли на время. Пришли гуртом и меж собой поделили.

— Как имена тех подельщиков? — настаивал Аввакум.

— Да почитай все мужики с нашей слободки и побывали здесь. Разве всех упомнишь?

— Ты мне хоть одного назови, а там поглядим.

— Нет, батюшка, не тот я человек, чтобы своих выдавать. Мы тут все одна семья, а тебя к нам прислали на какой срок — неизвестно. По-



живешь, поживешь и обратно подашься, а нам-то дальше сообща жить. Ты уж сам ищи, куда что делось, и меня в это дело не втравливай.

— Ясно. Значит, и ты с ними заодно...

— Супротив всех не пойду. А тебе, батюшка, чем смогу пособлю. Золотых гор, правда, не обещаю... А сейчас меня хозяйка заждалась. Пойду я.

Яшка встал с лавки, слегка поклонился протопопу, запахнул шубейку, которую не снимал по причине холода, и направился к двери.

— Да! — вспомнил он, обернувшись уже у порога. — Я в сенцах дровишек принес немного. Протопи, а то зябко у тебя...

Аввакум остался один, не зная, радоваться ему или, наоборот, печалиться после всего произошедшего с ним за столь короткий срок. И, надо признать, больше всего поразил его Яков Плотников, что пришел без приглашения и сделал жилище вполне обитаемым. Теперь можно было лечь спать не на пол, а на ту же лавку. Окно затянуто пусть не слюдой, что для Сибири, скорее всего, непозволительная роскошь, но сойдет и бычий пузырь. Не сквозит, не дует. И новая дверь не даст теплу выйти наружу. Если бы еще печь добрую сложить да пол настелить...

Возвращаясь в мыслях к Якову, протопоп подумал, что редко ему приходилось встречать бескорыстных людей, которые бы вот так, не за страх, а за совесть, помогли работой своей ближнему, не ожидая за то положенного в таких случаях вознаграждения. Но что-то беспокоило Аввакума, когда он вспоминал о Якове. Голубые с зеленым отливом глаза умельца выдавали в нем потаенную хитринку, присущую, впрочем, любому русскому мужику. Только у иных хитрость бывает направлена на отлынивание от любой работы, будь она по собственному хозяйству или внаем, а тем более в помощь родственнику или соседу. Про таких говорят: он не перетрудится, но и своего не упустит. Не пропускают они ни крестин, ни свадьбы, являясь без особого приглашения. И споют и спляшут после поднесенного хозяйкой ковша крепкого пива. Однако случись у кого беда — и не дозваться тех плясунов, скажутся или немощными, или занятыми делом важным. Так и живут они до самой старости своим двором, посмеиваясь с крылечка над соседом, что корячится с утра до вечера за тяжелой работой, надрывая пупок, а потом сляжет в хворобе от трудов непосильных.

Именно такой чуть насмешливый взгляд имел Яшка Плотников. Но не походил он на обычного любителя гулянок, которому хоть пень колотить, лишь бы день проводить. Что-то другое крылось внутри него, чего понять протопоп Аввакум никак не мог, сколько ни представлял Якова в разных жизненных случаях, уготовленных русскому мужику. И чем больше думал он о слободском умельце, тем больше хотелось ему узнать, что тот за человек, что его подтолкнуло на бескорыстную помощь соседу, которого он до того и в глаза не видывал. И решил в ближайшие же дни расспросить о том слободских баб.

С этими мыслями он улегся на новую лавку, с удовольствием вдыхая свежий запах смолистого дерева...

## От творения до искушения

*Тебе дано видеть это, чтобы ты знал,  
что только Господь есть Бог, и нет еще  
кроме Его.*

Втор. 4, 35

Яшка Плотников был едва ли не единственным человеком во всей монастырской слободе, кто никогда не отказывал в бесплатной помощи братьям своим во Христе. Особое уважение испытывал он к людям звания духовного, что для русского мужика было явлением редкостным и даже исключительным. А повелось все с детства, от матери, которая не пропускала ни единой церковной службы и, пока была молода, даром обстирывала и обшивала служителей их сельского храма, за то любезно пускавших ее на клирос наряду с другими певчими. Когда же она за работой той незаметно состарилась, а дети подросли и не требовали уже прежнего ухода и присмотра, то взяли ее послушницей в один из небольших монастырей поблизости от их родного села, где она тихо скончалась, завещав Якову навещать скромную могилку ее во всякие праздники, а по возможности заказывать сорокоуст.

Яков и рад был бы выполнять неукоснительно материнский завет, но, ведя жизнь простую и безденежную, при всем желании не мог делать это, поскольку редких его заработков хватало лишь на худое пропитание. Потому и шел на монастырские работы, чтоб по окончании их робко попросить архимандрита помянуть в молитвах матушку, которая после этого обычно приходила к Якову во сне и благодарила. И от того он со счастливой улыбкой просыпался по утрам и с нежностью думал о наверняка пребывающей в раю душе своей родительницы, надеясь, что она отмолит и его у Господа, упросит допустить сыновью душу в райскую обитель, где они когда-нибудь навечно воссоединятся.

В Сибирь Яшка попал случайно, вызвавшись, еще будучи молодым парнем, поехать на заработки с мужиками из плотницкой артели, которых пригласили для возведения храма в одном из только встающих на ноги сибирских сел. Когда же они добрались, преодолев множество мытарств и лишений, до нужного места, то выяснилось: староста, собиравший деньги на храм, куда-то исчез, прихватив всю общинную казну. Артельщики от души отматерили того хваткого старосту и разбрелись кто куда мог, сговорившись, что, найдя работу, известят об этом остальных.

Некоторые из опытных и поднаторевших в скитаниях артельщиков подались обратно в родные края, на что у Яшки просто не было ни сил, ни денег. Он пришел к настоятелю подгорного монастыря в Тобольске, и тот определил его на житье с остальными иноками и послушниками. Однажды игумен застал новичка после очередной попойки в состоянии близком к свинскому и хотел навсегда выгнать его. Но, зная Яшкино умение и безотказность в любой работе, решил не лишать монастырь бесплатных





рабочих рук и поселил его в слободе, позволив какое-то время столоваться при монастырской кухне.

Одной из самых страшных напастей для горожан были случающиеся раз за разом, все вокруг испепеляющие пожары. Начавшись где-нибудь на окраине, огонь в короткий срок достигал центра города. Пламя, словно лютый зверь, перескакивало с одной крыши на другую и не щадило ни ветхих лачуг, ни богатых хором с конюшнями, амбарами и лабазами. Жар случался такой, что плавилась колокола на колокольнях. Многие жители держали на берегу челноки и баркасы, на которых угребались на другую сторону Иртыша и там ждали, когда огненная стихия успокоится и отступит. Потом осторожно возвращались на пепелища, копали землянки, делали шалаши, балаганы и отстраивались заново.

Постепенно жизнь в городе начинала налаживаться, и наибольшим спросом тогда пользовались плотники и столяры. Уже с раннего утра к ним тянулись соседи с просьбами соорудить кому лавку, кому стол, а то и дверь или раму для окна. И хотя среди тоболяков почти каждый умел держать в руках плотницкий инструмент, но после случившегося пожара мало у кого он уцелел. Сами плотники брали топоры у тех, кого пожар миловал. Всем хотелось побыстрее вселиться в новое жилье и чтобы было оно краше старого.

Вот тогда-то Яков Плотников был нарасхват и не выпускал топор из рук по многу дней. Спал там, где застала ночь, а с первыми солнечными лучами продолжал тесать бревна, распускать их на плахи, мастерить двери, оконные косяки и все, что для нового жилья потребно. Но, как и большинство мастеровых, от заработков своих он почему-то не особо благоденствовал. Хотя и нельзя сказать, чтобы бедствовал, особенно когда работа сама шла в руки и даже приходилось многим отказывать за нехваткой времени.

Как-то он познакомился с одной разбитной бабенкой, которая ему поглянулась, и привел ее в свой неказистый домик все в той же монастырской слободе. Избенка его роскошью не отличалась и вечерами светила всего одним небольшим окошком, затянутым бычьим пузырем. Уже скоро Яков познал известную поговорку, что сварливую бабу и сам черт не переспорит. Да и не до споров ему было: день-деньской в работе, а домой вернется — ни печь не топлена, ни на стол ставить нечего. А однажды вернулся — и вовсе дом пустой. Съехала его невенчанная женушка с каким-то лихим казачком и больше весточки о себе не подавала.

Яшка первое время помаялся, потом свыкся. Случались и радости в его серых буднях, когда хозяева вновь отстроенного дома звали всех на новоселье, затягивающееся иногда до утра с песнями и плясками. Пить Яков не умел, не научился с молодости — уже со второй кружки хмельной браги ронял голову на стол и засыпал. В себя после того приходил долго, ни за какую работу не брался, сидел на крылечке и задумчиво смотрел на беспокойные волны сибирской реки. Баб в дом он больше не приводил и даже начал сторониться их, резонно считая, что в них, и только в них заключено главное зло рода человеческого.

Так Яшка обитался несколько лет и дошел до великой крайности в жизни и здоровье, но ему посчастливилось встретить ту, которая прониклась к нему если не любовью, то материнским состраданием и привязанностью.

\* \* \*

Вышло так, что однажды его попросили изладить гроб для умершего мужика, а коль времени хватит и материал найдется, то и нехитрый крест соорудить. Яшка, по обыкновению, пребывал в то время в размышлении, где бы ему найти хотя бы полкружки хмельного питья, и обрадовался негаданному приглашению. Но, войдя в дом для снятия мерки с покойника, сразу понял, что вряд ли ему сегодня удастся исполнить свой тайный замысел. Дом, стоящий на самом краю слободы, оказался в столь же плачевном состоянии, как и Яшкин собственный.

Сама хозяйка со скорбным видом сидела в головах покойного. В избе стоял лютый холод, будто ее сроду не топили, и причину этого Яков определил, едва, снявши мерку, вышел обратно и окинул взором пустой двор, где не увидел ни единого полена. Вечером вдова заглянула к нему справиться, успеет ли он закончить работу к завтрашнему утру, и, точно в оправдание, сообщила, что муж ее долго болел, а потому пришли они в великое обнищание, и просила Якова подождать с расчетом. Яшка, давно привыкший к тому, что в девяти случаях из десяти слободчане поступают именно таким образом, безропотно согласился, пообещав выполнить заказ к утру. А женщина та, теребя в пальцах концы платка, все не уходила, словно почувствовала единство их душ и ту же самую жизненную неустроенность. Затем, не сказав ни слова, взяла старый веник-голик и начала подметать стружки и щепу, летевшие из-под топора не прекращавшего работу Яшки, у которого и дом и мастерская находились под одной крышей. Он был несказанно изумлен, но вида не подал и лишь быстрее заработал топором.

— Как кличут-то тебя? — в минуту короткого отдыха поинтересовался он, хотя знал, что через неделю вряд ли вспомнит ее имя, занятый новыми делами.

— Капитолиной окрестили, — грудным голосом ответила она и неожиданно улыбнулась. — А можно просто Капа. А тебя?

Яшку удивило, что кто-то в слободе мог не знать его. Ответил. Она же объяснила, что приехала с мужем в Сибирь недавно, тот в дороге занемог и она все это время сидела подле него, не успев перезнакомиться с местными жителями. Была она лет на десять старше Якова, о чем говорили морщинки вокруг глаз и дряблость кожи на шее и руках, но в поясе была тонка, взгляд имела добрый, даже сердечный, и это придавало ее чертам молодость.

— Чем дальше жить будешь? — задал Яков вопрос, ответ на который знать ему было совсем ни к чему.



— Сама не знаю, — без раздумий ответила Капитолина и вдруг, закусив нижнюю губу, поднесла руку к глазам и не смогла остановить хлынувший поток вдовьих слез.

У Якова даже топор выпал от неожиданности, до того стала гостя его похожа движениями, обликом, а главное, женской горестью своей, с которой русские бабы встречают бесчисленные тягости, на покойную мать.

О матери он думал почти непрерывно и в работе, и в безделье. Была она, словно икона в углу, всегда рядом с ним и смотрела откуда-то издалека со своей обычной полуулыбкой. Но образ ее неизменно пропадал, стоило ему подумать о чем-то греховном, нехорошем и плотском, чего мать его знать и видеть не должна была. Сейчас материнский образ встал позади Капитолины, и он услышал, как она промолвила слова, предназначенные лишь ему одному: «Подойди, обними, пожалей женщину эту...»

Он так и сделал. И та легко прильнула к нему, положив голову на плечо, и так стояла, пока не выплакалась, не высушила долгий срок копившиеся в ней слезы, а потом резко отпрянула:

— Ты не подумай чего... Я не такая, что с первым встречным обниматься лезет. Тем более...

Он понял, что значит это «тем более». Тем более с таким, как он, неухоженным и неумытым, в рваных штанах и засаленной рубахе с неумело пришитыми заплатами.

Но и она смутилась от собственных неосторожно сказанных слов, густо покраснела, торопливо заговорила:

— Нет, не о том я. Ты хороший, я же вижу. Работающий. А что один живешь, то даже лучше. Бабы у вас тут все как на подбор, дурно себя ведут, гуляют, с кем захотят. Бежать мне надо отсюда. Только куда, не знаю.

— А родители живы? — с участием спросил Яков.

— Нет, второй год как померли. Остались брат да две сестры, но у них свои семьи, не до меня им. Не хочу никому обузой быть.

— Лет-то тебе сколько?

— Много, — сверкнув глазами, ответила она и вновь смутилась. — А что? Сильно стара?

И тут же улыбнулась, расцвела... И опять материнские черты увидел в ней Яков: тот же поворот головы, знакомый изгиб руки, когда она поправляла выбившиеся из-под платка волосы.

— И детей нет? — продолжал он выспрашивать, чувствуя, что сейчас должно случиться что-то главное, от чего жизнь его круто изменится.

От этого ему стало сперва жарко, а потом вдруг бросило в холод, и он встряхнул головой, отгоняя внутренний озноб, и впервые за все это время улыбнулся.

— Детей Бог не дал. Может, оно и к лучшему... Чего улыбаешься-то? — тоже с улыбкой сказала она. — Думаешь, скрываю? Нет, врать не люблю, грех это.

— В церковь часто ходишь? — не понимая зачем, спросил он и догадался, что ему хочется узнать, во всем ли Капитолина похожа на его



мать или это лишь внешнее сходство, которое при ближайшем рассмотрении легко рассыплется.

— Как и все, — пожалала она плечами. — По праздникам. На исповедь. А чего ты все выпрашиваешь? — погрозила она пальчиком. — Зачем тебе? Неужто понравилась? — И погрузилась: — Нельзя сейчас об этом думать. Там у меня муж лежит несхороненный, а мы с тобой вон...

И замкнулась, поспешно собралась уходить.

\* \* \*

На следующий день Яков сам на санках привез гроб, помог с похоронами, зашел помянуть. Недолго посидел, а после, смущаясь посторонних людей, которые мигом уставились на него, хотя и привыкли к тому, что он неизменный участник всех похорон и поминок, вызвал Капитолину на улицу. И там, стоя с непокрытой головой, задал главный вопрос, который мучил его всю бессонную ночь:

— Придешь ко мне?

— Ты чего? — отшатнулась она с испугом и неподдельным возмущением. — Едва мужа схоронила, а ты к себе зовешь? Точно, все вы тут, в Сибири, совесть в сугроб зарыли и найти не можете. Правильно мне добрые люди говорили: охальники и безбожники тут одни живут. Уходи, а то людей позову.

И он ушел. Но надежда продолжала жить в нем, давая знать о себе непонятно откуда взявшимся желанием изменить свою жизнь, стать иным человеком, для которого, куда он ни взглянет, чудно и прекрасно все, что создано Господом.

Он и не заметил, как образ матери с лучающимися счастьем глазами перестал ему являться вечерами. Вначале он не обращал на то внимания, а потом понял, что она переселилась и теперь живет в нем и они стали единое целое.

Даже весь мир стал он видеть материнскими глазами, как через чудное оконце. И все вокруг предстало перед ним совсем в ином свете, сделалось более ярким, сочным и насыщенным какими-то необычными красками. Сумрачное зимнее небо стало не пасмурным, а бархатно-серым, с лиловыми понизу тучами; дымки из печных труб видел он существами живыми, которым надоело жить на скорбной земле и устремились они вверх — узнать, кто и что там есть, и уже никогда не вернуться обратно, а будут плыть вместе с облаками и тучами в небесной выси, наблюдая оттуда за людьми.

И прыгающие у обочины дороги воробушки, похожие на комочки, отщипнутые от хлебной краюхи, заговорили с Яковом на понятном ему языке, здороваясь и спрашивая: «Как живешь, Яша? Куда идешь?» Такого не бывало с ним никогда даже в сильном подпитии, и он не переставал удивляться, как жил раньше, не замечая этих милых сердцу мелочей и радостей.

Он мог неожиданно остановиться посреди улицы и долго разглядывать глыбу снега, видя в ней некие таинственные знаки, человеческие лица, фигуры, и оттого глыба эта казалась ему живой, только застывшей до весны с сокрытой от людей собственной тайной. Так и вся сибирская страна, думалось ему, скрывает в лесах великую тайну, открыть которую сможет лишь человек, наделенный высшей силой и знанием. Вот бы ему, Якову, разгадать ту тайну и передать другим — тогда бы все узнали, каков он есть на самом деле. И благодарили бы его за открытие, останавливали для беседы, издали снимали перед ним шапку и уважительно кланялись.

Но тайна эта никак не давалась Якову, сколько он о ней ни думал, сколько ни гадал. Стал он тогда по нескольку раз на дню ходить в храм — и на службу, и оставался там после окончания ее. Стоя посреди опустевшего храма, он не замечал, что занятые приборкой и сбором свечных огарков две-три бездомные, живущие при церкви старухи настороженно поглядывают на него, опасаясь, как бы он не стырил что-нибудь ценное. Однако сказать о том вслух не решались, видя его нешуточную сосредоточенность, и обходили стороной, продолжая зорко смотреть за отличным от других прихожанином.

Яков же, оставшись один в храме, всегда задерживался у лика Спаса Нерукотворного и внимательно, не моргая, смотрел ему в глаза, ища ответ на мучившие его вопросы. И тут же внутри него слышался материнский голос: «Молись, Яшенька, проси у Господа спасения души своей». Он начинал что-то шептать, похожее не столько на молитву, сколько на земные просьбы о помощи. В них он просил Господа подсказать ему ответ, в чем состоит тайна земли сибирской. Несвязно пытался объяснить, что, познавши тайну ту, мог бы он, Яков, рассказать о том всем живущим рядом с ним и тем самым сделать их счастливыми, избавить от тягостной печали, властвующей на сибирской земле. Но ответа он не находил ни в храме, ни покинув его...

При этом он не спешил исполнять главный материнский завет и ни разу не обратился к Господу с просьбой о спасении души. Как будто предвидел, что главные грехи его еще впереди, и вот тогда придется каяться и просить прощения всерьез.

«Может быть, — думал он, — сейчас грех мой главный и состоит в том, что не понимаю той тайны, которая другим уже давно известна, а от меня все еще сокрыта? Как мне каяться в том, чего не знаю? Не может же вор каяться, не украв ничего? Так и мне не в чем раскаиваться, пока не открылось мне главное и сущее». И с тем он уходил из храма, вновь не узнав ответа на свой вопрос.

Яшка не раз пытался спросить у матери, то есть у самого себя, поскольку уже не различал, где он, а где она, в чем состоит тайна земли этой, но ответа разобрать не мог. Немного подумав, он твердо решил, что мать умерла, так и не узнав сокровенной тайны, а потому задавать ей этот вопрос более не следует.



Около храма он с раздражением смотрел на копошащихся подле паперти нищих и калек, которым не было дела до его страданий, которых занимало лишь собственное естество и мысли о пропитании, о чем сам Яков давно перестал думать, и организм его ничуть тому не воспротивился и терпеливо ждал, когда ему разрешено будет подать голос о восполнении жизненных сил, что давно уже были на пределе. Мозг же его работал напряженно, и он порой не различал, когда спит, а когда бодрствует.

Он почти забыл о Капитолине, после встречи с которой, собственно, и начались его долгие размышления, а когда вспоминал, успокаивал себя тем, что, сойдись он с ней — и не имел бы тогда никакой возможности думать о чем-то ином, кроме как о житейском и плотском. Не хотелось ему уже заниматься и плотницким делом, к коему он начал испытывать стойкое отвращение. Не желал он делать людям из древесных стволов что-то для своих потребностей, которых у них становится с каждым днем все больше и больше.

Первое разочарование от работы он испытал, когда через силу, без былой страсти сколотил очередной гроб, а после был, как обычно, приглашен на похороны. Как и в ранешние времена, он отправился в дом к умершему, где бабы привычно в голос ревели по лежащему в гробу пожилому мужику. Яшка попытался прислушаться к их плачу, разобрать слова, надеясь, что в них, может быть, откроется ему тайный смысл прощания с жизнью, но все слова казались похожими одно на другое. Чем дольше слушал он плач, тем больше ему казалось, что идет он не от души, не от сердца, а голоса бабы словно бы по обязанности. Так выполняется тяжелая работа, где иной раз нужно надрывно крикнуть, выматериться, помянуть в сердцах и черта и Бога, но без злобы, а так, для порядка.

Он внимательнее всмотрелся в лица баб и понял, что покойника им ничуть не жалко. Их было четыре, участвующих в этом скорбном деле баб. И все они подобрались одна другой ядреней, щекасты и румяны. Глядя на них, хотелось думать не о смерти, а, наоборот, о жизни и ее утехах.

Якову вспомнилось, как провожали покойников в его родном селе, и он отметил про себя, что те проводины сильно отличались от тутошних. Там, на Руси, женский плач в подобных случаях являл собой некую песню, которой прощались с близким человеком, веря, что в другом мире будет ему лучше и приятнее, нежели среди людей. Плачи те, хоть и грустные по звучанию, больше походили на проводы в дальнюю дорогу и несли в себе надежду на встречу, которая рано ли, поздно ли, но случится. Здесь же, в Сибири, бабы голосили больше для вида, ни на что не надеясь, а прервав завывание свое, тут же с улыбкой начинали судачить о делах житейских.

Яшке представилось, как будут провожать его самого в последний путь, и он понял: вряд ли кто закричит, заплачет, запричитает, назовет его кормильцем. Тогда для чего и проводы? Кому они нужны? Не само-





му же покойнику? Значит, людям живым, которые зачем-то придумали их и сопровождали плачем и криками. Или все они истово верят в нужность их присутствия и участия? Или просто делают всё по давней традиции, перенятой у предков? А те откуда узнали? Кто первый придумал и научил остальных тому, что сейчас считается привычным и обыденным?

Он в очередной раз запутался в рассуждениях, вновь не находя ответа на рождающиеся у него вопросы. Но от всего увиденного ему хотелось ходить на похороны, оставаться на поминки, хотя это была единственная для него возможность хоть изредка поесть досыта.

Уйдя с последних похорон, он впервые в жизни стал думать всерьез о своей собственной смерти. И не испугался, как это делают все нормальные люди. В тот момент Яшка даже не заметил, как оборвалась его связь с этим миром и он стоит уже в шаге от того, что зовется потусторонним.

Неожиданно ему сделалось жалко самого себя, чего ранее с ним никогда не случалось. Он попытался вспомнить о матери, однако с удивлением осознал, что воспоминания эти, а тем паче ее светлый образ покрылись толстым слоем густой, как деготь, жалости к себе. И обиды на всех, кто когда-то находился рядом с ним и не смог объяснить, как жить ему дальше. Вслед за тем у Якова совсем пропало желание возобновлять былые беседы с матерью и он решил: пора позаботиться о самом себе, коль никто больше не выказывает своего сострадания и заботы о нем, Якове. И напряженно стал думать, с чего начать эту заботу. Но ничего определенного в его отягощенную вопросами о смысле бытия голову не приходило.

\* \* \*

Так прошло несколько дней... За непрерывными думами и размышлениями подкралась к Яшке великая печаль, все сильнее овладевая им. Все глубже погружался он в тину безысходности, которая еще чуть — и затянет его всего с головой, и тогда он уже никогда не выберется наружу, не станет тем прежним, шибко не ломающим голову человеком, которому все трын-трава.

На него накатило некое оцепенение, словно паралич поразившее душу. И понял он всю малость свою в этой дальней стране. Вволю настрадавшись, стал чувствовать он волны тепла, рождавшиеся где-то в глубине его, отчего сделалось ему хорошо и приятно. Так замерзающему человеку неожиданно становится тепло, и, незаметно уходя из жизни, он погружается в вечный сон.

Именно тогда и открылась Яшке великая тайна сибирская: сколько ни бейся, сколь ни обременяй себя вечной работой, а все зря. Не увидеть ему здесь плодов деяний своих, будут они уходить в землю, как гробы, вышедшие из-под его топора. А вслед за тем исчезнут рухнувшие на осевшие могилки кресты... И оттого еще грустнее и жалче ему стало себя. Он даже не попытался отогнать коварное чувство, а стал лелеять его и жить с ним.



Вечерами он раз за разом обнаруживал на щеке своей слезинку, являвшуюся как драгоценный жемчуг на глухом, не посещаемом людьми речном берегу. Не привыкший к слезам, он не верил, что то есть его слеза, а решил, будто мать каким-то удивительным образом роняла ее, посылая тем самым весточку о себе.

Но пришел срок, кончились слезы, и он забыл о матери, как постепенно забывает человек обо всем, с ним когда-то происходившем. Стал думать непрерывно о своей никчемности, разжигая внутри себя неведомые доселе гнев и злость. А вскоре не стало в нем ни гнева, ни злобы, зато опять день ото дня росла печаль и копилась, копилась, как зола в печи, изгоняя все другие проявления человеческой души.

Работа, за которую он с большой неохотой время от времени все же принимался, стала казаться совсем скучной и ненужной, без которой вполне можно прожить, после того как человек узнал и постиг истину всего сущего на земле. Он стал отказываться от заказов, ссылаясь то на болезнь, то на занятость, то на нехватку нужного материала, и через какой-то срок люди перестали к нему обращаться, наперед зная, что из того выйдет.

С раннего утра он шел на улицу и бесцельно бродил по городу, пристально вглядываясь в лица редких прохожих и пытаясь определить, знают ли они, живущие рядом, то, что открылось ему и теперь переполняло, грозя выплеснуться наружу. Но все люди, встреченные им, спешили по своим большим и малым делам и не желали откровенничать с праздношатающимся человеком.

Тогда Яков по привычке отправлялся в храм и вставал напротив полюбившейся иконы Спаса, спешно крестился, но уже без прошлого трепета и робости, а по-деловому, по-хозяйски и заводил немую беседу со Спасителем: «Ну что, Господи? Не удалось скрыть от меня главную земную тайну? А ведь распознал я ее! Теперь-то известно мне, как дальше жить...» Какое-то время Яшка напрягал внутренний слух, ожидая хоть что-то услышать в ответ, а не дождавшись, презрительно хмыкал, взмахивал рукой, поспешно, с оглядкой крестился, словно его могли уличить в чем-то дурном, и шел домой.

Потом он отказался и от этих посещений дома Господня, решив, что свой храм он может создать прямо в мастерской. Зачем молиться Тому, Кто не оказал ему никакой помощи, не направил на верный путь в разгадке великой тайны бытия, так что ему пришлось долго блуждать в поисках оказавшейся довольно простой истины? Нет, такой Бог ему не нужен! Он создаст свое божество, о котором другим людям ничего до сих пор не известно.

— Вот-вот, — прошептал он и схватился обеими руками за горящую от открывшегося откровения голову, — ему и надо поклоняться! Он убеждает меня от разных напастей и поможет во всем, чего не сделал тот прежний Бог, живущий где-то далеко, но никак не в Сибири.

Он вытащил из давно не топленной печи уголек и принялся рисовать на стене разные знаки в виде кругов и стрел, перекрещивающихся меж



собой. Проснулась в нем память предков, так же вот искавших образы таинственных богов, живших рядом с ними, у которых просили они защиты и покровительства. Однако, не обладая должным воображением, остался Яков недоволен рисунками своими и решил прибегнуть к привычному для него материалу — дереву, чью душу он знал и понимал. Где же еще быть сибирскому богу, как не в смолистом стволе, вызревшем на древней земле, вобравшем в себя все таинственное и значимое окружающего мира и сохраняющем силу его?

Не тратя времени, Яшка притащил со двора толстенный сутунок, укрепил его и, щуря глаз, привычно прикинул, какого размера выйдет божество из приготовленного на очередной гроб бревна. Меж древесных волокон он вдруг увидел два глаза, напряженно глядящих на него, обозначил крупный нос, плотно сжатые губы и густые пряди бороды. Наметив все это, он схватил топор и принялся сосредоточенно вытесывать из бревна своего бога, ни на мгновение не останавливаясь, лишь смахивая рукавом рубахи пот со лба.

Когда он вчерне прошелся по контуру и увидел проступившие черты, то возликовал от величия своего и закричал во весь голос:

— Мой бог! Мой, и только мой! Он поймет меня и выполнит все, о чем его попрошу!

И сгнула печаль, уступив место привычной работе, но уже не для кого-то чужого и постороннего, а для самого себя, ради обретения уверенности и жизненной силы, чего он не мог получить больше ниоткуда...

К утру при сумрачном свете шипящих лучин Яшка Плотников закончил работу и поставил обтесанное со всех сторон бревно в угол, где висела доставшаяся от матери иконка Николая-угодника. После того отступил на несколько шагов от истукана и залюбовался им: из-под кустистых бровей грозно и как-то даже хищно смотрел старик, взгляд которого у любого вызвал бы трепет и поклонение.

Но показался он мастеру чересчур сердитым, недобрый, и, чтоб хоть как-то смягчить его, Яшка кинулся шарить по углам, пытаясь найти что-то яркое и красочное, чем можно было бы украсить новоявленного идола. Однако в пустой избе его трудно было отыскать предметы, годные для украшения. Лишь наткнулся он на небольшую грудку сосновых шишек, приготовленных для растопки печи. Решил, что это именно то, что ему нужно, оторвал от старой холщовой рубахи тонкую полоску и связал ей шишки. Получилось украшение, похожее на бусы, которое он, недолго думая, надел на шею идолу. Но этого ему показалось мало, и тогда он схватил материнскую иконку и прикрепил ее на груди истукана. Глянув мельком на лик святого Николая, он отметил, что взор его стал неожиданно суровым. Ранее он смотрел как бы с затаенной улыбкой, которая сейчас почему-то исчезла.

Яшка опустил на колени и, протянув руки к божеству своему, спросил громко, не опасаясь быть услышанным кем-то:

— Скажи, что мне нужно сделать, чтоб жить беззаботно и необременительно? Как ублажить тебя, чтоб ты помог мне?

Он прислушался в ожидании ответа, но только ветер шуршал поземкой за дверью и где-то вдалеке слышался лай охрипшей на морозе собаки. Это не особо огорчило новоявленного богоискателя, и он с неведомым до того рвением принялся истово отбивать поклоны и говорить первое, что приходило на ум:

— Ты велик! Ты есть бог земли этой! Научи меня, как жить и что мне делать...

Яшка долго бил поклоны и выкрикивал самодельные слова, повторяя их и так и эдак. Затем вскочил на ноги и пустился в пляс, дико кривляясь и корча рожи, выкидывая замысловатые коленца и хлопая в ладоши. Умаявшись, он повалился на лежащую в углу кучу стружек и блаженно уснул, осознавая себя прародителем и жизнедавцем чего-то особенного, на что никто другой не способен.

Пробудившись, он уже не понимал, день или ночь на дворе, опять принялся выкрикивать бессвязные заклинания и плясать, а потом снова упал в угол и спал не так крепко, как в первый раз, часто вскакивал в испуге, словно от толчка чьего-то взгляда, и, не найдя никого, вновь погружался в беспокойный сон.

\* \* \*

Во время одного из таких внезапных пробуждений он почувствовал приступ ярости к своему божеству и, схватив топор, ударил его обухом по макушке. Истукан повалился на пол, шишки рассыпались, отлетела в сторону иконка Николая-угодника. Испугавшись содеянного, Яшка со слезами поднял облагороженное им бревно и принялся исступленно, обливаясь слезами, целовать и гладить грубые черты бога. Потом положил его на древесную щепу рядом с собой, крепко обнял и надолго забылся, потеряв всякий интерес к жизни, к себе самому и всему тому, тайну чего он, казалось, постиг...

Так и нашла его лежащим в забытьи с бревном в обнимку Капитолина, которой Яшкины соседи передали, что тот уже несколько дней не выходит из избы, хотя оттуда слышны непонятные звуки и выкрики. Вначале она решила, что Яков пьян, но вскоре поняла, что это не так, и sprыснула его холодной водой, которую пришлось принести с улицы, поскольку в доме ее не оказалось ни капли. Яшка открыл мутные глаза и тупо уставился на склонившуюся над ним женщину, плохо соображая, кто перед ним и зачем.

Капитолина пробовала говорить с ним, однако слышала в ответ лишь нечленораздельные звуки. Яков порывался встать и куда-то бежать, но едва поднимался на ноги, не мог сделать и шага от полного отсутствия сил и падал обратно на кучу стружек. Поняв, что с ним происходит что-то неладное, Капитолина привела батюшку. Тот внимательно глянул на обезумевшего плотника, послушал невнятные бормотания, сокрушенно покачал головой и, ничего не спросив у стоявшей безмолвно Капитолины, достал принесенные с собой Святые Дары, sprыснул Якова святой водой

и принялся читать над ним очистительную молитву. Яшка поначалу метался, вскакивал, но сил у него не было никаких и он опять ложился на облюбванное место. Через какое-то время он затих, и Капитолине вместе с батюшкой удалось переложить его на кровать, укрыть теплой овчиной. Вскоре за священником прибежала молоденькая девчушка, что-то шепотом сказала ему, и тот собрался уходить.

— Старушка одна помирает, — пояснил он. — Вот зовут... Я тебе Псалтырь оставлю. Грамоте-то обучена? — спросил он Капитолину.

Та согласно кивнула и проводила священника до дверей, сама же осталась рядом с крепко спящим Яковом. Прочитав несколько псалмов, она закрыла книгу и положила ее под подушку спящего. После растопила печь, сбегала к себе домой, принесла кое-что из припасов и начала готовить.

...Проспал Яков до вечера следующего дня, а проснувшись, увидел подле себя Капитолину с открытой на коленях толстенной книгой в тисненном кожаном переплете.

— Что случилось? — спросил он как ни в чем не бывало. — Ты давно здесь? Не помню, как уснул... Сон чудной снился, будто меня кто-то звал в глубокий колодец спуститься, я было полез, а сверху ты зовешь... Еле назад выбрался.

— Точно, чуть совсем в тот колодец не бухнулся. Скажи батюшке нашему спасибо, что молитвы над тобой чуть не до утра читал. А то сейчас бы не ты гроб делал, а для тебя, — по-матерински отчитывала она его. — Едва отходили тебя, дурня. Что же ты такое сделал с собой? — показала она ладонью на его обескровленное и исхудавшее лицо. — Почему не пришел, когда сорок дней после смерти мужа моего прошло? А я тебя ждала...

— Неужели сорок дней прошло? — не поверил он.

— Больше уже. Хотела уезжать, да соседи твои сказали, мол, неладно что-то с тобой. Пришла попроситься, а ты едва живой лежишь, краше в гроб кладут.

И, что-то вспомнив, тихо заплакала. Слезинки ее упали Яшке на руку, на грудь и окончательно вернули его к жизни. Вновь над Капитолиной засиял образ его матери, чему он несказанно обрадовался.

— Мама вернулась, — только и прошептал он.

— Где? — не поняла Капитолина и обернулась.

— Ты и есть моя мама и жена. Оставайся, худо мне одному.

— Так ты не один, — красноречиво указала она на лежащего в углу истукана. — Думала, ты меня на него променял.

— Да будь он проклят! — закричал Яшка и вскочил на ноги. — Из-за него все это со мной и случилось. Нечистый попутал меня, велел собственного бога сотворить — вот меня и понесло. Теперь видишь, что вышло.

С этими словами он легко подхватил совсем недавно обожествляемое им бревно и выбросил его за дверь.

— Все, с этим покончено! — смело заявил он. — Оставайся, и все хорошо будет. Обещаю.

Капитолина покорно согласилась, понимая, что деваться ей все равно некуда, а Яков хоть какой, но заступник. К нему ее влекло едва уловимое, щемящее душу чувство материнской жалости и заботы. Возможно, видела она в нем скорее своего неродившегося ребенка, нежели мужа. Душу женщины и чувства, ей владеющие, трудно понять. Хотя, если разобраться, поступки ее идут чаще всего именно от жалости к другому человеку, что многие называют любовью. Однако, как бы ни звалось это чувство, благодаря ему и живут вместе столь несходные друг с другом люди, не особо задумываясь, чему они этим обязаны.

...Через день Капа, как стал ее звать Яков, перебралась к нему, заставив перенести мастерскую в стоящий во дворе покосившийся и наполовину разобранный сарай. Но никаких пожитков в доме после ее переезда не прибавилось, хотя стало заметно чище и уютнее. Яшка повеселел и подолгу пропадал в сарае, наверстывая упущенное и мастера разную необходимую в хозяйстве людей утварь.

Правда, с тех самых пор он начисто отказывался принимать заказы на поделку гробов и могильных крестов, ссылаясь на явленный ему голос, навсегда запретивший заниматься этим скорбным ремеслом. И слободчане, привыкшие к неожиданным вывертам своих соседей, нимало на то не обиделись, а, наоборот, уважительно похлопывали его по плечу, когда забирали очередную поделку, со словами, что гробовщиков и без того хватает, а вот такой мастер, как Яков, один.

Впрочем, оплату они, как обычно, задерживали, но Яшка с Капой считали, что счастье земное совсем не от этого зависит.





Александр ГАБРИЭЛЬ

## ДАЛЬНЯЯ СТАНЦИЯ

### Хирург Стрельцов

Занавески линялые цвета сушеной цедры  
укрывают от взгляда пустырь да скупой лесок.  
У хирурга Стрельцова — квартира в районном центре.  
В холодильнике пиво и пиццы сухой кусок.

Телевизора нет. Только книги. В квадратной клетки —  
сигаретного дыма дремотная пелена.  
У хирурга Стрельцова давно разбежались дети.  
От хирурга Стрельцова к другому ушла жена.

Он все время один. И берложки его привычки  
никому не близки, обедняя любой сюжет.  
У хирурга Стрельцова в районной его больничке  
не хватает людей и опять сокращен бюджет.

«Подожди, — говорит он себе, — и тебя уволят.  
Это легче, чем выбросить мусор в глухой овраг».  
У хирурга Стрельцова опять под лопаткой колет —  
надо меньше курить, надо меньше курить, дурак.

Вот уже сорок лет, как он в эту больницу сослан.  
Сожалей и мечтай теперь: если бы да кабы...  
Вот уже сорок лет, как библейский пророк — народ свой,  
сам себя он ведет по пустыне своей судьбы.

Завтра день, новый день в охладевшей к нему Отчизне;  
чья-то боль, троакары и скальпель среди нигде...  
Если Промысел Божий — в рутинном спасенье жизней,  
то Стрельцову пора аки посуху — по воде.



## «Парадизо»

Над прошлым — бурный рост бурьяна;  
и да, прекрасная маркиза,  
все хорошо. Зубовный скрежет —  
союзник горя от ума.  
Но еженощно, постоянно  
в кинотеатре «Парадизо»  
зачем-то кто-то ленту режет  
с моим житейским синема.

Бандиты, демоны, проныры —  
ночная гнусная продленка...  
На кой им эти киноленты?  
Кто заплатил им медный грош?!  
Но остаются дыры, дыры,  
и грязь, и порванная пленка,  
разъединенные фрагменты...  
Причин и следствий — не сведешь.

Несутся по одноколейке  
воспоминания-салазки.  
Смешались радости и горе  
в бессмысленную кутерьму...  
И я, кряхтя, берусь за клейки;  
дымясь, придумываю связки.  
Кино, хоть я не Торнаторе,  
я допишу и досниму.

На факты напозают числа  
и с разумом играют в прятки.  
И я блуждаю, словно странник,  
в туманной горечи стиха,  
ища тропинки слов и смыслов  
среди их трагической нехватки:  
давай, давай, киномеханик,  
раздуй, раздуй киномеха.

## Silencio

Плыл вечер. Хлеба парочка краюх  
закусочью казалась в темной стыни.  
И старый друг был лучше новых двух,  
поскольку новых не было в помине.

Не лучшим был десятилетний скотч  
(хоть все равно закончился с восходом).  
Но это все потом. Пока же ночь  
с озябших стен стекала вязким медом.

То книжный шкаф, то вешалки крючок  
являлись вместе и поодиночке:  
камина склеротический зрачок  
из темноты выхватывал кусочки,  
чернил дрова, выплевывал золу,  
искрился, как наряд на карнавале...  
Часы, незримо спрятавшись в углу,  
с прошедшим настоящее сшивали.

Приход рассвета нас застал врасплох,  
оставив недоигранную пьесу...  
Ночь уходила — тихая, как вздох,  
горячая, как тройной эспрессо.  
Целебней оказалось, чем слова,  
победней, чем Ваграм или Непрядва,  
молчанье, разделенное на два.  
А может быть, помноженное на два.

### Латте

Эта жизнь напрокат, этот день напрокат...  
Чашка кофе. Пустой кафетерий.  
В океанские хляби ныряет закат,  
словно кровь из небесных артерий.  
И не пахнет предчувствием стыллой беды,  
и ребенок играет у кромки воды,  
строит стены песочного замка,  
потемнела от грязи панамка.

В продырявленном небе плывут облака,  
словно сделаны белым заплаты.  
И впадают минуты, часы и века  
в остывающий медленно латте.  
День теряет оттенки, играет отбой.  
Как сердитая кобра, белесый прибор  
зло шипит на мальчишку с лопаткой...  
Прочен замок с кирпичною кладкой.



Из куста — стрекотанье беспечных цикад...  
Я случаен, как зритель в партере.  
И нырнул в океанские хляби закат,  
словно кровь из небесных артерий.  
Все застыло в тиши уходящего дня,  
и мальчишка так странно похож на меня:  
ожила, словно в зыбкой истоме,  
фотокарточка в старом альбоме...

Отчего — от усталости иль подшофе,  
но над чашкой остывшего латте  
я чуток прикорнул в придорожном кафе,  
и ошиблись на век циферблаты.  
Ничего не меняется в беге планет,  
но мальчишки с лопаткой давно уже нет,  
только времени шелест негромкий  
различим у прибоя на кромке.

### Парикмахер Ромм

Беру билет на прошлого паром,  
и помнятся причудливые встречи...  
Одной из них был парикмахер Ромм,  
хромающий, асимметричноплечий.  
Как вышло, что доньне не умолк  
прохладный, словно первые снежинки,  
видавших виды ножниц щелк-пощелк  
и стрекот парикмахерской машинки?  
Познавший все в своем искусстве стричь,  
белея головой от мая к маю,  
на всякий мой вопрос Ефим Ильич  
ответствовал комическим: «Я знаю?..»  
Он в день курил три пачки папирос,  
начертанное сокращая вдвое,  
и отвечал вопросом на вопрос —  
еврейства воплощение живое.  
Захлопывалась юность, как пенал,  
надежды зарастали слоем ила...  
А Ромм все знал. Конечно же, все знал,  
но мне об этом знать не нужно было.  
И в наши дни, когда встает ребром  
вопрос в любом житейском переплете,  
мне чудится: летит по небу Ромм —  
шагаловский, на бреющем полете.

## Дальняя станция

Спокойно, парень. Выдох — «ом-м-м» — полезен загнанным нейронам.  
Вагончик тронулся (умом). По сути, заодно с перроном.  
Делю с попутчиком еду: два помидора, хлеб и сало.  
На дальней станции сойду, где ни названья, ни вокзала.

Умчится прочь локомотив. А я останусь в брызгах света,  
с советской песней совместив хайнлайновские двери в лето;  
найду ответ у сонных трав, о чем мне карма умолчала,  
себе с три короба наврав, что можно жизнь начать сначала.

Такой покой, такой уют воспел бы Пушкин и Овидий.  
Здесь птицы песенки поют, каких никто не евровидел,  
здесь я однажды все пойму под ветерка неспешный шорох,  
здесь я не должен никому и сам не числюсь в кредиторах.

Какое счастье, господа, — брести от дактиля до ямба  
и не совать свой нос туда, где вновь коррида да карамба,  
где давит ночь тугим плечом, где каждый встречный смотрит косо  
и где дамокловым мечом висит над жизнью знак вопроса!

Увы, пора открыть глаза. Мечтанья свойственны Сизифам.  
Нет в рукаве моем туза. Покуда миф остался мифом.  
Но все ж в неведомом году я, опыт накопив бесценный,  
на дальней станции сойду. Достоинно. Как артист со сцены.

## Поэтопейзаж

Замер сказочный лес, прорежённый опушками,  
над которыми лунная светит медаль.  
Спит земля до утра — не разбудишь из пушкина,  
и молчит до утра заболоцкая даль.  
Ночь на день обменять — не проси, не проси меня,  
пусть чернеет загадочно пропасть во ржи...  
Спит летучий жуковский на ветви осинової,  
двух крыловых на спинке устало сложив.  
Теплый воздух дрожит предрассветною моросью,  
серой змейкой застыл обезлюдевший шлях...  
Что-то шепчут во сне пастернаковы поросли,  
сонмы диких цветаевых дремлют в полях.  
Проползает река вдоль пейзажа неброского  
и играет огнями — живыми, как речь.  
И ее пересечь невозможно без бродского,  
всем, не знающим бродского, — не пересечь.  
Все, что мы не допели, чего не догрести,  
тает в сонном, задумчивом беге планет...  
Жизнь пройдет и останется фактом поэзии.  
Смерти, стало быть, нет.  
И беспамятства нет.

Павел МАРКОВ

## ОДИНОЧЕСТВО

Р а с с к а з

Жил по соседству дед. Колоритный, потомок каких-то украинских казаков. Себя он тоже причислял к казакам и в изрядном подпитии, которое иногда случалось, гордо выпячивая распахнутую грудь, буйно и клочковато взятую седым волосом, все вопрошал с визгливым прикриком: «А ти знаэш, хто я такий?» И выдержав обязательную паузу, добавляющую весомость словам, уже срываясь и рывкая, сам же отвечал: «Казацюр-ра!» Разговаривал он громко, подглуховато, высоким сипящим голосом, и, несмотря на то что всю жизнь прожил в Центральной России, упорно налегал на родной украинский язык, правда, несколько обрусевший. Жил дед, как в сказке, со своею старухой, детей и внуков не водилось.

Соседями они оказались сложными и вскоре после моего с семьей переезда из города взялись за нас всерьез. Можно лишь строить догадки, за что дед с бабкой нас невзлюбили. Мы с женой на первых порах старались всем понравиться и держались, как нам казалось, очень дружелюбно, открыто, но вместе с тем не заискивающе. Может быть, это я неправильно повел себя, отказавшись выпить с дедом «за знакомство»? В ответ он сумрачно приподнял одну из бровей, седых и пучковатых, практически полностью заслоняющих спутанным навесом выпуклые бесцветные глаза, напоминавшие белесые пузыри на поверхности кипящей сильно кальцинированной воды. Я постарался объяснить причину своего нежелания, довольно убедительно, как мне показалось, соврав, что закодирован. Дед, видимо не поверив, весомо изрек, отделяя каждое слово: «Ну и хэр с табый!» И подволакивая левую, стоптанную набок калошу, унося с собой нестандартную, должно быть, в царские времена изготовленную бутыль с мутной, будто прибеленной молоком жидкостью и две граненые стопки, крепко зажатые меж толстых узловатых пальцев, удалился, пронзительно скрипнув утлой калиточкой, зачем-то проделанной в мой огород. «Казацюр-ра!» — спустя полтора часа разносилось ветром по округе со стороны ограды деда, видно все же нашедшего собутыльника.

Да, я соврал. Мне просто хотелось начать новую жизнь на новом месте, и спиртное было здесь лишним, поскольку с недавнего времени алкоголь стал казаться мне чуть ли не самым свирепым злом в человеческом обществе. На первый взгляд, моя отговорка была самой подходящей, го-



ворить правду и вдаваться в подробности я не считал нужным. Может быть, и зря...

Напрашивалось и другое объяснение соседской агрессии в наш адрес: просто им скучно жилось до нашего появления. Всех других людей в округе они уже замучили настолько, что некоторым пришлось уехать, сменив место жительства на районы арктического Севера, таежной глуши и пустынь — чтобы не было уже вовсе никаких соседей, — а некоторым и умереть, чтобы избавиться от мучений. Тем же, кто дерзнул здесь жить дальше, ничего не оставалось, как смириться, проявляя древнее, трудно поддающееся пониманию, загадочное долготерпение русской души.

Основной целью переезда в деревню для нас с женой было желание улучшить и сохранить здоровье, свое и детей — двоих парней двенадцати и девяти лет от роду и еще только ожидавшейся дочки. Деревня эта и дом выбирались долго, тщательно и с пристрастием, по многим показателям. Искали недалеко от города: ведь работать мне приходилось на прежнем месте, да и сыновья учились в городской школе, как более качественной, а каждодневная езда на дальние расстояния в правила здоровой жизни не укладывалась. Мечталось о большом огороде на южном склоне, примыкающем к уютной чистой речке, который бы изобильно питал нас разнообразной и полезной зеленью и овощами. Дом, конечно, должен был соответствовать нашим избалованным городом представлениям: с удобствами не во дворе, с центральным отоплением, горячей и холодной водой и канализацией. Наличие приличных соседей также было не на последнем месте. И когда такой вариант нашелся, тем более по приемлемой цене, и на вопрос прежним хозяевам по поводу соседской приличности был дан подозрительно поспешный, но утвердительный ответ, восторгу нашему не было предела.

Первый тревожный звоночек прозвучал вскоре после нашего заселения. Было начало лета, мы с парнями в первые же теплые выходные состряпали небольшой курятник, внахлест зашитый ошкуренным горбылем, с пологим скатом шиферной крыши в сторону соседской границы. Дед, периодически мелькавший в своей ограде белой кепкой, скрывающей от солнца гладкий шарообразный череп, и кидавший в нашу сторону исподбровные взгляды, за все время строительства так и не подошел к нам и не заговорил. И в теплый светлый воскресный вечер присели мы втроем на сосновые чурбачки, оставшиеся от строительства, осматривая со стороны свое первое творение с удовольствием и долей гордости за себя, мужиков, соорудивших такую знатную хибарку.

Тут и появился дед, скрипнув коротко и жалобно, будто щенку на хвост наступили, своей калиткой, и молча, по-хозяйски, обошел строение, мягко шурша по свежим опилкам чуть поднимаемыми ногами, оставляя за собой темные борозды. Встал, упершись в нас навесами бровей, и медленно, нараспев, как чайник, который начинает закипать, высоко и раздраженно засипел:

— Ну и якогo хэра вы тутa зрoбылы?!



Мы, уже приготовившиеся к словам одобрения и распираемые гордостью, так и остолбенели, потеряв дар речи, и, хлопая глазами, недоуменно уставились на него.

— Ну, шо бельмы выкатылы? А-а? — все глубже входя в изобличительно-карающий образ и беря еще выше октавой, взвился дед.

— Не понял! А чего не так-то?! — выйдя из ступора и вставая, напористо загудел я, инстинктивно поняв, каким именно тоном нужно с ним разговаривать, и сразу переходя в наступление.

— Шо? А н-ну, пийдемо! — заверещал дед и поманил меня узловатым пальцем-крючком, отходя к забору, но не сдавая позиций. — Ну, подвысь! Ты нащо близко прылэпыв до мого сарайка? С крыши ж залывать будэ, колыв дождь!

— Ничего я не прилепил! Метр от границы отступил, все как полагается! По закону! — нашелся я, ощущая, как начинает вибрировать от волнения голос и по всему телу распространяется противная дрожь в предчувствии скандала, которые я страсть как не люблю.

— Пи закону-у? Ну, це ми подвымыся, як пи закону! Моя бабка юрист, шо б ти знал! Вона всэ разбэрэ! Завтре в сельсовет пийдемо! Там всэ дизнаемося! — уже немного спокойней пригрозил дед утомленным фальцетом.

— А вы сходите, сходите! Я тоже в законах грамотный. Не запугаете! Это ваши строения стоят как раз с нарушением — прямо на меже. А я все правильно сделал! — обретая почву под ногами, уверенно отпарировал я.

Дед, подавившись каким-то очередным едким замечанием, лишь пожевал губами редкозубого рта, в сердцах, розово блеснув лысиной в свете разгорающегося за речкой заката, сорвал с головы кепку, досадливо смял ее крепкой широкой ладонью, отмахнулся от меня, как от нечистой силы, и, прихрамывая, размашисто зашагал прочь, бубня себе под нос:

— Ну сусиды... Ну и суси-иды!..

Сыновья тут же побежали к матери, готовившей ужин, и наперебой рассказывали, как я одолел соседского деда.

— Да, видно, соседи нам попались не дай бог... Ты все же сделай желобок, чтобы вода на их сарай не лила. Зачем нам ругань, нам теперь с ними жить, — за ужином сказала жена.

— Да, вообще-то, я и сам бы сделал отлив... Чего было сразу в атаку кидаться? Похоже, дедок нам боевой достался... Ну ничего, завтра после работы приеду и сделаю. Да и пойду помирюсь...

Первый конфликт уладить получилось, сток дождевой воды с крыши я отрегулировал, хотя, как видно, бабуля — на самом деле никакой и не юрист, а в прошлом бухгалтер — в сельсовет по наши души ходила. Но там, давно зная ее страсть на всех жаловаться и со всеми судиться и не желая раздувать огонь очередной войны, посоветовали на первый раз нас простить, тем более нарушений в моих действиях не усматривалось. Это рассказала моей жене, когда она носила документы на прописку, папспортистка из администрации, а заодно предупредила, чтобы мы готови-

лись к веселой жизни, и советовала по возможности не вступать со стариками в конфликт, хотя это еще никому не удавалось.

Жили соседи крепко, основательно. Дом их — высокий, кирпичный, с резными наличниками и ставнями, с фасада забранный, будто приготовившись к осаде, высокой кованой оградой с острыми зубцами и тяжелыми воротами, — был украшен табличкой с каллиграфической надписью: «Образцовая усадьба». Сквозь узорную ковку глазам открывались райские кущи из разнообразных цветов, собранных бабулей в гармоничные, пестрящие сочным разноцветьем композиции. Дед, несмотря на возраст еще осанистый, только с чуть присевшими плечами, всегда чисто одетый, в неизменной белой кепке в цвет могучих седых бровей, с важным и слегка надменным видом почти каждое утро выводил из гаража свою «двадцать четвертую» «Волгу» кофейного цвета, содержащуюся в недосыгаемой чистоте и состоянии будто только с конвейера. Загружал в багажник ящички с рассадой, какие-то свертки и уезжал с бабушкой куда-то надолго — видно, на рынок в город. Все остальное время они хлопотали по хозяйству: дед что-то чинил, строгал, выпиливал, жужжал наждаком; бабушка бесконечно копошилась в огороде, то и дело привычным движением прибирая благородно, по-модному подкрашенные в каштан волосы, выпадавшие на лицо из-под платка.

Однажды ранним утром в субботу, когда городской люд еще крепко и трудно спит после рабочей недели и обязательного пятничного застоя, я с сыновьями, свежий и преисполненный энтузиазма, отправился на рыбалку, о которой мы долго и сладко грезили, еще когда собирались переезжать в деревню. Мы расположились на берегу напротив нашего огорода, в прогале между кряжистыми ивами, свесившими свои космы в кисло-тугую, припеленутую пухлым одеялом тумана седую тихую воду. Противоположный берег, находящийся от нас самое большее в пятидесяти метрах, не был виден, и хотелось представлять, что перед нами бесконечный океан, веющий прохладной сыростью. Мы расставили стульчики, чутко насторожили удочки и впились с ожиданием в поплавки, яркими пятнами застывшие на мглисто-размытом фоне. Но не успели мы насладиться первой поклевкой, от которой замирает сердце и адреналиновым жаром обдает нутро, как наше семейное уединение нарушил другой сосед, что живет по правую руку от нас, — весь круглый, красномордый, хоть прикуривай, мужик лет пятидесяти. Он тихо подкрался, изрядно меня напугав, по-хозяйски притулился рядом, сказав, что еще с вечера здесь прикормил, и вытаращил сразу четыре удочки, отчего стало тесновато.

— Ромыч! — представился он, отыскав в рукаве и сграбастав мою успешную озябнуть кисть своей толстой, мясистой, очень теплой рукой.

Ромыча этого мы еще ни разу не видели, так как последние два месяца он трудился вахтовиком где-то на севере, но общались с его женой. Видимо, он вчера прибыл и уже успел прикормить рыбу.

— Ну че, с новосельем, что ль? — шепнул он, доверительно нагнувшись ближе и обдав меня плотной чесночной волной, спасаясь от которой я инстинктивно отшатнулся.

— Павел. Кхе-кхе... Да вот, сбежали на лоно природы... Первый раз на рыбалку выбрались, — стараясь не шуметь и как будто оправдываясь, ответил я. — А здесь вообще клюет кто-нибудь?

— Рыбалка — это дело! Да здесь и окунь, и карась, и подлещик случается, плотвичка... Щас начнется, погоди...

Клев и вправду начался спустя каких-нибудь пять-семь минут. Первым обрыбился мой младший, выхватив на свет растопыренного ежом ерша, довольно крупного, по ершовым меркам. Ерш жадно съел целого червя и, не без труда снятый с крючка, отправился в белое пластмассовое ведро с водой, откуда злобно и обиженно поглядывал, притаившись у дна. А мы, все четверо уже, принялись таскать небольших полосатых окуньков, отложив разговоры на потом, и тишина вокруг нас тревожилась только короткими скупыми репликами вроде: «О!», «Секи как повело!», «Погоди, пусть зацепится», «Во какой!», «Дай червя» — и тому подобными.

Ромыч обещал, что скоро волна окуней схлынет и на смену им должны пойти подлещики, на которых он и рассчитывал, прикармливая с вечера. И правда, как только слева сквозь ивовые пряди стало пробиваться солнце, доедая оставшиеся клочки тумана, окуня как метлой вымели, а спустя еще несколько минут мой поплавок, вяло шевельнувшись, стал медленно приподниматься, будто его кто из-под воды выталкивал.

— Это лещ к червяку снизу подходит и начинает имать. Ты, Паха, потерпи, не суетись, пусть заглотит! — чесночно и жарко зашептал мне на ухо Ромыч.

Радости моей не было предела, когда лещ увесисто повис на удочке плоским и широким, серебристо играющим на солнце телом, не в пример предыдущим окуням значительным. Как потом оказалось, это был самый крупный экземпляр из пойманных нами в этот день. Сосед, видимо из зависти, заявил, что это подлещик, хотя я-то до сих пор считаю, что это был никакой не подлещик, а настоящий лещ.

Часа через полтора-два, когда клев, а вместе с ним и азарт понемногу сникли, Ромыч не без ехидства в голосе поинтересовался:

— Как тебе нравится наш бандеровец?

— Бандеровец? — будто не понимая, о ком это он, переспросил я, хотя все понял сразу и безошибочно.

— Ну, сосед твой, дедка Славка. Я его бандеровецем зову. Ох, злодей! Всем вокруг кровь свернул! — Ромыч зло оглянулся и поискал глазами по соседскому огороду. — Еще не выползли. А вообще... Дед, конечно, жуткий человек — как говорится, редиска! Но главный враг, полюбому, бабка. Это ж серый кардинал! Она только с виду божий одуванчик, на самом деле все интриги от нее. Она деда своего потихоньку ковыряет, настраивает, и тот, прокачанный уже, идет со всеми лаяться.

— И давно вы с ними тут живете-бедуете?

— Да как я с армии пришел, они уже здесь жили. Мы с отцом дом построили, я женился, сына родили... Сынок, Васька, в Москве щас. Сначала нормально все было, общались, даже в гости друг к дружке хо-



дили, на праздники приглашали. Выпивали с дедом. У него историй знаешь сколько? Как начнет травить — все за животы держатся. Попивал я раньше, о-о-о, что ты! Бывало, неделями... Чуть семью не просрал. Теперь на зароке живу. Восемь лет уж... А, ну дак вот... С чего я начал? А! Ведь сын у них был, Юрка. Как его дед величал — Юрко.

— Сын? А что с ним стало-то?

— Снаркоманился. Лечили, но он опять сорвался... Из окна выпрыгнул, а может, помогли, не разберешь. Он моего года. Я его и не знал почти, он все в городе жил, здесь редко появлялся. Как говорили, родители его с детства лелеяли, потакали во всем — любили очень. Ну и вырос из сына свин... После похорон дед с бабкой и окрысились на весь мир. Начали кляузничать, изводить всех. На твоём месте, ещё до последних хозяев, мужик с бабой жили, Кузнецовы. Хорошие люди, крепко жили, они здесь все и построили. Так наши-то злодеи им всю жизнь перепоганили. То гуси шумят — спать мешают, то собачка лает, то сорняки лезут на их огород, то забор шибко высокий поставили — затеняет, то пчелы покусали... Никого, блин, не кусают, а их заели! Ох и воевали, по судам таскали! Незаконные строения, говорят, у вас...

— Жуть! Тогда понятно, из-за чего у них башню-то снесло. А не пробовали с ними по-доброму, как-то поддержать их, что ли? Ведь серьезная беда...

— Дык всяко пробовали. Мы ж вроде бы в друзьях ходили, выпивали вместе... Так они и с нами поругались, как Кузнецовы съехали. Я КамАЗ свой напротив дома ставил. На КамАЗе работал. Так старики заявили, что выхлоп на них летит — дышать нечем, цветы вянут. Дед пришел, наорал. Я ему: мол, раньше-то ничего, не мешал выхлоп, да и далеко от вас. А он взбесился, ночью колеса проткнул... Щас не здороваемся даже. Ладно если б я выпивал — помирились бы как-нить, по-мужицки, а теперь никак. Гордыня...

— Дела... — осознав всю серьезность своего положения, вставил я.

— А второй его сосед, дед Ваня с пятнадцатого дома, он вообще им был родственник какой-то. Замордовали! Ну, тот ругаться не любил, молча все переживал. Хороший был старик. Сначала жену свою схоронил, бабу Нюсю, а потом и сам богу душу отдал. Отмучился... Щас там бухарики какие-то живут. Тем хоть трава не расти: пусть хоть Гитлер по соседству, хоть сам дьявол — на все плевать...

Солнце, сумевшее выбраться из косматой ивовой гривы высоко в лазурное, без единого облачка, небо, светило уже прямыми, почти отвесными лучами и незаметно, за разговором, довольно ощутимо накалило наши плотно одетые тела. Рыба, вовсе отказавшаяся клевать, уже не увлекала, и мои ребята, поистратив азарт, заметно заскучали. Мне тоже рыбачить расхотелось, и я поспешно — уж очень мечталось переодеться и сполоснуться в прохладном душе — начал собирать снасти. Сыновья давай спорить наперебой, кто понесет домой рыбу, которой в итоге наловилось почти ведро, и хвост моего леща гордо и внушительно торчал наружу.



— Ладно, сосед, пойдем мы. Жарко уже, да и рыба больше не ловится... Хотя ты, Ром, и испортил мне настроение своим рассказом, но все равно рад знакомству. Заходите с Надеждой в гости!

— Давайте. Не грусти шибко, может, найдешь с ними общий язык... Хотя никто еще, получается, не нашел. Твоих предшественников они тоже победили. Кхе...

Мы с улыбками пожали руки. Догоняя ребят, вдвоем несущих ведро с рыбой, я заметил в соседском огороде белую, солнечным зайцем мелькавшую кепочку. Взобравшись выше по плотно заросшей сочной травой огородной тропке, будто по мягкой ковровой дорожке, я увидел и всего деда целиком. У его ног ковырялась в открытом парнике скрюченная фигурка «серого кардинала» в платочке. Лицами они были обращены ко мне, и я поздоровался, взмахнув рукой и желая доброго дня. На что бабуля скрипуче крикнула: «Драсьте вам», а дед, не поднимая бровей, кивнул чуть видно кепкой, явно делая мне одолжение.

Дома, за чистой улова вкратце пересказав супруге слова Романа и погоревав немного, я изготавился жить дальше, гадая, какую следующую каверзу устроят наши неугомонные соседи. Вопреки ожиданиям, лето прошло хоть и в напряжении, но без открытых боевых действий. Дедова калитка в наш огород не взвизгивала, мы лишь сдержанно здоровались издали. Я всегда первым привычно взмахивал рукой. Бабуля в ответ «драськала». А дед все так же, не вынимая понапрасну глаз из дремучих бровей, скупое чуть покачивал кепкой. Если соседи не копошились по хозяйству, то неизменно трогательно сидели рядышком на уютной лавочке под навесом двух скрепленных ветвями старых, давно не плодоносящих яблонь и, отдыхая от трудов, созерцали огород, упирающийся в извилистую синюю полосу речки, окаймленную пышно-зелеными ивовыми кудрями, и дальше — долгое пшеничное поле, плавно колыхающееся мирными желтыми волнами и ограниченное вдали синеющим лесом, которому уже не было ни конца ни края. И мы с женой уже стали успокаиваться, полагая, что страшные пророчества явно преувеличили беду, ведь соседи тоже люди, и, возможно, совсем не плохие, просто опустошенные глубоким личным горем.

В то первое лето нам всем было не до распрей: жена родила дочурку, и мы всецело погрузились в заботы, связанные с этим, а дед с бабкой увлеченно хлопотали по хозяйству, часто выезжали на рынок и к нашим персонам не проявляли ни малейшего интереса.

Но с первыми затяжными и неожиданно многоводными осенними дождями наш хрупкий мир вдруг снова вздрогнул.

В тот, дождливый с утра, день к обеду внезапно разъяснилось, и супруга, уставшая сушить белье дома, вывешивала его во дворе. Калитка в тот раз не скрипнула ужаленно, как обычно, а лишь печально и тонко пропела нарастят. Дед вошел и стал в отдалении, будто соображая, с чего начать разговор.

— Здравстуй, дядя Слава, — приветствовала соседа моя жена подчеркнуто вежливым и веселым тоном, хотя в душе подозревала, что



не просто так он пожаловал, и его насупленный вид это только подтверждал.

— Здравствуй, Татьяна... — начал дед и, запустив небольшую паузу, не решаясь начать, добавил несвязно: — Так що ж... Твоо Павло нэма?

— Так на работе он, к вечеру будет. А что? Случилось чего?

— Та ни... Я потим зайду... — явно что-то утаив, ответил дед и, смешавшись, упятился назад.

Но только Татьяна вышла собирать белье, уже высохшее на свежем ветерке, как, будто бы случайно проходя мимо, с плохо наигранной внезапностью и какой-то натужной улыбкой из калитки выскрипнула бабуля, не иначе, караулившая в засидке, словно охотник, скрадывающий дичь.

— Ой! Танюша, как хорошо, что я тебя застала! Здравствуй! — подчеркнуто весело и слишком звонко, что само по себе не сулило ничего хорошего, поздоровалась она.

— Здравствуйте, тетя Ларис! — подходя ближе и чуя недоброе, все же приветливо отозвалась Татьяна. — Что случилось?

— Да вот, гляди ж, — подзывая ее ближе к курятнику, бабка ткнула пальцем куда-то в землю. — Это что ж? Заливает нас с вашей крыши! Смотри вот, целая река уже, и все в наш огород бегит, а там и овраг скоро будет...

— Да какой овраг, вы что? Ну стекает вода по желобку, размыло немного. Да и в чем проблема, не пойму? Лишняя влага для огорода ведь неплохо! Да и сами же просили так сделать, чтоб на сарай ваш не попало.

— Ой!.. Ой, не знаю, говорила я деду, не позволяй строить — будет заливать, и вот поди ж ты — заливает! А он: мол, как построили, так и снесут! И что ж щас делать? А? — явно накаляясь, все более высоким и недовольным тоном продолжала бухтеть старушка.

— А ваша крыша побольше нашей раза в три — ничего? Что, не стекает с нее? Ну конечно! Это, оказывается, наша крыша все затопила и размыла! Селевой поток просто какой-то! Да как вам не совестно! — ответно взвилась жена, воинственно подбоченившись и изготовившись дать отпор врагу.

На звук надвигающегося скандала, словно рыба на прикорм, подошел, не выдержав, дед, явно собираясь вставить что-то безапелляционное и сногсшибательное, но, упершись в барьер из наэлектризованного женским противостоянием воздуха, так и не решился приблизиться, разумно сохраняя свой пыл и аргументы для предстоящего мужского разговора.

Приехав домой, я сразу же был облит как из ушата свежими новостями о стычке с соседями, в результате которой женские половины противостоящих сторон, насмерть разругавшись и обменявшись проклятиями, пообещали никогда более не разговаривать и даже не здороваться.

Без аппетита отужинав, я поплелся устранять очередную причину конфликта, пока совсем не стемнело, втайне надеясь не встретиться

ни с дедом, ни с бабкой, поскольку в тот трудный день ни чувства юмора, ни сил на препирания не осталось. Подойдя к месту, я обнаружил извилистое руслице недавнего ручейка, нырявшее под соседский забор, и решил выкопать небольшую отводную канавку, дабы уловить воды раздора. Увлечшись физическим трудом, изрядно меня взбодрившим, я не заметил, как со спины тихо, без скрипа калитки (видимо, смазал петли), подчалил сосед. А когда рядом в уже нахлынувших сумерках привиделись висящие в воздухе белые кепка с бровями, я чуть было не вскрикнул, до того это смахивало на привидение, и отнюдь не доброе.

— Чого ти боишься? Не з'я́м, — негромко пошутил дед, видимо сам не очень-то настроенный на военный лад.

— Вот, дядь Слав, устраняю! — тоже шутливым тоном ответил я.

— Тут цэ... наши баби пошумили... Ну твоя и дала жару! Моя он таблэтки пье.

— Моя тоже до сих пор не отошла, трясется вся... Давай так. Сейчас я этот вопрос решу, но на будущее предлагаю без баб. Лучше мы с тобой все разногласия обсуждать будем. Идет? — Я протянул ему руку.

— Поддерживаю! — твердо и кратко подытожил старик и крепко, до щелчка стиснув мою ладонь, тихо удалился.

После затяжных дождей, сбивших желтую листву с деревьев и ментально превративших ее в грязно-коричневую подстилку, когда все земные обитатели уже были готовы к первым заморозкам и снегу, который наконец-то набело завалит всю грязь, наступили необыкновенные для этого времени года по своей теплоте и погожести дни. Солнце все отведенное ему время щедро ласкало землю, будто извиняясь за долгое отсутствие, компенсируя нехватку тепла, высветляло лица людей, надолго заряжая хорошим настроением, отодвигая предстоящие мрачные и холодные времена.

Эти великолепные две недели я провел дома, используя часть ежегодного отпуска. Буквально на второй же день отдыха у меня зачесались руки что-нибудь построить. В голове живо созрел проект беседки, просто умолявшей разместить ее возле плавного изгиба дорожки при выходе в огород с усадебной территории. Там в уютном окружении садовых деревьев просматривался свободный квадрат, с которого открывался прелестный вид на реку, поле, лес, сложенные в такой гармоничный пейзаж, что его хотелось впитывать без усталости часами, весь целиком, не фокусируясь ни на чем отдельно.

Вспыхнув вдохновением, я взялся за дело. Привез пиломатериал, по очереди хватался за многочисленные инструменты и электроустройства, купленные мною при переезде в деревню и до сих пор томившиеся от вынужденного безделья. Бесконечно жужжа циркулярной пилой, электрорубанком, дрелью, весь в древесной стружке, с неизменным карандашом за левым ухом, я походил на сумасшедшего скульптора, творящего произведение всей своей жизни, лоя умильные и чуть снисходительные взгляды супруги, когда она по несколько раз взывала и не могла дозвать меня на обед или ужин. А проходящие из школы мальчишки, забыв

о заданных уроках и футболе со сверстниками, наперебой подавали мне инструменты, отрезки досок, гвозди, стараясь внести свой вклад в наш замечательный проект.

Очертания моего произведения уже не оставляли сомнений в том, что это именно беседка, а не что-то иное. Я возился с очередным элементом крыши, шатко балансируя на верхней ступени стремянки, как воробей на проводе, пытаюсь одновременно держать по уровню балку и шуруповерт, метя одним из саморезов в цель. Вдруг я неловко пошатнулся и, будто зависнув в воздухе, в замедлившемся на миг течении времени, рухнул на землю, густо заваленную опилками и разнообразными обрезками, крепко ушибив левый бок, да вдобавок еще с гулким звуком был приложен по плечу низвергшейся вслед балкой. Разогнав немного искры в глазах, припомнив самые сочные и непечатные проклятия в адрес хлипкой стремянки, слишком тяжелой балки и вообще всего окружающего пространства, я сквозь пелену гнева и боли узрел соседского деда, стоящего поодаль метрах в десяти и с интересом, будто в цирке, наблюдающего за процессом. От красоты ли моего полета, от его стремительности ли, дед в удивлении вздел кверху брови, впервые, должно быть, за долгое время целиком выкатил белесые судачьи глаза и, явно забыв, зачем пришел, с трудом подавил улыбку и крикнул: «Однако!» — переходя в сконфуженное покашливание.

Оценив всю комичность ситуации, но не подав вида, я как можно больше насупил брови, встал, кряхтя и отряхивая поврежденные места, и вопросительно уставился на деда, предвкушая очередной склочный вопрос и внутренне беззастенчиво, чтобы было легче, сваливая на него вину за свое падение со стремянки. Он, почувствовав неуместность своего появления и, видимо, подозревая о моих мыслях, все же собрался с духом — ну не уходить же! — и издали начал:

— И чога ти таке робышь?

— Беседка будет, — кратко бросил я, потирая саднящее плечо.

— И нахэра ж воно тоби нужно?

— Значит, нужно. А что? Опять что-то не так? — пододвинул я его ближе к теме.

— И не так! Не так! Ось ти тута пиляэш, стругаэш, а в мэнэ телевизор ломаэться!

— Чего-о?! — не веря ушам и поражаясь нелепости придирки, не понимая, как причинно-следственно сопоставить эти вещи, спросил я.

— А того! Сломаэш мий телевизор, платыть будэш! — вспузырившись глазами, сорвался на сиплый крик дед.

— Ну вы уж совсем... того! — постучал я себя по лбу кулаком. — Какой телевизор? При чем тут телевизор?!

— Во кажи минэ, ти специально включаэш пылу свию, колыв ми с бабушкой дивимся «Суд идэ»?

— Чего? Смотрите вы свой «Суд», чем я вам помешал? Громко пилю, что ли? Так я не сумею тише. Ну вы нашли к чему придраться!

Я не пойму, вам скучно без скандалов? — теряя остатки чувства юмора, начал напирать я.

— Телевизор прыгаить вэсь! Ничого нэ выдно, я тобы кажу!

— Помехи, что ли? От пилы и рубанка? Так это антенна у вас такая или экран на кабеле поврежден. От любого электродвигателя, работающего в округе, такие помехи будут. От вашего наждака разве таких помех нет?

— Нэту!

— А вы включите и посмотрите! Будут помехи. Как доктор говорю.

— Да пийшел ти!.. — Дед махнул на меня рукой и, раздосадованно сплюнув под ноги, повернулся и зашагал прочь, как всегда пришаркивая стоптанной левой калошей.

Мне вдруг стало жаль деда, настолько обиженно и как-то беспомощно он уходил. И хоть негодование еще не прошло, я поспешил остановить его:

— Дядь Слав!

Но он, не обращая на меня внимания, продолжал удаляться.

— Да погоди! Слушай! Ну чего обиделся-то? Во сколько ваш «Суд» идет? Давай хоть в это время не буду пилить!

Но он уже закрыл за собой калитку и скрылся в своем дворе.

Не сразу удалось успокоиться, еще бурлило негодование, ныли ушибы, и я мысленно ворчал, прибирая инструменты: «Вот ведь вредный какой! Нет чтобы по-нормальному подойти, сказать, что мешаю... Договорились бы. Суд у них идет! Понасмотрятся всякой дряни, потом ходят по судам, людям кровь сворачивают!» В тот день я больше не брался за стройку.

Отпуск кончился, а вместе с ним, как по расписанию, завершились и теплые ясные дни, вновь отдавая главенство унылой слякоти, цепеневшей по утрам морозной коркой. Но вскоре небеса вспухли снегом, быстро запеленавшим в чистое всю неприглядность человеческих деяний. Запуржили метели, сровняли бугры и ложбины, отправив мир в спокойный, уютный берложный сон. И речка, долго еще черневшая стылой водой, отмаялась — укутавшись теплее, заснула. Установились похожие друг на друга, как братья, дни. И при взгляде на природу глаз человеческий, не зацепляясь ни за что яркое, расслаблялся, отдыхал. Большая часть привычных деревенских забот отошла, и только утренняя расчистка двора и подъездной территории от снега бодрила тело.

Старики наши тоже будто отправились в спячку. Лишь иногда разгоняли тишину доносившиеся с их двора шаркающие звуки метлы, да прозрачное голубоватое телевизионное мерцание за занавесками в сумерках выдавало наличие жизни. «Суд идет», — все всплывало в моей голове при взгляде на соседские окна.

Едва перевалив за середину, зима перестала восприниматься как нечто беспросветное, и в каждом восходе и закате, в каждом дуновении ветра уже угадывалось приближение весны. «Скоро зиме конец, цыган



уж шубу продал», — вспоминались слова моей бабушки, умевшей сказать душевно и образно. Я с детства представлял себе зиму в виде большой лохматой белой шубы, которую снимает с себя черноволосый и черноглазый цыган с обязательным золотым кольцом в ухе, оставаясь в огненно-красной рубахе. И после этих слов я уже знал, что весна не за горами и совсем скоро на обочинах с солнечной стороны будет вытаивать хрустальная корка, которую так здорово рушить, и так вкусны будут поскрипывающие на зубах сосульки...

Зима сдала. Снег с наших с соседями огородов, обращенных склонами к югу, споро сошел, открыв черную, напитанную талой влагой землю, парившую на припеке. Лишь в тенистых местах еще таили недоброе серые, лежалые, сильно просевшие сугробы, упрямо не желавшие сдаваться. Взбурлившая новой жизнью природа приобретала краски, рассыпалась многоголосьем птиц и томилась свежими, кружащими голову ароматами.

В тот солнечный день, выйдя в огород, я впервые с осени увидел соседей. В огороде было еще сыро и никаких дел не предстояло, и они, будто медведи, вышедшие из берлоги, просто стояли и жадно впитывали живое тепло и свет, щедро даримые солнцем. Мне сразу бросилась в глаза неестественная синеватая бледность, почти прозрачность осунувшегося лица бабули, смотревшейся на фоне крепкого, полнокровного деда отражением в мутной воде. И ее фигурка, будто вдвое уменьшившись, казалась, стоит на ногах только благодаря поддержке мужа. Я громко поздоровался, и бабуля, обернувшись ко мне и кивнув в ответ, расслабленно улыбнулась, как мне показалось, очень по-доброму. А дед так и остался стоять, глядя куда-то вдаль, полностью проигнорировав меня.

Через несколько дней, возвращаясь вечером с работы, я увидел скорую, стоявшую возле их дома. Подозревая неладное, подошел ближе — узнать, что случилось. Выходящий из ограды врач буднично ответил, что бабуля умерла.

В день похорон с утра стали приходиться со всей деревни люди: соседи, бывшие сослуживцы — проститься, помолчать. Занимался солнечный весенний день, но напоенный отчего-то осенним запахом прелой листвы и увядания. Пришли и мы с супругой, по-соседски. Гроб с телом, абсолютно не похожим на бабулю при жизни, отчего в ее кончину до конца не верилось, стоял на двух табуретах посреди двора. Люди тихо подходили и скорбно молчали, думая, наверно, о том, что все не вечно и в конечном счете придет и их черед. Потом, полагая, что долг перед усопшей исполнен, они спешили к выходу, где собралась внушительная толпа, разбиравшаяся на кучки: ждали автобуса. В самой крайней слева кучке уже бойко побряхтывали и потирали руки, предвкушая стол и выпивку.

Подошла и наша очередь прощаться. Очутившись рядом с телом, я увидел деда, разбито и мешковато осевшего у изголовья гроба в окружении каких-то трех старушек с просветленными лицами и проплаканными до прозрачности глазами. Он смотрел на свою жену спокойно и задумчиво-отстраненно, будто не осознавая или не вполне осознавая потери. Ког-



да подходили очередные провожающие, он достаивал их взгляда и, казалось, был несколько удивлен тем, что пришло столько людей. Глянул он так и на нас, слегка кивнув, признавая.

Я вдруг примерил его положение на себя, и сердце, окунувшись в горячее, застонало, стиснулось: «Как же он дальше жить будет? Ведь совсем один...»

На кладбище мы не пошли, на поминки тоже. По возвращении домой я все старался чем-то занять руки и голову. Но из рук все валилось, а голова гудела от невеселых мыслей: «Поминки — что за идиотское мероприятие! Кому это нужно? Мертвому? Уж точно не ему! А живым? Если ушедший был дорог и любим, то не поможешь никакими пьянками. Но говорятся речи, наполняются бокалы, и нужно обязательно соблюсти многочисленные правила, обеспечить гостям разнообразное меню. А после похорон родные усопшего все равно остаются один на один с горем. Вот и дед Славка остался...»

В последующие дни я встречал соседа, куда-то уезжающего на своей машине или возвращающегося, всегда с деловым спокойным видом. И про себя думал: «Молодец, хорошо держится!»

Спустя неделю, когда окончательно прогрело землю и приспела огородная пора, мы всем семейством высыпали на свой участок и занялись его возделыванием, пусть неумело, но с большой охотой. Предыдущий огородный сезон прошел у нас, в связи с переездом, скомканно, с опозданием, а в этот раз мы решили подойти к делу со всей серьезностью и даже составили четкий план на большом листе бумаги, густо изрисовав его условными обозначениями. Согласно плану, ближняя к дому часть огорода отдавалась грядкам, еще в прошлом году обордюренным досками, куда сейчас бросила силы супруга с детьми. Далее на плане значилась пахотная часть, которой занялся я, гордо выведя, как коня под уздцы, мотокультиватор, еще ни разу не бывший в употреблении и нарядно сверкающий новыми, ярко окрашенными боками.

По черной земле в изящном беспорядке протянулись подсвеченные солнцем и колыхаемые воздухом паутинки, отчего привычно неподвижная твердь казалась живой, невесомой. Ее деловито измеряли шагами вороны в строгих фраках, ждущие взрытых червей, и криками своими будто подгоняли меня, торопили начать уже работу.

Рыхля землю, вспухающую от кружащихся фрез, под мерный рокот мотора я на время выпал из реальности, размазав взгляд под ногами, обдумывая какую-то длинную мысль, и чуть не уперся в деда, успевшего испугаться и отшатнуться в сторону.

— Ти чоґо не дивисься, мало не задавив! — хрипло бухнул он и откашлялся, прочищая дыхание.

— Ой! Дядь Слав! Прости, не заметил тебя, задумался! — всполошился я, воткнувшись в него не ожидающим ничего доброго взглядом.

— Слухай, Павло... — сказал он, придвинувшись и протягивая узловатую, очень крепкую, на ощупь просто каменную руку. — А тоби



не трэба мій огород? Пахай, сади що хочеш, вин минэ без надобности... Це мяя бабушка занималася... — Последние слова он выдал с трудом и каким-то внутренним подсвистом.

— Да не знаю, дядь Слав... Мы такие огородники, что нам и своего-то много. Давай вспашу его, если хочеш, чтоб дурниной не зарастал.

— Ну, вспаши... Вспаши... — пробормотал дед совсем поникшим голосом, видимо от досады, что оказался бесполезным и он, и огород его, и вся его жизнь, внезапно так ощутило подошедшая к финалу.

Он тут же сделался ниже, будто врос в землю сантиметров на двадцать, глубоко вобрал в себя взгляд, укрывшись бровями, повернулся и, просев плечами и все сильнее пришаркивая ногами, побрел к себе.

И вдруг меня пронзила мысль: как же быстро и безжалостно начинает людей пожирать время, как только ускользает смысл жизни, ее цель... Без смысла мы как без якоря, как без стержня... как без воздуха. Вот жил себе дед, не задумываясь ни о каких смыслах и целях, наверно, не ставил. Все было легко, без заморочек: работа, дом, какие-то постоянные дела, а рядом всегда жена — его вторая половина, и были они единое целое. А теперь все сломалось, остался дед осиротевшей половиной... Или нужно опять становиться цельным, или помирать. Были бы дети, внуки — куда как лучше. А сейчас...

Отмахнувшись от мрачного, я ловко расправился со своим огородом и перевел «коня» на соседскую деляну. И пока я ее бороздил, дед сидел неподвижно, наблюдая со своей смотровой лавочки, явно любуясь процессом, как ходко и легко, будто по маслу, глубоко вонзая в пухлую, богатую землю ножи, идет культиватор. Закончив и его огород, я заглушил двигатель и остановился, плотно объятый густой тишиной и ядреным ароматом свежей пашни, глядел на плоды своего труда, на ворон, смешно, бочком перескакивающих с места на место, ловя червей и всяких личинок.

— Ну, пийды посиды, отдохны, побалакаем, — окликнул меня сосед, подманивая с видом демона-искусителя к себе на лавочку, где рядом с ним был накрыт простенький натюрморт, состоящий из шкалика самогонки, двух граненых стограммовых стаканчиков, наполненных на две трети, ломтиков сала, лука и грубо наломанных дедовскими мощными ручищами кусков белого хлеба.

— Да я ж не пью, дядь Слав! — виновато улыбнувшись и не решаясь присесть, отстранился я.

— А я тоби вже нальв! Не виливати же? — выбросил он весомый, на его взгляд, аргумент. И технично дожал, почуввав мое смущение, прибавив:

— Давай бабушку мию помянемо.

И я, взятый в такой профессиональный оборот, уже не нашел, что на это возразить, и, сдавшись, покорно взялся за прибор.

В тот вечер я узнал, что дед всю жизнь проработал шофером. Услышал, как служил он в Нерчинске, в Читинской области, и ходил в самоволку. И как встретил свою будущую жену, самую видную девку в селе...

Что десятилетним мальцом, живя на украинском хуторе, оказался под немцами и всю семью его, всех жителей хутора сожгли в амбаре. А они с бабушкой прятались в болоте и долго потом выходили к своим... Отец его, мобилизованный в армию в первые дни войны, дезертировал и примкнул к власовцам, а после войны долго маялся по лагерям и в итоге повесился, не получив прощения собственной матери и сына...

Все больше пьянея, дед становился веселее, развязней. Балагурил, сыпал на меня, будто из рога изобилия, смешными историями, крепко приправленными матюгами. Но со вкусом, не грязно. Лицо его расслаблялось, светлело, распуская глубокие слезавшиеся морщины. Тяжелые брови ползли вверх, открывая белесые, в наивной какой-то дымке, глаза. Говоря о прошлом с удивительной четкостью деталей, он будто оказывался там, заново проживая лучшие моменты своей личной истории. Пару раз принимался петь, но даже легкие по смыслу песни отчего-то вызывали у него спазмы в груди, и вскоре он сбивался, смолкал, глотая горький комок. Лицо мучительно морщилось, выдавливая из-под бровей слезы. Но, приняв очередную стопку, он быстро возвращался к веселому.

Вслед за дедом незаметно пьянел и я, хотя старался пить по чуть-чуть. Но даже в этом слегка затуманенном состоянии ясно видел деду беззащитность перед обрушившимися на него обстоятельствами. Из его открытых глаз, из-под штор веселья, выглядывал страх. Несмотря на трудную, наполненную событиями жизнь, он, похоже, впервые оказался один на один с реальностью, так больно его придавившей. Это был край, самый край жизни, за которым дышала льдом неизвестность, уже изготовившаяся к последнему, разящему удару.

Наутро в тяжелой моей голове туго и надоедливо катались по кругу мысли: «Отчего же так выходит, что мы вдруг оказываемся не готовы к завершению жизни? Почему это всегда застает нас врасплох? А можно ли вообще быть к этому готовым?..» Настойчиво вертя в уме трудную эту тему, я ставил себя на место деда и тяжело нащупывал рецепт. И он пришел, неожиданно и грубо. Выходило, что только глубоко осознанная жизнь не приведет к такому печальному финалу. Беспечность и поверхностность, заикленность на мелких житейских моментах, на бесконечной добыче материальных благ, без оглядки на небо, без взгляда в себя, без вложения себя во что-то, в кого-то — все это приводит к быстрому и бестолковому расходу жизни и к неминуемому одиночеству, в самом скверном его понимании...

Дед умер через неделю. Я обнаружил его сидящим на любимой скамье, на своем месте, справа, будто рядом с ним сидела не видимая никем из живущих старушка, его жена. Он слегка сполз вниз, точно спал, чуть запрокинув голову в неизменной белой кепке, с полуоткрытым ртом и запавшими щеками. И только бумажная бледность лица выдавала, что ему уже никогда не проснуться.

Владимир КОСТИН

## ГРУСТНАЯ ПАМЯТЬ О ЛУЧШЕМ

### Просто осень

...И сырость, и прель, дымовые завесы,  
И тиной висит паутина,  
И льном расцветавший порядок небесный  
Прикрыт небеленой холстиной.

...И стол деревянный под небом осенним  
Печален, и в трещинах влага.  
В деревья попрятались бывшие тени,  
И сизою стала бумага.

А стол опустел, отплывающий, бывший,  
На нем одиноко и с краю —  
В стекло арестованный кофе остывший  
И мрачный, как бездна морская.

...И заморосило, и воздух немеет,  
Шепча все протяжней и глуше.  
И стол все темнеет, а кофе светлеет,  
Как грустная память о лучшем.

### Дождь в июле

Не просто дождь — парящее сиянье  
Живого ливня в середине дня.  
Упорное, но тонкое дыханье  
Набухшей зелени баюкает меня.



И я дышу, свободен от постоя,  
Но от меня, не умывая рук,  
Держа во рту колечко с бирюзой,  
Уходит в лето предпоследний друг.

А свыше — то грохочет, то лопочет  
Уставший гром — так сыплется крупа.  
Проходит ветер — провода бормочут,  
Деревья закипают, как толпа.

Так сорвана душа, как сорван голос  
Бывает у певца, и в том беда,  
Что не поет, но шепчет мне про совесть,  
И сорвана, быть может, навсегда.

А под балконом, в пене, в блеске кружев  
И пузырей, под колокольный звон  
Прекрасная языческая лужа  
Торжественно заполнила газон.

### Юность. Вспоминая Фета

Луной был полон сад,  
Но сад был этот — зимний,  
И соловьи враскат  
Не пели свои гимны.

Рояль был весь закрыт,  
И был невидим даже,  
И скуден был мой быт,  
И сам я не отважен.

Невесть о чем мечтал,  
Пихал поленья в печку  
И что-то бормотал,  
Не запалая свечку.

А за окном гулял  
Студеный громкий ветер.  
Я счастлив был — не знал,  
Зачем живу на свете.

## Мои встречи с искусством в конце 1950-х годов

По радио ребенком цепким  
Я слушал хор — он пел про то,  
Что «я надену серу кепку  
И осеннее пальто».

Отрекся я от пластилина,  
«Мурзилку» я презирал,  
И серу кепку в именины  
Я от родителей желал.

Но — не случилось. Неповинны,  
В тот исторический момент  
Не отозвались магазины —  
Был беден их ассортимент.

Недолго горевал ребенок,  
Ведь вскоре хор провозгласил  
Про «ох, люблю я макароны»,  
И к серой кепке я остыл.

А серых липких макарон  
К нам привалило сто вагонов!

## Степная судьба. Приметы

«Мальчиком был, забылся — и присел на порог.  
Так и остался маленьким, дальше расти не мог».  
«Просо варил, оступился, соль просыпал в огонь,  
Свистнул костер, возмутился — язвы разъели ладонь».  
«Нынче с зари подергивает мою левую бровь.  
Время меня настегивает? Терпкая стынет кровь?  
Будь начеку, к огорчению душу свою приготовь,  
Если топорщится левая самостоятельно бровь».  
«В мокрой степи за аалом синий дрожит огонек.  
Видите? Перемещается вбок, на озерный восток,  
И не спеша опускается в черную зыбь камыша.  
Это моя догорает, гаснет моя душа».

## Саяны. Зима

Там на морозе теплеет гранит,  
А тишина звенит.  
И дымом себя подает человек,  
И дымом себя выдает человек,  
И дымом летит в зенит.  
Там камни дробят без молотка  
Застывшие мускулы рек.  
Там синие облака  
И голубой снег.  
Там близкое небо — хоть пальцем проткни,  
И звезды светят в тебя.  
Светись, но и помни: тебя они  
Готовы принять, любя,  
Когда, принимая в себя без слов  
И холод, и свет, и Закон,  
Ты вдруг понимаешь, в конце концов,  
Условность твоих похорон.





Татьяна САПРЫКИНА

## ЛАПОЧКА

Р а с с к а з ы

### Ирис

Гречишный мед, молочный кофе, тоненький цветок...

Не помню, чтобы я была когда-нибудь кем-то одержима. Мир представлялся мне структурой вялой, слепленной из чего-то вязкого вроде смородинового варенья в банке, перемещающегося туда-сюда, если эту банку потрясти. Я выпивала людей и события потихоньку, как густой сок с мякотью. И не было в этом ни страсти, ни боли, ни огня. Человек или смотрит на воду, или сам барахтается — сразу делать и то и другое невозможно. Но Вира... Как будто бы у меня выросло еще одно ребро.

Часто я слышала о себе: «Как же ты похожа...» Я всегда была той, кто на кого-нибудь похожа. Как мне удавалось быть похожей сразу на десятки разных людей? Почему каждый находил (или хотел найти) во мне черты своих знакомых?

Хотя у меня была своя комната, я любила сидеть на кухне. Подолгу торчала там, прислонясь спиной к боку холодильника, с книжкой и кружкой. Хорошо было слышно, как холодильник урчал, гудел, как внутри что-то перекачивалось, будто у еды была своя отдельная жизнь.

Я снимала комнату у бабули с усиками. Бабуля считала меня похожей на свою покойную сестру. Даже крестилась потихоньку, когда я выходила. Наверное, ей казалось, что сестра смотрит на нее моими глазами, причем с укоризной. Бабуля брала недорого: сестрам всегда есть за что посчитаться. Жили мы с ней в деревянном доме на окраине. На учебу я добиралась на троллейбусе. До сих пор люблю троллейбусы. Они ездят медленно и раздумчиво, это серьезный, воспитанный транспорт. Домишко у бабули был небольшой, сработан грубо, но прочно, и теплый. В саду почти ничего не росло. Впрочем, меня это не заботило: когда там могло что-то вырасти, я уезжала домой к родителям — отъедаться и отдыхать.

Училась я на историческом. Притулившись у холодильника, тихонько прочесывала екатерининскую эпоху, никто мне не мешал. Да и не помогал, впрочем. Я подумывала, что после учебы останусь в университете — в библиотеке, мечтала поступить в аспирантуру, устроиться работать

в архив. Или куда-нибудь еще, где вместо громкого бабулиного телевизора будет горячий чайник, теплый туалет не на улице и много тишины. Мне представлялись целые комнаты тишины, огромные, с колоннами, залы, нагруженные тишиной, переполненные ею. Тишина там должна стоять такая, что ее можно мешать, как горячий шоколад. Такие у меня были планы. Так что по утрам я одевалась потеплее и ехала на троллейбусе. А вечером, насидевшись после занятий в библиотеке, нафаршированная научными сведениями, ехала обратно. Простая жизнь.

Парня у меня не было. Парни тоже считали, что я на кого-нибудь похожа: на бывшую подругу, соседку или на кого-то в телике.

Стоял октябрь, листья опали и скукожились — или, наоборот, скукожились и опали, сделались похожими на заварку. Но когда светило солнце, их было приятно пинать, расшвыривать и ворошить. Еще не задул безнадежно холодный ветер, и что-то невидимое сверху грело щеки.

Калитка у бабули была самая обыкновенная, когда-то ее даже красили. За ней неподалеку от дома на улице росла старая яблоня-ранетка, ветки которой, чуть дождь, ломались и падали прямо в огород. Так что под окнами обычно земля была засыпана давленными ранетками — или нынешними, или прошлогодними. Часто сюда залетали кленовые самолетики, парашютики одуванчика или семена подорожника.

Когда я в первый раз увидела Виру, она висела на нашем с бабулей заборе. Только что прошел дождь, было зябко, и я бы, например, ни за что не стала торчать на улице. Вира была без шапки и безо всякого дела висела, перекинув руки в палисадник. Раскачиваясь и щурясь, поглядывала в окно. В мое окно. Волосы ее, слишком густые и плохо стриженные, были восхитительного, нездешнего цвета гречишного меда — тяжелые, толстые, роскошные прямые волосы, точно такого же оттенка, как и глаза. Тонкий аристократический нос, самую малость вздернутый, безупречно чистая, цвета позднего, последнего осеннего солнца, кожа. На фоне крысино-серых или русых волос, толстых щек и носов картошкой, которые каждый день встречались мне на улицах, внешность Виры казалась завезенной каким-нибудь путешественником из прекрасной теплой страны — хрупкий экзотический цветок. Мне вспомнились ирисы, которые росли у родителей на даче. Некоторые из них были сиреневатыми, некоторые белыми, а некоторые — бархатными, нежно-кофейного цвета, и пахли они пряно и волнующе, аж в носу щекотало. Лет двенадцати, Вира не была худой, а наоборот, скорее широкой в кости; ноги как ножки дивана — сверху потолще, снизу потоньше, совсем не идеально ровные. Куртка так себе, а старая, не по размеру, джинсовая юбка висела мешком.

Увидев, что я заметила ее через стекло, девочка заулыбалась — открыла рот и покатала языком по зубам. Зубы у нее были белые и ровные на зависть, только один клычок снизу чуть выпирал. Она наклонила свою чудесную голову и стала разглядывать ранетки на земле — необыкновенно красивый ребенок, только грязный.

Я улыбнулась вежливо и пошла заниматься дальше. Меня ждало восстание Пугачева.

С тех пор я ее часто видела — растрепу, шатающуюся возле бабулиной калитки. Чумазого, прекрасного ребенка по имени Вероника. Во дворе ее называли Вирой, бог знает отчего — наверное, так ее звали дома. Она почти всегда болталась на улице, в зной ли, в холод. Я тогда еще не знала почему.

Мы познакомились, когда выпал снег, ждать его пришлось недолго. Я как раз дописывала реферат по крепостному праву. Была суббота, самое время немного погулять. Вира во дворе выписывала собственными следами узор на снегу. На голове ее громоздился уродливый старый мохнатый шарф. Снежинки, не тая, торчали в волосах, будто крохотные гребенки, благо им было куда падать — шарф едва прикрывал макушку. Увидев меня, девочка замерла, будто ее окликнули.

— Приветик! — поделилась я радостью, ведь с крепостным правом на сегодня было покончено.

Черт меня дернул тогда, шла бы себе мимо.

Вира встрепенулась, покрутила своим ведьмовским вздернутым носиком и осторожно подступила ближе. Я остановилась под яблоней: припорошенные снегом, как будто сахаром, буро-бордовые ранетки были очень хороши — перезрелые, мягкие внутри и свежие, твердые снаружи. Девчонка захихикала — получилось грубо и глупо. Нет, так смеяться ей совсем не шло.

— Умеешь делать «бабочку»?!

Младших сестер у меня не было, я не знала, как обращаться с детьми. Но надо же было чем-то заниматься на прогулке, и я занималась. Я сделала из двух пар своих следов «бабочку» — бабочка с крыльями из грязи вышла что надо. Я тогда еще подумала: как странно эта девочка на меня смотрит. Так бы я, наверное, смотрела на Елизавету Вторую в ее парике и платье с юбкой три метра в диаметре, воскресни она. Может, ей понравились мои шапка и шарф?!

Вира, как выяснилось, жила рядышком. Через дорогу, ближе к троллейбусной остановке, стояли деревянные бараки со скрипучими лестницами и щербатыми окнами — на зиму их рамы затыкали грязной ватой. Я никогда там не была, только, проходя, наблюдала, как проплывал мимо мрачный оскал душного старого подъезда, чьи лестницы не звали за собой наверх, как это бывает обычно с лестницами: они состояли из дерева сырого, темного и тухлого, приготовившегося умереть.

Вира жила на втором этаже и вроде бы училась в школе. Но явно навевывалась туда нечасто.

— Ты любишь гулять? Как я на улицу ни посмотрю, ты все гуляешь.

Вира в ответ облизнула губы — прекрасно очерченные, идеальной формы, которые стоило бы рисовать или снимать в кино.

— Мама ругается, если не гуляю.

Ясно, мама ругается. Однако же не больно-то играет Вира с другими детьми во дворе. Все больше слоняется, бубнит себе под нос, пинает пыль, грязь, камни, листья, щепки, ветки... Вира была птичкой, да без стаи.

Я сходила в хлебный и купила пряников. Шла и ела пряники. Вира плелась следом, она решила, видимо, теперь таскаться за мной. Так что я дала ей пряник. Мы обе ели на ходу и всухомятку. Снег падал. Конечно, что ж ему еще делать, как не падать, он же снег. Кончик носа у Виры покраснел, руки были без перчаток, все в дыпках. Колготки рваные. Вира не говорила со мной, она на меня смотрела. Мне казалось, вокруг моей головы она видит рамку и разглядывает меня как портрет.

Чтобы как-то скрыть смущение, я спросила:

— Ну и на кого я похожа?

Кажется, Вира испугалась сложного вопроса. Она, как обиженный младенец, скривила рот:

— Ни на кого.

Я быстро поняла, что ее голова работает не слишком хорошо; думаю, в школе ей приходилось тяжело. И все-таки, какая же она была красивая! Теплый, мягкий, топленький ирис. Ресницы и брови цвета засушенной зимней травы, торчащей из-под снега, — польнь, осока... Лицо будто нарисовали мягкой беличьей кисточкой. Пальцы такой же формы, как ноги, уменьшенная копия: неровные, постепенно сужающиеся к ногтям плотненькие карандашики, увенчанные подушечками — так некоторые карандаши кончаются стирательной резинкой.

— Что вы проходите по истории? — Мы уже вернулись к яблоне, да и пряники кончились.

Вира пустила в щеки краску. Потерла крошки в углах рта. Опустила ресницы цвета разломанного пряника. Никакого ответа я не дождалась. Ну так что же — педагогом я себя никогда и не видела. Тишина, книги, что-то смутно теплое и хорошее, вроде большого кресла в зале у родителей, — вот такое будущее я могла себе представить. И когда все дома.

Вечером бабуля с усиками рассказала мне, как живет Вира со своей мамой:

— Пьянчужка она, ее мать-то. Пьянчужка конченная.

А снег, он все падал — на землю, на деревья...

В пятиэтажке через квартал жила моя подружка Светочка. Жила она с мамой, на первом этаже, в квартире с окнами на хоккейную коробку. Училась у нас же на филологическом. Она-то несколько лет назад и познакомила меня с бабулей, когда я искала комнату. Светочка была чернявенькая и щуплая, с узким личиком и цыганскими глазами, все ее принимали за школьницу и наверняка до сих пор принимают. У Светочки были коньки — старые, правда, ну и что: своих-то я из дома не привезла. Так что мы с Вирой на следующий день, в воскресенье, пошли к Светочке в гости. И заодно покататься.

Коньки были одни, и мы катались по очереди. Я — очень хорошо, а Вира вообще не умела, я ее держала за обе руки, чтобы она хоть как-то ехала. Дело было вечером, в темноте, под фонарями. А потом у Светочки мы пили чай со смородиновым вареньем. Вира, конечно, была диковатая. Мы со Светочкой говорили и смеялись, а Вира больше помалкивала

и озиралась. Нечасто, видать, она ходила в гости, и оказывается, даже телевизора у них дома не было.

— Мать всё собирались родительских прав лишить. — Бабуля рассказывала, ладонь у рта, ужасаясь тому, что творится иной раз на свете, да не где-нибудь, а рядом. — Всё собирались, собирались...

В школу Вира ходила редко. Если что она там и делала, так просто переписывала домашку из чужой тетради в свою. Хорошо, хоть какие-то оценки ей ставили.

Однажды в пятницу, когда у меня не оказалось занятий, я решила Виру подстричь. Девочка разделась в прихожей. Пахла она чудовищно. Бурых волос, которые я снимала, а не стригла, было очень много, слишком много для одной головы. Вира все время горбилась, и я стучала ее расческой по лопаткам. Когда все было готово, Вира закусила верхнюю губу нижним неровным клычком и потрогала макушку. Как девушка трогает себя? (Это очень важно!) Обычно нежно, кончиками пальцев. Вира же себя просто пошлепала.

Но оказалось, дома Вира занималась всем: и стиркой, и уборкой, и готовкой.

— Я, хошь, пирогов слеплю?

Я хотела, и еще как. И Вира, с вымазанными мукой руками, за час слепила мне домашний уют. Вирины пироги вышли ошеломительными.

Неспокойно было одной бабуле:

— Ты не води ее больше, еще украдет чего. Кто их знает, на что они с матерью живут. Я вот и знать не хочу.

Вира гордилась своей новой прической. Она стала всюду таскать расческу — синюю, с ручкой, без одного зуба, — и когда надо и не надо водила ею по волосам. Теперь Вира завела привычку как бы нечаянно касаться меня — нет-нет да проведет пальцем по руке или прижметя. Всему живому нужна ласка. Все хотят тепла, а особенно те, у кого его нет.

Под Новый год я съездила домой и привезла Вире целую сумку своей старой одежды. Девочка обещала вырасти статной и высокой, но пока что моя одежда ей была впору. Теперь Вира подпирала наш забор в моей куртке, шапке и шарфе. Я удивлялась, какие простые у этой девочки были отношения со временем: она никогда никуда не спешила, всегда в ровном, однообразном настроении без вспышек и перепадов, водила рукой по деревяшкам, слонялась возле яблони, поглядывая на окна. Вира научилась томно глядеть из-под своей новой челки и дуть на нее вверх. Может, ей казалось, что это красиво?

Весной у меня было много забот: начались экзамены, и я редко выходила пройтись, только иногда здоровалась с Вирой — выглядела она теперь угрюмой, как всегда неопрятной и даже грузной в ворохе зимней одежды. Но все искупало яркое, нежное лицо, чуть большеватый рот, длинный извив губ, глаза цвета осенней лужи.

Тогда Вира вдруг начала сочинять мне записки и швырять их куда придется — под дверь, под окно, просто в сад. Я писала курсовую и сидела в библиотеке день-деньской, а домой приплеталась под вечер, вя-



лая, с мечтой о горячем супе, кто бы мне его сварил... Иногда я находила на крыльце что-то вроде: «Тибя люблю одна».

— Вира, — говорила я ей, — что это такое, а?

Но она уже не хихикала и не улыбалась, а угрюмилась и только по-кошачьи щурила глаза. Это ее портило — она становилась похожа на цветок, у которого лепестки подвядли по краям.

В мае, сдав экзамены, я уехала домой и забыла про Виру. Вернулась в сентябре. Теплынь стояла завидная даже для лета. Не успела я пере-тащить сумку за порог, как меня окликнули.

Волосы у Виры снова отросли, и это выглядело шикарно. В старой линейке майке, что обтягивала аккуратную, свежесвекопеченную грудь, в моих джинсах, которые она обрезала по колено, и в драных кедах на босу ногу Вира была словно рок-звезда. Лохматая восходящая звезда. Загар сделал ее глаза и губы еще ярче, а ресницы и брови — наоборот, светлее.

Я спросила, прочитала ли она книжки — уезжая, я оставила гору книг, — Вира только пожала плечами. Она шумно грызла яблоко — по всей видимости, кислое, потому что то и дело крутила носом.

«Боже ты мой, — думала я, — неужели никто, кроме меня, этого не видит? Таких красивых девочек надо держать в коробочке с прозрачной крышечкой и гламурными ленточками по бокам, а также со встроенным регулятором температуры и влажности внутри, чтобы они не испортились. Таких девочек надо водить напоказ по разделительной полосе, где самое оживленное движение. Нет, для таких надо строить отдельную полосу — самую главную...»

А Вира взялась за меня основательно. Летом она кое-чего поднабралась, и теперь не давала мне прохода. Пока не облетели листья, мы с ней только и делали, что ругались.

— Ты меня любишь? — спрашивала она с легкой ноткой истерики в голосе.

Это вместо «привет». Шмыг носом. Да, стало холодно.

— Ну конечно, — я старалась все обратить в шутку, хотя мне давно уже было не смешно.

— Погладь меня!

Я гладила ее по голове и целовала в щеку. Щеки у нее за лето об-разовались замечательные. Я старалась вежливо улыбаться. Сидели мы или стояли, Вира прижималась ко мне теплым окрепшим боком и требовала, чтобы я никуда не уходила. Все это начинало раздражать. Книг моих Вира не читала, про школу говорить не хотела. Мылась неохотно, ногти стригла и того реже. Как я ее ни гоняла, она только криво усме-халась — и это тоже ей совсем не шло. Когда я говорила, что мне пора, Вира вцеплялась в мой рукав и волочилась за мной до двери, упираясь пятками.

Вырос какой-то Маугли, а не человеческий ребенок, честное слово. Была бы я ее мамой, сводила бы к невропатологу или к психологу, на худой конец. Нормального угла или приятелей у Виры не было. Наверное,





до сих пор никто не разговаривал с ней как с человеком. Одиночество, оно бывает разным — выходит, и врожденным тоже.

Однажды, когда я отказалась целовать ее в губы и, вырвавшись, ушла, она вся сжалась и выплюнула мне в спину:

— С-с-сука!

Теперь Вира больше не висела на заборе, а, подкараулив, кидалась в меня грязью и мерзко обзывалась. Вот это получалось у нее преотлично.

Вскоре я нашла работу, засела за диплом, и жизнь побежала себе дальше. Мы с подругой сняли квартиру в центре. Мне, конечно, нравилось кататься на троллейбусе, но времени на это уходила куча, а его и так было мало.

В конце ноября стоял лютей холод. Как-то днем я выходила из университета. На ступенях меня ждала Вира. То, что я увидела, мне не понравилось. Вира где-то раздобыла дешевые сапоги на каблуках, с жуткими стразами на голяшках, намазала губы — черты лица ее моментально сделались грубыми и словно расплылись. Как будто поверх акварели, прозрачной и звонкой, как попало начеркали кислотным фломастером. Ногти обгрызены, ядовито-красный лак облез. Нежная медовая Вира едва проступала сквозь все это, едва была видна. Но деваться от нее, даже такой, было некуда.

Мы сели на лавку, было холодно, обе молчали. Наконец, я спросила, как дела, как она поживает. Я пыталась быть вежливой, хотя мне было за нее очень стыдно.

Вира открыла рот:

— Не вернешься — убью!

Лай, это был просто лай — вот что я услышала.

— Ну молодец! — выдохнула я с возмущением. — Додумалась!

Я встала — нет, вскочила, взвилась, как фонтанчик питьевой воды у нас в университетском коридоре, — и понеслась к остановке. Ничего знать про эту жуткую девочку мне больше не хотелось. Когда я садилась в автобус, Виры на скамейке уже не было.

Много лет я ничего не слышала про Виру. Но как-то мне пришлось навестить Светочку, да заодно и бабулю с усиками, которая уже едва ходила и почти не бывала на улице. Барак, где жили Вира с мамой, совсем просел, окривел; он, казалось, скоро завалится — старые дома, как и старые мосты, очень опасны. Они темные, злые, как больные звери, и жутко пахнут.

Виру я увидела издалека. Она сидела на земле, прислонившись спиной к сарайке, широко расставив большие голые красные ноги, покрытые экземой; платье ее сбилось, волосы спутались, лицо опухло до того, что ее было почти не узнать. Но я узнала сразу. Вира, открыв рот, спала, не дойдя до подъезда. Несколько зубов не хватало, в том числе и моего любимого кривоватого клычка.

Еще спустя какое-то время я услышала, что Вира живет с каким-то шалым мужичком бог весть где — в гараже, что ли. Мама ее умерла.



А потом Вира родила девочку. И однажды в кроватку, где та спала, упал с потолка огромный кусок штукатурки — жить в бараке было уже нельзя. Ребенок, к счастью, не пострадал. Потом Виру лишили родительских прав и посадили за наркоту.

Барак наконец снесли. Бабуля с усиками умерла. Я защитила диссертацию. Встречалась то с тем, то с этим. Родила сына...

Зачем я все это пишу? Может быть, Вира была чуть ли не единственным человеком, который не думал меня ни с кем сравнивать, для нее я была ни на кого не похожа. А может, у нее просто не хватало ума. Я часто думала: могла ли я Виру вытащить? Спасти? Одно дело — отдать человеку свою старую куртку, а другое — пытаться подарить то, что подарить нельзя. Еще я думала, что делала Вира тем летом, когда я уехала, и как совершился этот прыжок от мягкого, недописанного пейзажа, отражавшегося в ее глазах, к раскрашенному, злому, точно раскаленному, прищуру. Может быть, после того как я отвергла ее нежности, Вира днями и ночами лежала на кровати в комнате без телевизора, смотрела в стену, беззвучно шлепая губами, опухшими и выразительными как никогда? Мне казалось, я вижу, как нежные, словно новорожденные ранетки, слезы рождаются в ее прятных зрачках, и, минуя преграду мокрых, слипшихся ресниц, катятся по грязной загорелой щеке...

Как-то на уроке в школе меня спросили, почему Онегин отверг юную Татьяну с ее писаниной. «Ну, Онегин не любил ее тогда», — робко предположила я и получила указание сесть на место и послушать правильный ответ.

Я тоже не любила Виру. Она отразилась во мне — каждый пиксель ее потрясающей внешности, — но теперь отражение растаяло. Вира, как опавшая ранетка, лежала на солнце, ее прихватило морозом — и нет красоты, внутри одно гнилье.

Так вот вопрос: зачем?..

Неделю назад я вернулась из командировки. Когда откуда-нибудь приезжаешь, всегда на свой дом смотришь по-другому. Выдался свободный день, и я затеяла уборку. Выпотрошила старый шкаф, вытащила детские книжки, достала из-под стола игровую приставку в коробке, которую давно забросил мой сын, собрала в мешок игрушки. В общем-то, давно пора было это сделать. Позвонила бывшему институтскому одногруппнику, который теперь работает заведующим в детском доме, загрузила багажник и поехала. Чувствовала я себя прекрасно. Хорошо избавляться от ненужных вещей — чистить карму.

Я почувствовала что-то, едва расположившись со своим имуществом в холле. На батарее сидела девочка, чей силуэт мое сознание отразило с убийственной точностью. Девочка вытащила из кармана «Ригли» и с удовольствием начала жевать. Теперь я уже тарасилась на нее безо всяких попыток одернуть себя. Вира, воскресшая или воскрешенная, в каждом повороте головы, движениях рук: как она ладошкой оглаживала макушку, шлепала волосы — крестьянский жест, как покусывала верхнюю губу

чуть выступающим нижним клычком — к сожалению, мне не видно было, такой же ли он кривой... Кем бы и каким бы ни был мужчина, участвовавший в создании этого ребенка, он бесследно растворился, как слеза в воде.

Девочке, видимо, надоело, что на нее так бесстыдно пялятся, она застегнула пальто и вставила в уши наушники от плеера. И проходя мимо, спокойно поинтересовалась:

— Я тебя знаю? — Взгляд твердый и прямой, я бы даже сказала, каменный — то, что у ее матери было растворено в глазах, здесь застыло, точно янтарь.

А камнем, даже янтарем, знаете, и ударить можно.

Свет из окна приплясывал между ее бровей и ресниц, освещал их, проходил сквозь, покойно ложился на скулы. Свет любил ее.

Я помотала головой.

Девочка быстро прошла мимо меня на улице. Одетая она была хорошо и ничем неприятным не пахла. И волос у нее было в самый раз. Я почувствовала себя школьницей, нашедшей бабушкину карамельку в шкафу. Старую-престарую карамельку давно мертвой бабушки. Но она все еще была сладкой.

Мне снова вспомнились ирисы в огороде у моих родителей (тысячу лет туда не ездила): как они были высажены на клумбе уродливой, вихляющейся буквой «S». С годами буква разрослась, потеряла очертания, края и границы, и цветы расплзлись как им хотелось. Перед дождем или к вечеру они пахли удушающе — но это было приятное удушье, его хотелось ждать и с кем-нибудь делить.

Я помню их так отчетливо, потому что в последнее лето, перед тем как уехать в университет, я сидела на веранде и думала, приеду ли еще...

Все мы когда-нибудь лишимся того, что у нас внутри, и оболочка наша надуется, как счастливый, беззаботный шарик. Мы поднимемся в небо, и оттуда, сверху, все будет видиться нам лишь едва заметным узором, слабо узнаваемым орнаментом, нечеткими очертаниями — рваные края, ничего конкретного.

Надеюсь только на это.

## Лапочка

На зыбкой, а иной раз и вовсе теряющейся невесть где границе двух миров как могут уживаются бабушка Жанна и годом младше ее сестра Зуля.

Сегодня им везет с солнцем и ветра почти нет, поэтому бабушки стирают, гладят и вешают шторы. Шторы тяжелые, старые, темные. Да и вообще эта утомительная канитель Зуле и ее распухшим лодыжкам совсем не по нраву.

Жанна до того напоминает настольную лампу на тонюсенькой ножке с аккуратной головкой-плафоном, что кажется, сейчас ее включит кто-нибудь и будет светло. Только вот Жанна почему-то никак не включается, никак не сияет ее внутренний свет, да, видимо, уже и не засияет.

Их общее чадо — почти прозрачная кошка неопределенного возраста струится между ножек старой мебели. Ее сроду не понять: что ей надо, чего она хочет — ухватить кусочек или чтобы ее погладили, — ее намерения никогда нельзя угадать. Точно можно сказать только одно: эта кошка, она то есть, то ее нет нигде, сколько ни ищи.

Бабушка Зуля вытирает плотный выпуклый лоб. Это ее досадная и привычная работа — с божьей помощью удерживаясь на табуретке, покрытой старым одеялом, дотягиваться полными, румяными от натуги руками и из последних сил цеплять каждый новый крючок за гардину, словно перекидывать всю себя из старости в какой-то другой, незнакомый мир. И если кажется иной раз, что рука наконец перекинулась, нашла опору, зацепилась за что-то ожидаемое и чистое, то вот остальное тело, грузное, болезненное и непослушное, никак не в силах за ней последовать.

Жанна на своих сухоньких лапках топчется внизу с охапкой еще не повешенных шторин — безобразнейший абажур на всем белом свете, — и из-под этой сумрачной груды доносится ее извечное ворчание. Этот танец недовольной горлицы Зуля знает наизусть и каждый раз удивляется самой себе, почему монотонное токование («шаг делаешь маленький... потом крючков не хватит, будешь перевешивать... поближе встань... говорила, не надо было ополаскиватель добавлять — воняет...») все еще продолжает ее раздражать.

На «куда пошла, не с той стороны...» Зуля, шумно выдохнув, будто достигший буйка пловец, бросает руки вниз, и они обрушиваются на бока двумя грохочущими якорями — затекшими кистями. Темная, полная страхолюдин морская пучина колышется перед Зулиными глазами. Жанна в ворохе штор — это сейчас трепещущий, рассерженный осьминог-грабитель, что забрался в Зулину нору и получил — и поделом ему! — наконец по заслугам.

Зуля раздувшимся от ярости пузырем сползает с табуретки, цепляя ветхим тапком одеялко. Пыхтя, она несет свою многолетнюю обиду на кухню — к дребезжащему холодильнику и клеенчатому столу со средней свежести шарлоткой. Этой обиде миллиард веков, она оснащена невидимыми холодными и скользкими клешнями, то и дело идущими на приступ и сгребаящими мясо и нервы в клокочущий узел.

Почти невидимая кошка — послевкусие дыма из кирпичной трубы над домиком не иначе как где-нибудь близ Диканьки — путается под ногами.

Зуля плюхается на стул, пробует на влажность подмышки. Эта негодница и задавака Жанна что-то вопит из комнаты (пусть ветер ее слушает), но в ушах у младшей звенит, от долго запрокинутой головы затекла шея, и пропади они тысячу раз эти старые мамины шторы! Их давно пора заменить на нормальные, тонюсенькие, что продают по сходной цене едва ли не на каждом углу, но мамино же, мамино... Ах, как бы эти новые легонькие кисейные барышни трепетали, когда солнце и ветер, пусть даже смешной, и когда откроешь окно...

Зуля знает, что ей сейчас нужно всего несколько минуточек, ее драгоценных, миленьких минуточек.

Она запихивает в рот сладкий кусочек шарлотки, не запивая, и закрывает глаза.

Эти минуточки всегда так спасают ее. Они — гвоздики, приштробившие ее в «здесь» и не пускающие никуда больше.

Почти прозрачная кошка замирает у ног...

Зуле тринадцать, она вздумала отрацивать челку, из-под вязаной шапки и сползающего капюшона ее белобрысые волосы торчат как попало и лезут в глаза. Она стоит на перекрестке и перебирает в карманах мелочь, считая монетки: один, два, три, шестнадцать...

Минус двадцать пять градусов, сумерки, завтра Новый год, народ сошел с ума, но Зуле все это как будто мимо. Она застыла возле рядов елок на продажу, возле сугроба, возле старой машины.

(В этот момент ей всегда кажется, что это уже было много-много раз, будто бы она возвращается туда зачем-то опять и опять.)

В новом районе славно гулять. Падает снег, но ненавязчиво, только чуть-чуть, создавая легкую завесу перед глазами и размывая то, что происходит.

Вот сейчас он скажет: «Хочэшь вэток купить?»

— Хочэшь вэток купить?

Ему еще нет восемнадцати, а он уже работает. У него бизнес. «Хочэшь? Вэток?» Может, грузин, а может — армянин, ингуш, азербайджанец, их так сходу не различишь. Смешно, разве положено южанам продавать елки? Елки — это не их. Нос тонкий, глаза быстрые, сами словно кедровые орешки. Он в легкой вязаной шапке. Наверняка отец сидит где-то рядом в машине и смотрит, как сын справляется.

А он молодец, правда молодец: продает елки — только отлетают, отпиливает нижние ветки, подгоняет под высоту комнат. Народ спешит, и он не отстает. Очень занят, он чертовски занят. Ему некогда болтать. А ты, Зуля, зачем опять притаскиваешь свою ненадежную память в этот стародавний сумеречный канун Нового года, когда только начинают загораться окна, и фонари, и лампочки, и гирлянды? Здесь так хорошо. И мишура думает, что она тоже, сама по себе, может сиять...

Вот сейчас он скажет: «Или что? Цэлюю елку хочэшь?»

— Или что? Цэлюю елку хочэшь?

Он подмигивает, и Зуля начинает перебирать монетки в карманах быстрее, быстрее: одна, две... пятнадцать...

Зуля неловко улыбается, переставляет ноги, смотрит на свои следы.

(Бабушка на обветшалой доисторической кухне, где динозавры пили чай за спорами и беседами о свойствах папоротников и затяжных ливнях, дожевывает шарлотку, вздыхает и улавливает тихое мяуканье из-под стола. Где-то там, в другой вселенной, идет бой со шторами, которые ни-почем нельзя выпустить из рук, нельзя бросить на пол, потому что они помнутся. Нельзя просто пойти следом и выяснить, что на этот раз не так. Мамино же, мамино...)

— Можно лапок? — неуверенно бормочет Зуля. — Лапок насобирать можно? Обрезков. Ненужных...

Он смеется. У него распахнута куртка, до того занят — настоящие дела, клиенты, свой заработок, которым он потом распорядится как захочет.

Лапок. Лапок. Лапок бы.

— Лапок? Ты лапочка!

Зуля улыбается, ждет, что он, может, засмеется еще (как будто бы она знает наизусть, что сейчас будет и что ей делать), — какие же у этих грузин белые и ровные зубы! Она нагибается, чтобы поднять первую «лапочку», заранее запримеченную, торчащую из сугроба у носка ее сапога.

Едва она хватает «лапочку» рукой без варежки, как во всей вселенной, необъятной и нескончаемой, начинает пахнуть хвоей, смолой и немножко талым снегом.

— Вэток? Или цэлую елку?..

Зуля разочарованно открывает глаза. Ее персональная машина времени всегда ломается, спотыкаясь именно об этот запах.

Бабушка шевелит распухшими пальцами, словно пытаясь здесь, на своей кухне, в узком промежутке жизни, оставшемся до чего-то неизвестного, поймать словую веточку, давно, тысячелетия назад выпавшую из ее рук.

Почти невидимая кошка мажет хвостом по обтянутым ситцем стариковским коленям.

Зуля со вздохом встает — поднимается из глубины времен столб возмущенного пепла. Но звук недовольного бубнежа побеждает — он тоже длится вечно и будет всегда.

«Опять ходила обижаться... и чего тебе не хватает... что, я теперь снова должна все гладить... помятые шторы, ты посмотри... что за радость на такое глядеть...»

Они живут в одной комнате, а кажется, что в одной голове. Мамино, мамино...

Зуля молча — она гранит и скала — взгромождается обратно на табуретку, послушно защелкивает крючки на гардине, не подает виду, что ноет спина. Все это ей дается ой как нелегко.

У Зули всю жизнь все валится из рук. Она толстая. Она не всегда была толстой. Кажется, как раз после той зимы ее начало вспучивать, будто бы хрупкая белобрысая девочка отказывалась протискиваться в следующие мгновения своей жизни, словно ей надо было где-то остановиться, зачем-то застрять. Набрать лапок.

Те грузинские елки были пушистые, размашистые, лохматые...

На последнем крючке что-то щелкает под левым ребром. Голова отделяется от всего остального и улетает в небо. Что Зуля видит особенно ясно, так это ослепительно белый снег и на нем обычную полосатую серую кошку с изогнутым вопросительным знаком хвостом.

А потом тринадцатилетняя девочка выуживает из сугроба душистую словую лапку, добавляет для компании еще парочку и идет к светофору.

Прежде чем перейти дорогу, она оглядывается и видит, что он смотрит ей вслед.

Ей кажется или после этого с ней больше совсем ничего не происходит?



Вера ОХОТНИКОВА

**СОРОКОПУТ**

\* \* \*

Суп заправлю мелкой солью.  
Крупной солью снег валит.  
Ходят мысли своевольно,  
дорастая до молитв.

Боже правый, плохо дело —  
жить не веруя. Так что ж?  
Помолюсь я неумело.  
Ты простишь и все поймешь.

Ты немилосердным не был,  
никогда ты не был скуп.  
Вдоволь крупной соли снега.  
Вдоволь мелкой соли в суп.

\* \* \*

Откуда у пространства столько силы,  
чтобы листву по воздуху носить?  
Не может быть, чтоб осень наступила!  
Ну как не может? Очень может быть...

Пространство широко и мускулисто:  
крупку швыряет пополам с листвою.  
Когда в окошко стучаются листья,  
невольно вздрагиваешь, сам не свой,

задумываешься о жизни странной,  
в которой постоянства не дано.  
Дано пространство за оконной рамой.  
Стоишь подолгу и глядишь в окно.



\* \* \*

Время варений — хозяйке работы по горло.  
По урожайности яблок побиты рекорды.  
Ведроми яблоки нынче, мешками, возами.  
Так на Урале нечасто, вы знаете сами.

Может, и вправду меняется климат глобально?  
Яблоки всюду: в подвале, и в зале, и в спальне.  
Яблочный запах главенствует ночью и денно.  
И разрастается он до размера Вселенной.

\* \* \*

Как пережить эти флоксы и эти люпины?  
Странно, зачем это мы их цвести торопили?  
Ну ответят они — там и до снега недолго.  
Сменишь на шапку свою боевую бейсболку.

Хочешь, не хочешь... Зима нас об этом не спросит.  
Видишь, неловко за флоксами прячется осень.  
Зря торопили, за это несем наказание:  
чувствуем, скоро наступит момент увяданья.

Что за напасти, покуда цветенье в разгаре,  
думать про осень, ее шелестящий гербарий,  
в мыслях картины просторней рисуя и проще:  
первый снежок и последний осиновый росчерк?

Как пережить — не подскажет ни ближний, ни дальний —  
снег этот радостный, этот листочек печальный?..  
Как пережить, чтобы не вспоминать про люпины,  
флоксы, настурции, бархатцы и георгины?

\* \* \*

Снежные хрусты накличут  
семидесятый год.  
Мама горстями сыплет  
соль. Динамик поет.

Отец разминает капусту.  
Яростно пахнет укроп.  
Невелико искусство —  
жить и работать впрок.

\* \* \*

Проснулся ветер, ходит ходуном.  
Листы осины сыплются без меры.  
Кому вчера недоставало веры,  
пускай восполнит этим ясным днем,

когда Господь, охватывая лес,  
такое вызывает изумленье,  
что атеиста мучает сомненье:  
«Неужто Бог и в самом деле есть?»

\* \* \*

Ах, повезло нам с тобой, увидали  
сорокопуга — мелькает за листьями.  
Он, пересмешник, не знает печали,  
песни ворует и пересвистывает.

Вовсе не совестно, так легковесно.  
Можно ли весело жить, не печалиться?  
Смысла не ищет, обходится песнями.  
Хочется так же, но не получается.

\* \* \*

Здорово я придумала: повесить на даче  
строченные мамины задержушки! Да к ним в придачу  
постелю половику домотканой масти —  
буду все лето жить, умирая от счастья.

Здорово я придумала: почитать ребятам  
то, что читала давно, что любила когда-то.  
Давайте прочтем Паустовского «Колотый сахар».  
Слово — надежный помощник, давнишний знахарь.

А еще завела я сегодня будильник старый.  
Он затикал. И время на место встало.



Елена САВЕЛЬЕВА

## КОГДА СОЗРЕЕТ УРОЖАЙ

Р а с с к а з ы

### Дворовая симфония

Это началось ровно в четырнадцать ноль-ноль. Часы в квартире Сидорчуков как раз нервно затенькали и выдали первый удар. Слышно было на весь двор, потому что окна в квартире выбиты уже три дня: в гостиную залетел осколок, покалечивший всю мебель на своем пути. Искореженный шкаф, изумленно вздыбившаяся кровать и расколотый стол теперь торчали во все стороны в раме окна, как натюрморт, неумело разбросанный художником по полотну. И только большие псевдоантикварные часы с боем, которыми когда-то так гордился старший Сидорчук, уцелели, потому что стояли сбоку от окна. Часы выжили, прикрывшись шторкой от случившегося безобразия, и продолжали как ни в чем не бывало измерять время. Все же какими-то мелкими осколками их, видимо, зацепило, потому что механизм, запрятанный в нутро пластикового корпуса и когда-то образцово «бомкавший», стал отчаянно фальшивить.

Каждые шестьдесят минут, днем и ночью, часы бабахали дурным голосом должное количество раз, и некому было их остановить или починить: семья Сидорчуков уже неделю как ушла из города, нагруженная сумками и котомками. Залезать же внутрь через острые, рвущие остатки стекла не хотелось никому, даже мальчишкам. Вот и слушал двор, как сошедшие с ума часы забыли выданный им на заводе изысканно-культурный баритон и отмеряли время артиллерийскими раскатами.

— Ба-бах! — выкинули часы во двор первый удар.

— Бах-бах, — подумав секунду, уточнили, что день в самом разгаре.

— Бах-ба-бах! — с голосом часов слился другой, резкий удар, беспардонно ворвавшийся в соседний двор и зашатавший в нем старый сарай и юные каштаны.

И сразу на короткое время все ожило и задвигалось. Солнечная пыль, заплывавшая от сотрясения домов, вскинулась в безумных па почти до крыш хрущевок. Кривоногая тетя Маша быстро проволокла обеих своих дочурок в подвал, за ней тащил огромный рюкзак с пожитками выпивший муж. Пробежали Капитоновы, Михрюткины, проковыляла



бабушка Прилепиных. Следом за бабушкой из подъезда появились Бабутины.

Человеческие фигурки, удивительно маленькие в этот момент, двигались быстро, неровно, но целеустремленно. Их петляющий бег неизбежно приводил к двери подвала — не монолитной, изрядно уже исчирканной осколками снарядов и пуль, но по-прежнему прячущей за собой жителей двора. Она старательно укрывала их уже больше полугода, жертвуя собой — еще такой молодой, по дверным меркам. И жители, даже не думая о благодарности, дергали ее за ручку и набивались в подвал дышащей темной массой.

Первые обстрелы были короткими и редкими, не чаще раза в неделю, а то и в две. Они очень пугали, но всем хотелось верить, что — пройдет. Последние же два месяца, как пишут в газетах, «ситуация обострилась», и жители разделились на две неравные группы. Большая часть, у которой имелись родственники и хорошие знакомые в благополучных краях, уехала подальше, как Сидорчуки. Меньшая часть, которой некуда было деваться, мучительно и совсем не стойчески оставалась в таком родном и таком теперь чужом доме.

Все чаще снаряды с треском лопались о заборы и стены домов, и деревья трепетали уже практически каждый день. По улицам начали шнырять люди в форме, постепенно подбираясь ко двору все ближе — то с одной, то с другой стороны. Кожа домов покрылась неровными росчерками — следами автоматных очередей; орнамент этих настенных татуировок был диким, несуразным, но столь впечатляющим, что достаточно было взглянуть один раз — и узоры оставались в памяти навсегда.

Со вчерашнего дня люди в форме обосновались совсем близко: за стенкой бывшего хлебного магазина, примыкавшего ко двору. Кирпичная кладка, здесь и там измолотая в красную муку, теперь уже почти не разделяла жителей и военных. В часы затишья во двор залетал грубый хохоток, перемешанный с дымом сигарет, а в часы обострений он сменялся харкающей руганью и плюющимися автоматными очередями.

Вот и сейчас, когда к артобстрелу добавилась стрельба, послышались хриплые выкрики. Звуковая энтропия нарастала и никак не хотела идти на убыль. Один снаряд попал в сарай, съездившийся посреди двора, и дверь сарая теперь отвратительно скрипела. Ее занудная песня все тянулась и тянулась, проникала в подвал, скользила за стенку к военным, раздражая и без того измученные нервы.

Наконец выстрелы затихли. Люди в подвале замерли, ожидая привычной глухой тишины, которая всегда на минуту повисает после обстрела. Но скрип двери продолжал фонить, негромко, тяготно.

Когда же пыль улеглась, почти в самом центре двора, сбоку от трусливо осевшего сарая, на обломанной карусели возник, словно из воздуха, виолончелист Данилов. Забытый второпях при бегстве молодыми родственниками, он из семьи один остался здесь. Его худую спину, чуть скошенную набок от вечной тяжести виолончели, частенько видели у подъездов. Жители старались дать старику хоть немного еды: пресной каши или

консервов, все равно — он брал жадно, с горящими глазами, и при этом кланялся, как на концерте. Нелепый контраст искусства и реальности был сейчас просто невыносим, вызывал желание завыть и убежать прочь. Но детей не пускали бежать родители, а взрослые сдерживали душевный крик леденящим усилием воли.

Последние дни Данилова не было видно, и кто-то совсем о нем забыл, а некоторые с тайным облегчением думали: «И ему пришло время. Так лучше для всех». Тощий старик, восседающий сейчас на облезлом красном металлическом сиденье карусели и пиликающий на виолончели что-то непонятное, казался еще более невозможным, нереальным, чем раньше. Между тем Данилов был и продолжал играть. Осипший инструмент выдавал какую-то непостижимую, натужную какофонию, давясь и захлебываясь нотами.

Соседи попытались растормошить старика, увести со двора. Но он, погруженный в какой-то иной мир и механически водящий смычком по струнам, не видел и не слышал ничего. Усталые и голодные, жители разошлись по домам: нужно было проверить, все ли в квартирах осталось целым. Эта неприятная процедура, хоть и стала привычной, неизменно вызывала тоску и дрожь в сердце, заставляя снова и снова задаваться вопросом: как жить, если все накопленное тобой в один миг будет так же сломано, как вещи Сидорчуков.

Спустя несколько часов, когда сумерки коварно крались во двор, жители заметили, что Данилов продолжает играть. Не смолкла виолончель и ночью, раздирая темноту печально-бессмысленными звуками. Несколько раз мужчины подходили к старику, пытаясь пробудить в нем сознание, но, похоже, там было так же темно, как и на улице. Данилов все играл. Звук виолончели, негромкий, но неотвратимый, проникал сквозь самые герметичные окна, вползал в дома, и без того давно потерявшие покой.

Утром невыспавшиеся, злые жители двора обнаружили старика на том же месте: ничего не изменилось — ни в пиликанье, ни в его позе. Только странная улыбка расцвела на отрешенном лице. Бабаханье сидорчуковских часов, вкупе с музыкальной импровизацией, с каждым часом изводило все сильнее. Люди держались из последних сил, чтобы не взорваться, пытались сманить виолончелиста уговорами, едой, но безрезультатно. Музыкальные стоны продолжали рвать душу. Даже артобстрел в тот день воспринимался не с таким ужасом, как бы немного на выдохе: он, заглушавший музыку, казался значительно более гармоничным.

Ближе к вечеру писк пуль, вплетающийся в грохот снарядов, притих, вновь уступив первое место не тишине, а самозванке-виолончели, возомнившей себя «первой скрипкой» самобытного оркестра. Фальшиво и торжественно возвещала виолончель о чем-то неведомом, а рука старика, водившая по струнам, казалось, не знала усталости. Люди хватались за головы, к увещеваниям жителей присоединились голоса военных, но все было напрасно. Вторая ночь прошла под те же звуки, и уже не было сил это терпеть.





...Рано-рано, когда еще не было шести утра, снаряды, словно разозленные пчелы, вонзились в уставший до одури двор. Заспанные, шатающиеся фигурки вновь бежали к подвалу, некоторые из них поспешно огибали Данилова, все сидящего на карусели, у тропы, ведущей к заветной двери.

Взрывы и выстрелы в этот раз долго не могли уgomониться, разрушая на своем пути все, что попадалось. Изодранный двор мутило от взвеси кирпичной пыли, летавшей в воздухе, изрубленных деревьев и в крошку перемолотых листьев. Атака в последнем приступе упорства рыгала пулями и осколками, вдруг сконцентрировавшись в одном направлении — в сторону бывшего хлебного. Вскоре из-за мрачно чернеющей стены магазина стайкой поднялись военные мундиры и короткими рывками, один за другим, пересекли двор.

— Ба-бах, ба-бах, ба-бах! — прокричали им вслед часы Сидорчуков. — Ба-ба-бах! Ба-ба-бах!..

Затем часы смолкли, словно растерявшись и не сказав чего-то важного. Живая цепочка в рассветной полутьме уже почти выбежала на улицу, когда последний военный, прикрывая и догоняя своих, поравнялся со стариком, продолжавшим исполнять дворовую симфонию. Хлопнула короткая оранжево-красная вспышка. На миг в ее маленьком свете соединились два силуэта: большой, кряжистый и сохшийся, тщедушный. Но тут же вернулся полумрак, и фигуры разделились. Крупная одним прыжком покинула двор, а маленькая сползла на землю.

— Бря-а-амс... — обиженно сказала виолончель.

— Бах-х-х, — умиротворяющее ответили часы.

## Когда созреет урожай

Они вошли втроем, резким движением выставив перед собой удостоверения. Денис посмотрел на увесистые золотые буквы, заранее предупреждавшие о необходимости добровольного подчинения, и, пожав плечами, пропустил гостей в сад. Все трое: двое мужчин, похожих на придорожные валуны — такие же жесткие и серые, и женщина, сухая и казенная, как судебная повестка, — держались так уверенно, будто вернулись к себе после недолгого отсутствия.

До дома шли молча. Гости быстрыми, по-ястребиному короткими взглядами осматривали территорию, словно проверяли — все ли в порядке.

— Ну что же, я вас слушаю, — сказал Денис, когда дверь наконец-то отделила их от внешнего мира.

— Слушать будем мы, — сощурил глаза Первый. — И смотреть. А вы нам все покажете и расскажете подробно. Вы ведь заинтересованы в том, чтобы и дальше здесь жить и заниматься чем занимались?

— Если, конечно, это будет возможно, — без тени веселья усмехнулась Вторая.

— Право слово, не знаю, что вас привлекло, — улыбнулся, демонстрируя искренность, Денис. (В глаза надо смотреть честно, открыто

и уверенно, тогда есть шанс, что от тебя отстанут.) — Мне совершенно нечего скрывать. Живу я здесь достаточно давно, и жизнь моя у всех на виду.

— Если бы к вам не было вопросов, то и нас бы здесь не было. — Первый прошел в гостиную и бесцеремонно расположился на диване.

Второй занял позицию у окна, а в руках Третьей тут же появились папки с бланками документов, и она в один момент разложила их на застенчиво желтеющем ольховом столе.

— Итак, перейдем от намеков прямо к делу, — продолжил Первый, когда его товарищи облюбовали себе места в гостиной. — Вы, действительно, живете здесь в течение последних четырнадцати лет. И жизнь ваша, бесспорно, вся на виду... Если говорить о ничем не значащем общении на улице, в кафе или в магазинчиках. И не обращать внимания на забор высотой в три метра по периметру вашего участка и полное отсутствие дружеских встреч с соседями в домашней обстановке.

Первый холодно улыбнулся, Второй и Третья кивнули, сохраняя гранитную неподвижность острых, ястребиных лиц.

— Да, я живу один. Занимаюсь выращиванием растений на продажу, и мне, поверьте, просто некогда любезничать с соседями и распивать чай в безделье...

— Хватит басни рассказывать! — рявкнул Первый. — Отвечайте на вопросы. Зачем высоченный забор, если вы занимаетесь обычным садоводством? Бойтесь, что у вас украдут яблоки? Так у всех соседей сады не меньше вашего.

— Видите ли, я занимаюсь редким видом растений, — замялся Денис. — Эти цветы требуют тщательного ухода, особой атмосферы. Если хотите, изоляции от остального мира...

— Неужели ваши цветочки вянут, как только сквозь ограду начинает просвечивать внешний мир? — съязвил Первый, а Второй и Третья с готовностью ухмыльнулись шутке шефа.

— Не совсем так, но отчасти вы правы, — не сдавался Денис. — Они теряют свою суть, свое очарование...

— Сколько у бабушки в огороде грядок перепахал, — фыркнул, не выдержав, Второй, — и никогда не встречал цветов, теряющих суть от того, что их кто-то увидел!

— И между тем так и есть, — стараясь не раздражаться, настаивал Денис. — Это потомственное занятие в нашей семье, передается по мужской линии. Традиция, секреты которой перешли мне от деда. Только его дом был в Грузии, а мне пришлось искать новое место в связи с последними событиями. Конечно, здесь не идеальный климат, но все же...

— Дело семейное, занятие потомственное, а вы живете, как таежный бирюк, в абсолютном одиночестве? — насмешливо спросил Первый. — И погрузкой и вывозом своих неведомых товаров занимаетесь исключительно по ночам? Ваш дед был вампиром, не выносящим дневного света?



— Я не знал, что сотрудники вашей службы, — устало вздохнул Денис, — увлекаются западным синематографом с его преклонением перед нечистью.

— Не дерзите, дорого выйдем! — оборвал Первый. — Тем более учитывая нежность ваших цветов. Которые вы нам, кстати, до сих пор не продемонстрировали.

— Понимаете, это не так просто, — развел руками Денис. — Вы весьма агрессивны настроены, а это недопустимо. И даже опасно.

— Ну что вы! — нарочито светским тоном возразил Первый. — Мы более чем доброжелательны. И я даже даю вам вторую возможность ответить на вопрос: почему вы производите погрузку исключительно по ночам?

— На закате, — поправил Денис. — У этих цветов сложный биоритм. Они достаточно долго бодрствуют, пока растут. А первое время после сбора урожая засыпают чуть раньше. И чтобы цветы в полной мере сохранили свои особенности, транспортировать их нужно только в то время, когда они дремлют, — на закате.

— Дремлет? Урожай? — Троица с трудом сдерживала смех; а ведь смеяться среди людей их профессии не принято. Впрочем, улыбки эти были недобрыми, и за ними последовало именно то, что и могло последовать.

Третья, молниеносными движениями ручки конспектировавшая каждое слово Дениса, дописала страницу и жестом, не допускающим промедления, передала ее на подпись Первому. Тот размахисто черкнул, и документы вновь куда-то исчезли.

Все трое резко встали, сплотились, как небольшая, но опасная стая, и приблизились к Денису.

— Вам придется пройти с нами в сад и показать, что же такое здесь выращивается.

— Хорошо, — поколебавшись, согласился Денис, как будто у него был выбор. — Я покажу. Но очень прошу вас: вспомните самый лучший ваш день, самое чудесное настроение. Иначе мы можем погубить урожай, который уже почти полностью созрел...

— Безусловно, — с иронией бросил Первый, уже направляясь к выходу из дома. — Именно этим мы и занимаемся всегда, когда осматриваем подозрительные объекты. Не правда ли, коллеги?

Второй и Третья хмыкнули, каким-то образом совместив в этой усмешке ледяную мрачность и жгучий перец сарказма.

Денис, обогнав нежеланных гостей, пошел к цветнику, даже не пытаясь что-то объяснить. Лучше показать, пусть смотрят сами. Лишь бы не погубили цветы: у них сейчас самая трепетная пора...

Все четверо миновали волнующийся сад, мирно шуршащий листвою, насыщенно зеленый, уже успевший развесить на отяжелевших ветках ароматные плоды. В глубине участка, в самом его центре, в максимальном удалении от внешнего мира, за живой тернистой оградой прятался цветник. Денис вильнул между кустами-охранниками, гости-ястребы

повторили маневр, но острые шипы кустарника успели-таки ухватить их за руки и ноги, от чего они злобно и как-то совершенно по-птичьи зашипели.

— Простите, — извинился Денис и, некстати заволновавшись, показал на небольшую поляну: — Вот, смотрите... Только, прошу вас еще раз, постарайтесь сейчас не думать дурного и не ругаться грубыми словами.

Первый, не обращая внимания на хозяйское напутствие, кивнул Второму. Тот вышел вперед и приблизился к грядкам невысоких цветов: зеленоватые, бирюзовые, розовые, красные, голубые — они росли небольшими группками, раскидывая любопытные головки во все стороны.

Третья вновь извлекла папки с документами и начала на весу записывать и зарисовывать, сканируя взглядом каждое растение. Второй тем временем бесцеремонно отломил несколько разных цветков, отчего Денис болезненно охнул, словно что-то оторвали от него самого.

Второй разглядывал растения на просвет, мял в руках, растирая и выжимая сок, нюхал, пробовал на вкус, затем подходил к Третьей и что-то диктовал ей быстро и тихо. Первый холодно следил за реакциями Дениса, подмечая каждое его движение, словно тот мог резко рвануться и, подскочив над цветами, исчезнуть в вышине. Но Денису исчезать не хотелось; напротив, он понимал, что теперь уже не избежать того, что должно произойти.

Между тем Второй изжевал все собранные цветки и стебельки, походил вдоль грядок, попутно замучив еще несколько растений, и отрицательно помотал головой. Третья молча кончиком ручки указала на грядку с мелкими лиловыми цветочками. Денис закусил губу: этот сорт и вправду был особым.

Второй оборвал несколько цветков, втянул носом лепестки, затем пожевал их и сплюнул.

— Нет, — сказал он, — ни одно из этих растений не относится к ряду запрещенных.

Гости повернулись к хозяину, их каменные, по-птичьи острые лица по-прежнему не предвещали ничего хорошего.

— Извольте наконец объяснить, чем вы занимаетесь, — сказал Первый. — И в чем особенность цветов, которые вы здесь выращиваете.

— Понимаете... — тихо, как загнанный в угол школьник, начал Денис. — Меня зовут Дионисос... О нет, не волнуйтесь, документы полностью верны! По паспорту я, действительно, Денис. Но в нашей семье так зовут всех мужчин, имя передается от деда к внуку, и каждый из нас — Дионисос. Потому что это не только имя, но и наша профессия. Мы выращиваем цветы, от которых люди потом получают радость и удовольствие.

Троица, переглянувшись, в одно мгновение окружила Дениса.

— Нет-нет, вы меня не так поняли, — улыбнулся тот. — Все дело в том, что наш род с давних пор работает с виноделами. Но если их профессия до сих пор на виду, то наша в последние столетия не так публична



и известна, потому что требует тишины. Мы выращиваем один крайне важный ингредиент для получения действительно хорошего вина.

Денис, увлекшись, немного забылся и шагнул к цветам. Ястребы тщательно отслеживали каждое его движение, но пока не преследовали.

— Вы когда-нибудь задумывались о том, почему от одного вина получается веселое дружное застолье, а от другого — драчливая неприятная попойка? Почему, когда хотят порадовать человека искренним пожеланием, говорят: «У меня созрел тост»?

Гости с непроницаемыми выражениями лиц ждали продолжения рассказа.

— Все дело в тостах, — Денис бережно сорвал один из светло-алых цветков. — Тост — это ведь не просто пожелание. Это особая атмосфера, тот посыл, который отправляет всем другим человек, поднимающий бокал. И чтобы мысли во время застолья не были злыми, вино должно содержать в себе доброту. А для этого в нем должны быть тосты, и тосты должны быть зрелыми, только тогда они будут наполнены силой.

Денис поднес сорванный цветок к лицу, коснулся тончайшими лепестками губ, носа, во всем богатстве ощутив недоступный для гостей аромат.

— Эти запахи не слышны обычным людям. Цветы раскрывают себя, только настаиваясь вместе с вином. И почувствовать итоговую композицию вина не всегда можно по сорту и оттенку цветов. Нужен специальный дар и долгое обучение, чтобы понять, какое настроение подарит в этом году урожай, как цветы будут сочетаться в вине. Нужно чувствовать, какие их сорта лучше соединить, когда они созрели...

Денис протянул цветок гостям, но те лишь подозрительно покосились на предложенное.

— Ваши друзья, конечно же, не смогли распознать, что это за цветы, — улыбнулся Денис Первому. — Ведь этих видов нет ни в одном современном ботаническом справочнике. Их семена передаются из поколения в поколение или в соседний род — если вдруг произошла потеря урожая. Цветы очень нежные, они легко впитывают все, что витает вокруг, в том числе и злость, обиду, черствость души, зависть, ненависть. Поэтому нам приходится их огораживать, беречь от случайного грубого слова и гадких мыслей. Зато когда процесс выращивания проходит по всем правилам, когда тосты полностью созрели, а композиции составлены удачно, вино получается по-настоящему добрым.

Денис прошелся между грядок.

— Вот это — *Salutem*, — указал он на розовые соцветья, — пожелание здоровья и мира. А эти желтые — *Gaudium*, для тостов о радости. *Victoria*, красные, — для тостов за успех. *Pecunia*, зеленые цветы, — для пожелания благосостояния и денег. *Vitae*, синие, — тост за долголетие...

Денис с любовью прикасался к цветам, задевая их так нежно, словно это были прекрасные юные девушки. Перечислял виды, называл тосты, вспоминал старые легенды.

— И почему же их надо вывозить только ночью? — прервал его Первый. — Ваши тосты можно произносить только в темноте?

— Я вам уже говорил, цветы очень нежные. И когда урожай созрел, сразу после сбора очень легко его потерять, если пересушить. Поэтому собирают цветы только на рассвете, потом хранят в прохладном месте до отправки, а увозят поздно вечером, когда они засыпают, а воздух мягок, в предночной прохладе. Здесь нет никакого злого умысла или магии.

— Отчего же ваша — такая чудесная — профессия неизвестна и скрыта от всего мира? — холодно, даже зло спросил Первый.

— Потому что специалистов для нее нельзя набрать просто так, из желающих. Дар редкий, ответственность большая, и, что отрицать, были века, когда Дионисосов объявляли колдунами. Казалось бы, какая ерунда — цветочки, наполняющие вино ароматом тостов! Но на самом деле плохое, злое вино приносит большие проблемы не только отдельным семьям, но и целым народам.

Денис помолчал, затем тяжело вздохнул:

— Все знают, что в иные годы праздники становятся повальными пьянками, после которых случается много бед. Вражда, ненависть, убийства, войны — как часто они начинаются с небольшого застолья! Никто не задумывается о том, что раньше не было водки и подобных напитков. Люди пили вино, дружили большими семьями, и после праздника оставалась благодать в душах и желание сделать что-нибудь хорошее для других — будь то родственники, соседи или просто случайно зашедшие гости. Настоящее вино дарит не дурман, а легкую радость. Но для этого цветы должны расти в любви и тишине. Впрочем, как и все доброе на этом свете.

Денис взглянул на цветы и повернулся к Первому — к главному. Как объяснить забытые истины людям, не доверяющим не только чужим, но и собственным родителям и детям?..

— Да, наша профессия почти неизвестна, — стараясь быть лаконичным и в то же время убедительным, сказал Денис. — Но сделайте запрос: настоящие виноделы, бренды, известные тонкостью вкуса вина и его качеством, обращаются к нам и сейчас, когда все поголовно стандартизировано и производится в промышленных масштабах. Потому что истинное вино — это не просто перебродивший виноград, это добрая сила, превращенная в легкий, чуть пьянящий напиток.

Гости смотрели на Дениса так, как и полагается смотреть на слегка сумасшедшего или притворяющегося: несет всякую чушь. Но Денис предъявил им все необходимые документы, и они, скопировав напоследок часть лицензий и разрешений, с разочарованием удалились, прихватив с собой несколько соцветий с разных кустов. Денис же вернулся к цветам и пробыл возле них до самой ночи: надо было подлечить кусты, подвергшиеся варварскому «осмотру».

Следующие дни мелькали закатами и рассветами: разноцветные тосты совсем уже созрели — только успевай собирать, комплектовать, отправлять... Год выдался удачным: не слишком жарким и без сильных





холодов, не слишком дождливым, но и без засух. Тосты тянулись ввысь и вширь, заполняли пространство маленькими и большими соцветиями. Денис радовался, как когда-то в детстве, когда с дедом и бабушкой собирал урожай в таких близких к солнцу и таких далеких от земли грузинских горах...

Ястребы вновь постучались в ворота через две недели. На этот раз пришли только Второй и Третья: видимо, главный не счел повторный визит нужным. Денис, утомленный работой, был растерян и никак не мог сосредоточиться, отвечал на вопросы невпопад. Гости, коротко проведя повторное дознание, хмуро выдали ему разрешительные бумаги.казалось, они крайне недовольны тем, что собственноручно подтверждают легальность столь странного занятия.

Между тем проверка была проведена, нарушений закона не выявлено, и незваным гостям оставалось лишь удалиться. Уже у самых ворот, на выходе из сада, Третья вдруг немного задержалась. Второй бросил на нее вопросительный взгляд.

— Те цветы на дальней грядке... с мелкими лиловыми лепестками... — Третья пристально взглянула Денису в глаза. — Можно мне взглянуть на них еще раз?

— Можно, — улыбнулся Денис. — Они вам понравились?

— У них такой странный запах... — Она задумчиво посмотрела в сторону цветника. — Его практически нет, но мне кажется, что я вспоминаю его до сих пор...

— Ждать не буду, много работы, — угрюмо буркнул Второй.

— Разберись сама! — отрезала Третья и направилась по дорожке к цветнику.

Второй пожал плечами и вышел из сада.

Денис закрыл за ним ворота на защелку и взглянул на небо. Солнце маленьким абрикосовым шариком зависло в самом центре свода: значит, времени у них сегодня еще достаточно. Вполне можно позволить себе заварить чай, чтобы затем неспешно поболтать...

Ведь с этого дня они будут работать вдвоем, а это гораздо быстрее.

## На благо семьи

— А я считаю, что мужик должен оставаться мужиком, хоть бы и в отпуске! — Серега всегда в подпитии был шумным, а сегодня коньячок разогрел его буйную головушку особенно. — Психологи всякие понапридумывали ерунды: мол, мужчина теперь не добытчик, а надо ему, видите ли, отдыхать почаще. Скоро скажут, что мужики должны ходить по салонам красоты, по всяким там релаксам и тренингам...

Присутствующие мужчины сдержанно заржали, жены придиричиво («а не выпил ли мой лишнего?») оглядели мужей. В общем-то, застолье удалось на славу: и закусточка, и водочка не подвела — мягкая, как весенняя вода с деревенской проталины. И разговоры были в самый раз, и день рождения Женьки Жмыхова, совпавший с его уходом в отпуск

(не случайно, а после длительных конфетно-пироженных уговоров кадровички), вышел веселым и пятничным. Все приглашенные — пять супружеских пар — пришли с отличным настроением и желанием посидеть «от души». Только вот Серега со своим пещерным юмором утомлял.

— Так ведь давно уже мужики и по салонам красоты ходят, — встал свое продвинутое мнение Сашок, — и маникюры делают, и пилинги. Нашел, чему удивляться!

— Ага, и штанишки в облипочку надевают... Скоро юбки носить станут, — Серега потрянул головой, предварительно залив стопку в большую, как ковш экскаватора, пасть и закинув туда же соленый огурчик. — А по мне, мужик в любое время мужик. И работник.

Серега наставительно поднял указательный палец, выдержал паузу и требовательно ткнул в сторону жены:

— Надюха, скажи!

— Молодец, молодец, — снисходительно, но в то же время с плохо скрываемой гордостью улыбнулась Надежда. — Весь отпуск батрачил, в итоге к отпускным еще солидную сумму добавил.

— И теперь у Надюхи кольцо с бриллиантом, а у меня телевизор во всю стену! — победно выдал Серега, подмигнув. — Ну и продолжение фильмов, как телек выключишь, тоже ничо...

Последняя фраза была сказана франтовато, пониженным голосом — специально для мужиков, чтобы те поняли и оценили, какие фильмы продолжают после семейного отбоя.

Надежда, зарумянившись, застенчиво прикрыла рукой лицо, сверкнув солидного размера бриллиантом, отсвечивающим полированными гранями под люстрой. Жены завистливо сверкнули глазами. Тамара, жена Жмыхова, полоснула родимого взглядом-кинжалом, и если бы психологические раны были видимыми, то Женькина кровь залила бы весь стол. Впрочем, разговор быстро перешел на более безопасную тему, и нечаянный укол беспардонного Сереги через несколько минут всеми был забыт.

Всеми, но не Женькой. Проводив под ночь гостей, Жмыхов, ни за что окрысившись на жену, попросившую помочь с мытьем посуды, демонстративно завалился спать. Отвернувшись в темноту, игнорируя сонное моргание часов, Женька почти до самого рассвета насупленно обдумывал обидные ответы Сереге, проколовшему шпагой хвастовства самолюбие отпускника и по совместительству именинника. Но как ни старался, ничего, что могло бы серьезно задеть крутолобого Серого, не избрал.

Проснулся Жмыхов поздно, с оглушенной водочным дурманом головой и чугунными мыслями о дополнительном заработке. Тамарка давно ушла на работу, и, пользуясь привилегиями первого отпускного дня, Женька привыковыривал мясо из рагу, прямо из кастрюли. Затем повалялся на кровати, попялился в телек, вздремнул, проясняя окончательно трезвеющее сознание. Несмотря на столь насыщенный график, до вечера оставалось еще прилично времени. Женька, решительно шмыгнув носом, взял со стола ноутбук и окунулся в раздел городских вакансий. Озерцо предложений оказалось настолько мелковатым, что уже через полчаса



стало ясно: чего-то похожего на деньги обычным трудом не заработаешь. Пришлось углубиться в Интернет в поисках более продвинутых способов обогащения...

Тамара, придя домой, обнаружила мужа сидящим впотьмах с ноутбуком: синеватый отсвет монитора придавал его лицу благоговейную отрешенность.

— Майнинг, — отстраненно и в то же время восторженно произнес Евгений.

— Мани? — не поняла его жена. — Английский, что ли, учить вздумал? Думаешь, тебе денег больше будут платить?

— Майнинг делает мани! — торжественно объявил Жмыхов и с одухотворенным выражением лица продолжил созерцать что-то на мониторе.

Тамара хотела было уточнить, о чем говорит муж, но голод одержал безоговорочную победу. Устало махнув рукой, она удалилась на кухню, где, кстати, помимо обычного беспорядка, обнаружила почти вылизанную кастрюлю и огрызки бесстыже обкусанных соленых огурчиков. Пришлось самой себе готовить ужин, рассчитывая и на завтрашнюю семейную трапезу тоже.

На следующий вечер Тамара обнаружила супруга за письменным столом перед большим, сияющим пластиковой первозданностью компьютером. Монитор самодовольно серебрился, поблескивая свысока, рядом с ним монотонной мухой жужжал системный блок с прозрачными стенками; зелено-красная его подсветка напоминала новогоднюю елочную гирлянду, которую забыли выключить после праздника. Возле стола на полу расположилась странного вида конструкция, напоминающая разобранный на части еще один системный блок: металлический каркас, на котором были закреплены и соединены проводами какие-то пластмассовые коробочки — похоже, детали от другого компьютера. Коробочки побольше гудели и крутили почти невидимые пропеллеры, другие коробочки оставались неподвижны, подавая признаки жизни единственным сигналом — маленьким светодиодом.

— Это чего такое? — возмущенно поинтересовалась жена. — А ноутбук куда дел, паршивец? Только признайся, что продал!

— Не продал, а вложил в будущий доход, — не удостоив жену даже взглядом, отрезал Жмыхов.

— Женька... — предупреждающе протянула Тамара. — Если ты мне сейчас скажешь, что истратил отпускные... Я тебе... я тебе... До следующего года будешь сидеть у меня на кашах, без всяких разносолов и мяса!

— На следующий год будем питаться вырезкой и балыком, — снисходительно бросил через плечо муж.

И перестал обращать внимание на ворчащую фигуру в халате.

Через две недели гостиную семейства Жмыховых наполняло гудение в несколько тонов и мельтешение разноцветных огоньков на компьютере, вызывающе дергающихся и злящих Тамару: Жмыхов, в дополнение к истраченным отпускным, взял кредит и накупил каких-то совершенно



непонятных для жены компьютерных скелетов. Остовы с закрепленными материнскими платами и насаженными на них видеокартами (то, что Тамара воспринимала как коробочки с лампочками) были подключены к основному системному блоку, гудели, крутили вентиляторы и круглосуточно издавали какой-то шуршащий звук. Из путанных объяснений мужа Тамаре с трудом удалось вычленить что-то о модных и перспективных криптовалютах, существующих лишь по ту сторону экрана и волшебным образом растущих на интернет-дрожжах. Невидимые крипторастения, между прочим, питались при этом не бесплатным космическим сиянием, а более чем осязаемой и земной денежной энергией.

— Саранча! — как-то в сердцах обозвала Тамара мужнину суперсистему, намекая на постоянные денежные расходы.

— Деньги гудят, — грозно нахмурил брови Женька. — Будущий доход нам выращивают.

Тамара, раздраженная и выведенная из себя новшествами, держалась только одним: отпуск мужа подходил к концу. И это помогало ей успокоиться, охладить накалившуюся до предела обстановку в квартире.

Жмыхов же был сосредоточен и небрит. Изучение оккультных наук зарабатывания на псевдоденьгах, существующих лишь в недрах Интернета, так его увлекло, что он напрочь забыл о пустяках вроде принятия душа и бритья, ворующих время у новоявленного финансового гения. Постигание колебаний курса виртуальных денежных средств требовало недюжинных математических знаний, отслеживания мировых новостей и трендов. Женька погрузился во всевозможные расчеты, новостные ленты и прочие финансовые иероглифы. Ночь сменяла день, за которым, как туча, набегал вечер, но Жмыхов не сдавался.

Не сдавалась и Тамара, уже погладившая брюки и рубашку одичавшему супругу.

В день выхода на работу Евгений объявил растерявшейся жене, что он уходит в мир денег. Ушел он, правда, не весь; физическая его часть осталась, не переставая потреблять во вселенских масштабах продукты питания и попутно скормливать чудищу из проводочков и коробочек мегаватты электроэнергии. Заплаканная Тамара обошла всех подруг, те посочувствовали и посоветовали крепиться. Никак кризис среднего возраста, побесится мужик — и пройдет. Зато всегда на глазах, не где-то там с чернокудрой шалавой. Жмыхова вытерла глаза и подумала, что и правда, так или иначе, а все же дома и трезвый. А что с головушкой не совсем лады... Так кого сейчас таким отклонением в мужике за сорок удивишь?

Тамара максимально урезала семейные расходы, с болью женского сердца выдрал из перечня трат маникюры-педикюры и прически. Перестала покупать полуфабрикаты: Жмыхов, механически пережевывая пищу, с некоторых пор не особо замечал, что лежит в тарелке. Постепенно быт перестроился на новый лад, и супруг даже научился мычать в такт вопросам кормилицы-жены, чтобы сохранять видимость общения. И хотя общество внезапно и практически начисто лишилось пусть и не самого активного, но все же добропорядочного гражданина, соседи

и друзья не покинули Жмыховых и периодически заходили в гости, перебрасываясь короткими фразами с Женькиной спиной.

Месяцев через пять ранним, еще не созревшим до конца утром один из компьютерных остовов, горестно повыв напоследок и даже слегка подымив, приказал долго жить. Его собратья лишь покосились на мертвеца, продолжая гореть адским алым пламенем индикаторов. Жмыхов вскрикнул, подпрыгнув над продавленным стулом, рванул на себе всклокоченные отросшие волосы и ринулся из комнаты. Тамара, с тревогой наблюдавшая за мужем, с облегчением вздохнула, когда увидела, что тот заскочил в ванную, затем в спальню, выбежал одетым и куда-то ушел. Она спокойно попила чай, подумала о том, что можно снова вместе ездить на дачу, и с удовольствием — впервые за последнее время — отправилась на работу.

Домой Тамара шла с легкой тревогой, и в то же время сердце было наполнено добрым ожиданием: наконец-то, наконец-то разум к Женьке вернулся! Конечно, с долгами разбираться теперь придется долго, да и ладно. Помаленьку выплывем из этой ямы. Она вошла в квартиру, и на минуту ей стало страшно: так тих, так смертоносно и странно безмолвен был их дом. Когда оцепенение отпустило, Тамара поняла: нет компьютерного гудения, этот вечно урчащий от голода ненасытный потусторонний голос исчез. Она тревожно сделала шаг, еще шаг... Женька, непривычно спокойный, молча ходил по комнатам и ковырялся в шкафах. По-прежнему нечесанный, но все же одетый как человек, он изучал содержимое мебели, словно попал в давно забытый мир.

Тамара смотрела на него, расплывчатого сквозь слезы радости, с умилением, как на только что родившегося ребенка. Потом тихо вышла из квартиры и побежала в магазин. Обошла, торопясь, ближайшие супермаркеты, накупила разной вкуснятины, расплатившись кредитной картой, — какие мелочи, потом разберемся! И, не торопясь, зашагала домой, растягивая предвкушение предстоящего вечера, переваливаясь под тяжестью сумок, как утка. Жмыхова шла и улыбалась, мечтая о будущей жизни, идентичной той, прежней, где муж был подвержен распитию спиртного в дружеских гаражных посиделках, после чего горяч и частенько не прочь поспорить по поводу и без повода, но так привычно мил и по-человечески понятен. Думалось ей и о бессонных ночах — как раньше, с дружным шебуршанием под одеялом, таким приятным и совсем исчезнувшим после появления в доме пластикового демона...

Ключ застрял в замке, проворачиваясь наполовину, как будто изнутри было заперто на «собачку». Тамара поковыряла пару минут и нажала на звонок. Дверь открыла моднявая блондинка в спортивном костюме, сияющем блестками, раскиданными по обтянутому телу.

— Вы кто? — высокомерно поинтересовалась блондинка у Тамары, неспособной в изумленной немоте сказать и слова. — Хотели-то что?

— Я?! — наконец прорезался у Жмыховой голос. — Это вы кто? Я здесь живу!



— А-а-а, — вдруг потеряв интерес, ответила блондинка и ушла куда-то в сторону кухни.

Тамара разъяренной самкой коршуна, у которой распотрошили гнездо, кинулась следом.

— Женщина! — крикнула она. — Вы на каком основании здесь расхаживаете?

— На основании договора купли-продажи, — высокомерно сморщила носик блондинка, презрительно оглядев просевшую с годами фигуру собеседницы.

— Какого еще такого договора? — оторопела Тамара. — Я с вами ни о чем не договаривалась, так что давайте вываливайтесь отсюда.

Блондиночка фыркнула и, вильнув бедрами, беспардонно шагнула в нутро спальни.

— Женька! — взвизгнула Тамара. — Ты где?

Жмыхов как ни в чем бывало выполз из кухни и попробовал с независимым выражением лица пробраться в гостиную, но жена бросковым маневром преградила ему путь и заслонила вход высокой, когда-то столь любимой Женькой грудью.

— Это что еще за стерва белобрысая? — взвилась она взбешенной коброй. — Ты зачем эту дрянь сюда притащил?

— Тамара, будь любезна, выслушай меня, — не к месту высокопарно начал Женька. — Ты напрасно пускаешься в оскорбления, ругая человека, имеющего полное право передвигаться по собственной территории...

Супруга от злости покраснела, но сдержалась.

— Я мужчина и должен брать ответственность за все действия на себя. Чтобы наш семейный корабль шел в сторону благополучия и благоденствия...

— Это ты-то?! — взорвалась Тамара. — Ты вдруг о благоденствии заговорил? Заботник... Да я на себе тащу все: и кредиты на компьютеры твои поганые оплачиваю, и электричество как за весь город, а ты...

— А я принял решение! — вскинул голову Женька. — И сделал шаг, который приведет нас в обитель реальной состоятельности...

Выспренная речь супруга вывела Тамару из себя. Она сорвала со стены тканевое панно, когда-то собственноручно вышитое, и огрела мужа по спине разноцветьем шелковых крестиков.

— Решение? Ты принял решение? — приговаривала Жмыхова, охаживая благоверного пропылившейся за годы тряпичной картиной. — Это что же ты такое сделал, упырь недобитый?

— Квартиру продал! — прикрываясь руками, крикнул Женька.

— Ква... — от неожиданности по-лягушачьи икнула Тамара. — Что ты продал? Квартиру?..

В голове ее все разом помутнело, а затем всплыло воспоминание о том, что незадолго до свадьбы внезапным подарком судьбы свалилась на них завещанная дальней Женькиной теткой трешка. Переоформлять так и не собрались — незачем было...



— И что ж ты теперь думаешь делать? — осевшим голосом поинтересовалась Тамара.

— К маме твоей пока переберемся, — беспечно, как о само собой разумеющемся, сказал Женька. — Чтобы толк был, надо серьезные суммы крутить. А как деньги прокрутятся, получим прибыль солидную, купим в два раза лучше...

— Лучше? В два раза?! — Тамара вмиг озверела. — А не много ли ты на себя берешь, придурок малахольный? На кой ты мне сдался, прыщ транжиристый?

— Тамара... — попытался было встрять Женька.

Но жену было уже не остановить. Она металась по квартире, сбрасывая в коробки и чемоданы свои вещи.

— Да сколько я тебя, отщепенца, терпела! Кормила, поила, все думала — толк будет! А ты что? Козел недоенный, только жрать да трахать! Провались ты сквозь землю до самой Америки, видеть тебя больше не могу! И не думай, к маме моей не пущу!

— Тамарочка, это же временно, — ошарашенно втолковывал Женька, волочась за супругой из комнаты в комнату. — Я все рассчитал. Еще немного, полгода максимум, и цены так рванут...

— Полгодика? — Жмыхова с ненавистью посмотрела на мужа. — Чтобы я тебя еще хоть день кормила, нечисть криптовалютную... Хоть с моста кидайся, оглоед компьютерный!

Не обращая внимания на подвывания мужа, она вызвала такси. Женька попытался отобрать телефон, но запнулся о чемодан, предательски кинувшийся бывшему хозяину под ноги, и упустил инициативу. Жена в момент стаскала коробки, чемоданы и сумки к распахнутой настежь двери, начала выкидывать вещи поближе к лифту.

— Да куда ж я пойду-то?! — с отчаянием в голосе крикнул Женька.

И голос его, унесенный сквозняком в подъезд, жалобно заскакал, как выброшенный мячик, по этажам.

— Хоть к чертовой бабушке! — прошипела жена.

— Вас никто не гонит, — раздалось откуда-то сзади.

Женька обернулся. В дверях спальни, расслабленно облокотившись на дверной косяк, стояла блондиночка с уже распущенными волосами.

— Площадь позволяет, — низковатый, пахнувший чем-то терпким и ночным, ее голос обволакивал, словно пушистый плед. — У вас же все ваше в гостиной, так и располагайтесь.

И, томно улыбнувшись, блондиночка растворилась в сумеречном воздухе где-то возле спальни.

Жмыхов завороженно посмотрел ей вслед, затем растерянно покосился в сторону гостиной. В глубине комнаты, рядом с полуразобраным компьютерным столом, стояли коробки с техникой. Одна из коробок треснула от впихнутых наспех «железок», и сквозь образовавшуюся щель блекло отсвечивала материнская плата.

«Надо бы поправить», — автоматически подумал Женька и шагнул в компьютерную полутьму.

## «ЩЕКОЧЕТ ГОРЛО МОТЫЛЕК...»

Александра МАЛЫГИНА

*Барнаул*

\* \* \*

Когда во мне утихнет боль и серым зайчиком ускачет,  
Я вдруг заплачу, как никто, нигде и никогда не плачет...  
Пусть будет небо сентября смотреть поверх меня с упреком,  
Пусть будет листьям, как и мне, невыносимо одиноко.  
Но будет мне желаться вновь щеками лечь в твои ладони  
И улыбаться, а потом наутро ничего не помнить.

\* \* \*

Я тебя отпустила, а ты не рад.  
Укоряюще смотришь, взывая к совести...  
Все твердишь, что свобода — обман и яд,  
Что финала не может быть в нашей повести.  
А я молча смотрю на летящий снег,  
Вспоминаю начало сюжетной линии,  
Понимая, что не было нас и нет,  
А сомнениям нет ни числа, ни имени...  
И так ясно, и грустно, и холодок  
Пробегает. И наше совместное вечное,  
Будто снежный растаявший городок,  
Неслучайные топчут ногами встречные.

\* \* \*

Мне бы бежать от тебя без оглядки,  
Ртом одичало хватая воздух,  
Так, чтоб исчезнуть, и взятки гладки,  
Только, мне кажется, слишком поздно.  
С пальца июнь соскользнет колечком,  
Ласточка небо разрежет на два...  
Можешь ломать, убивать, калечить,  
Только прощаться со мной не надо.

\* \* \*

Щекочет горло мотылек  
Еще не сказанного слова...  
А ты сказал мне все, что мог,  
Но облегченья никакого.  
Я сломана — не починить.  
Хоть плачь, хоть режь — твоя работа.  
Но память не перехитрить —  
Пускай живет, пускай хоть что-то...  
Стою, поддавая слегка,  
Горжусь отыгранною ролью...  
И отпускаю мотылька  
На волю.

**Евгений ЕГОФАРОВ**

*Санкт-Петербург*

\* \* \*

а у месяца полет  
тонкий-звонкий, будто лед,  
и хрустальные рога  
ходят сами без копыт,  
он выходит на луга,  
ветром травы серебрит.

он качается в воде,  
в паутине и гнезде.  
свет повсюду и везде:  
светел дым и самый черт.  
муравейником подперт,  
ствол сухой скрипит во сне,  
дремлет филин на сосне.

\* \* \*

скачи ко мне,  
мой солнечный заяц.  
смотри,  
в траве небо играетя.

на шее твоей  
на черной уздечке  
звенит колокольчик  
в форме сердечка.

прыгай в ладони,  
давай, мой пушистый,  
в скошенный полдень,  
июньский, душистый.

лапы до неба,  
синего стога,  
где виноград  
и фрукты из рога,  
дождь земляничный,  
солнце в лукошке,  
отряд пограничный,  
и — страшно немножко.

\* \* \*

вздоха ветреного алчет,  
дрожи зелени земной  
оборотень-одуванчик,  
бывший солнцем и луной,  
чтобы стать горою лысой  
выше всякого цветка,  
выше даже самой мысли

и печатного листка,  
 чтоб стоять без лепестков  
 князем утренней жары  
 в плясках кованных жуков  
 и визгливой мошкары,  
 чтобы я с земною дрожью  
 поклонился в шум травы  
 его хрупкому подножью,  
 не ломая головы.

## Ольга КАЗАКОВЦЕВА

*Барнаул*

\* \* \*

Вот я хожу — рукою на живот.  
 Там, в темноте, ребенок мой живет.  
 Он иногда оттуда: тук-тук-тук!  
 Как будто скажет: «Мама, тут я, тут».  
 Как будто спросит: «Мама, где же ты?»  
 Ах, мой малыш боится темноты!  
 И потому на это «тук-тук-тук»  
 я говорю спокойно: «Тут я, тут».

## Обида

Никто на прощанье не плакал,  
 никто на прощанье не пел,  
 обиды холодную лапу  
 никто подавать не хотел.  
 Все было простым и обычным,  
 как будто прощались на час,  
 как будто бы стали привычны  
 разлуки и встречи для нас.  
 Никто не пытался обидеть,  
 вернуться никто не просил,  
 и слезы мешали увидеть  
 зеленый фонарик такси.

## Ледышка

Когда уезжала,  
деревья стояли грустные.  
Рукой помахала —  
они оставались прежними.  
И вдруг под ногою  
ледышка чуть слышно хрустнула,  
и мне показались  
чужие объятья нежными.

Когда я вернулась,  
никто не назвал по имени,  
никто не пришел  
к самолету с цветами ранними,  
и только записка  
из фразы одной — «Прости меня» —  
торчала в двери  
незнакомую птицей раненой.

## С Новым годом

Взглядом улицу окину:  
елки светятся во тьме.  
Я сегодня опрокину  
представление обо мне.  
Горе старое забуду,  
слух пущу, что мне везет,  
*и плясать сегодня буду* —  
Новый год так Новый год!

А ворона на заборе:  
— С Новым годом, с новым горем!

Обману веселым смехом  
всех, кто знал меня другой,  
всех, кто видел, как уехал  
от меня мой дорогой.  
Я гостей радушно встречу,  
с сожаленьем провожу,  
а потом задую свечи  
и сама себе скажу,  
с мудрой птицею не споря:  
— С Новым годом, с новым горем...



## *Гражданская война в Сибири*

**Морис ЖАНЕН**

### **ОТРЫВКИ ИЗ МОЕГО СИБИРСКОГО ДНЕВНИКА**

*Перевод с французского Н. Изонги*

*Морис Жанен (1862—1946) — французский военный деятель и дипломат. Родился в Лотарингии в семье военного врача. Окончил академию Генштаба Франции. Дивизионный генерал. С января 1919 г. — главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. Занимал резко враждебную позицию по отношению к А. В. Колчаку и белому движению в целом, в декабре 1919 г. поддержал восстание против колчаковского правительства в Иркутске. Санкционировал выдачу Колчака эсеровскому Политцентру.*

#### **От редакции**

Дневник генерала Жанена, который в период интервенции в Сибири стоял во главе французской миссии и во главе командования союзными войсками, несомненно представляет большой интерес.

Отдельные записи дневника проливают некоторый свет на кое-какие истинные намерения интервентов, особенно англичан и американцев. Дневник, кроме того, сообщает некоторые малоизвестные факты и затем подтверждает некоторые такие факты, о которых до сей поры приходилось только догадываться. В этом отношении несомненную ценность представляет, например, категорическое и неопровержимое утверждение Жанена, что в деле свержения Директории и возведения Колчака на диктаторский трон англичане принимали активное и даже руководящее участие, а это до сей поры английской дипломатией упорно отрицается. Много других ценных утверждений, а равно метких характеристик рассеяны в дневнике Жанена. Однако, читая этот дневник, ни на минуту нельзя упускать из вида, что он написан человеком обозленным, человеком, самолюбие которого было уязвлено тем фактом, что, несмотря на все старания, ему никак не удалось стать во главе и играть первую скрипку в концерте союзных интервентов. Жанен, однако, берет реванш тем, что значительную долю ответственности за неудачный исход колчаковской авантюры взваливает на плечи англичан, в частности на плечи Нокса. Сам же Жанен «умывает руки». Нам нечего брать под защиту Нокса. Можем только сказать, что Жанен и Нокс друг друга стоят.

---

Публикуется по: «Сибирские огни», 1927, № 4. Орфография и пунктуация большей частью сохранены.

Сожалеть приходится только о том, что мы лишены сейчас возможности привести дневник полностью, так как до сих пор Жанен опубликовал только отрывки из своего дневника. Эти отрывки напечатаны в издающемся в Париже французском журнале «Le monde Slove» («Славянский Мир»), в №№ 12 (декабрь) 1924 г., 3 (март) и 4 (апрель) 1925 г. Жанен, понятно, всячески старается внушить читателю, что записи этих отрывков сделаны чуть ли не с эпической беспристрастностью летописца. Нетрудно, однако, подметить, что некоторые из них подверглись позднейшей редакционной обработке. Иначе бы выглядели многие записи, если бы, несмотря на царившую в Колчаковии мерзость запустения, счастье улыбнулось Колчаку и ему удалось бы совершить торжественный въезд в Москву. Иначе бы выглядели эти записи даже в том случае, если бы в этом торжественном въезде Жанен участия не принимал, как того требовали русские колчаковцы в те дни, когда им казалось, что до Москвы рукой достать.

Не вдаваясь в детальный разбор публикуемых отрывков, считаем необходимым только заметить, что напрасны все попытки Жанена совершенно обелить чехо-словацкую армию, которая находилась в его прямом подчинении. Кто был тогда в Сибири, кто мало-мальски знаком с интервенцией хотя бы только по литературе, тот знает, что чехо-словацкое войско было далеко не столь доблестно и благородно, как это сейчас старается изобразить Жанен. Ни единым словом Жанен не упоминает о тех порках, расстрелах, насилиях, и, наконец, издевательствах, которые чинились «доблестными» чехо-словаками даже над мирным населением. Ни единым словом Жанен не упоминает о тех грабежах, которые «бескорыстные» чехи обычно совершали с откровенной наглостью, а порой в тиши, в тайне при явном попустительстве и даже с благословения их «благородного» шефа. В этом отношении характерен факт, который Будберг, одно время управлявший Колчаковским военным министерством, приводит в своем дневнике.

«Случай на почте, — рассказывает Будберг, — дал мне возможность познакомиться с какой-то таинственной бухгалтерией между чехами и Жаненом; ко мне попал конверт, шедший от какой-то чешской комиссии к Жанену с тре-



Приезд генерала Жанена в Новониколаевск, 1919 г. Собрание С. А. Савченко (Новосибирск)



бовательной ведомостью текущих ассигнований. Дежурный офицер вскрыл конверт и положил мне в очередную почту. Я наткнулся на эту бумагу, удивился, почему она ко мне попала, но, пробегая ради любопытства ведомость, узрел, что, вслед за разными рубриками на разные виды довольствия, указывается к зачету круглая сумма в девять миллионов франков «за спасение для русского народа Каслинского завода». Выходит, что чехи не только награбили у нас сотни вагонов нашего имущества и разбогатели на нашем несчастье, но и ставят на какой-то таинственный счет разные «спасения», связанные с их вооруженным выступлением против большевиков. Отправил эти ведомости по назначению; штаб Жанена поднял целую бурю, требуя сурового наказания начальника полевой почтовой конторы, очевидно, эта бухгалтерия составляет пока секрет ходких на разные приобретения чехов и их покладливого шефа и не подлежит оглашению до тех пор, пока не будет предъявлен при надлежащей обстановке общий счет за чешские услуги».

Об этой таинственной бухгалтерии, которая, правда, напрасно велась чехами, ибо в конце концов они не имели кому предъявить требования за свои «услуги», Жанен «благородно» умалчивает, а между тем эта бухгалтерия пролила бы истинный свет на те «услуги», которые чехи оказали Сибири своими хищническими инстинктами и грабительскими поползновениями. В заключение заметим, что в слишком благородном свете рисует Жанен самого себя и особенно свою деятельность в «последние дни колчаковщины». Истинные мотивы своего поведения в эти дни Жанен старательно затуманивает... Впрочем, перед нами пока что только отрывки. Обождем же со своим окончательным суждением о дневнике до того времени, когда Жанен решится опубликовать его полностью.

## М. Массарик

*12 сентября 1918 г.* М. Массарик занимает (в Вашингтоне) квартиру в огромном отеле, недалеко от французского посольства. Из окон — прекрасный вид на город. Две или три комнаты заняты под канцелярию для секретарей. Кабинет меблирован скромно: много книг и брошюр.

Вначале мы долго беседуем о том, что произошло в России с тех пор, как мы виделись в Могилеве. Он рассказывает мне о чехо-словацких войсках в России, говорит, что главное командование добросовестно занялось их формированием лишь после назначения генерала Духонина. Все его предшественники (Духонин представил доказательства) разрешали это на словах, но запрещали втайне. Я отвечаю, что прекрасно знал о существовании на высших и низших постах людей, которые методически чинили препятствия. В главном штабе, например, было потрачено полтора года на составление для этих войск полевого устава. Мне пришлось даже протестовать против намерения коменданта концентрационного лагеря наказать чехов за то, что они праздновали тезоименитство Франца-Иосифа. В министерстве иностранных дел шла серия интриг под руководством М. Прикорского, известного австрофила и мадьярофила и пр. и пр. На Керенского, наконец, в этом отношении можно было положиться не более, чем на других. Во всяком случае, меня удивляло, что даже такой честный человек, как Алексеев, и тот действовал исподтишка, равно как и Гурко, у которого это было не в характере и который энергично поддерживал Стефаника.

Он рассказывает мне, что пришлось ему переживать в Киеве в те дни, когда город подвергнулся бомбардировке, он рассказывает, как улицы, по которым ему



приходилось проходить, обстреливались из пулеметов, при чем он не знал двигаться ли вперед или вернуться обратно. Все это рассказывается очень просто.

С той же простотой рассказывает он и о днях, прожитых в одном, подвергнутом бомбардировке, московском отеле, откуда его и несколько других лиц посылали в качестве парламентариев.

Он переходит затем к своему проекту провезти чехо-словацкую армию через Сибирь и упоминает о строгом нейтралитете, которого он предписал придерживаться в гражданской войне в России. Нейтралитет считает он необходимым и в настоящее время. Я спрашиваю его, предполагал ли он, что ему действительно удастся выполнить этот проект. Мы в Париже думали, что большевики, как агенты немцев, не пропустят на западный фронт подкрепление, имеющее столь важное значение с любой точки зрения. Он отвечает, что также не рассчитывал довести свой проект до конца без помехи.

Перед уходом с Украины, в конце 1917 года, чехо-словакам предложили перебраться в Румынию. Стефаник, Бенеш и я, возвращавшиеся из России, сочли это чрезвычайно опасным. Протестовать перед парижскими инстанциями мы, однако, не решились. Однако, после измены русских, Румыния оказывалась совершенно неспособной к длительному сопротивлению, и если бы чехо-словацкая армия попала в тупик, судьба ее участников была бы ужасна. Это сейчас же пришло мне в голову, говорит Массарик, и поэтому-то я отказался выполнить это категорическое требование. От имени генерала Алексеева потребовали затем, чтобы чехо-словаки отошли на территорию Дона. Массарик отказался и это требование выполнить, так как ничем не желал содействовать реставрации царизма, а, с другой стороны, боялся, что чехо-словакам будет отрезана всякая возможность отступления. Согласившись, что эти опасения были вполне справедливы, я ответил, что мне не верится, чтобы эти предложения действительно исходили лично от Алексеева.

Наконец, мы беседуем об армии, перебрасываемся только немногими словами, так как для этих разговоров у нас будет больше свободного времени в Нью-Йорке, куда он собирается через два или три дня... Он указывает на тяжелое положение, в котором чехо-словацкая армия находится после всех тревожений, вызванных усталостью и обстановкой. Вопрос о проверке чинов очень затруднителен: он говорил по этому поводу со Стефаником, большим ригористом в этом отношении. Я отвечаю ему, что к разрешению этого вопроса нужно подходить с большой осторожностью, так как по всей вероятности чины эти не присвоены незаконным образом. Важно, чтобы армия была довольна и чтобы не было злоупотреблений.

Не помню, при каком именно случае Массарик заметил мне, что Стефаник и я могли бы там сделать «больше дела». Он желал бы, чтобы мы выехали возможно скорее, дабы ввести там порядок.

## Президент Вильсон

*18 сентября.* Я иду завтракать к Жюссерону, чтобы затем вместе с ним отправиться к президенту Вильсону. Посол хвалится приемом, который оказывается ему в Соединенных Штатах. Я даю подробные ответы на все его многочисленные вопросы. Жюссерон — культурный человек, беседа с ним очаровательна.

Мы прибыли в Белый Дом в два часа без пяти минут. Жюссерон очень торопился, так как президент Вильсон в отношении приемов точен, «как астро-



номические часы». Нам действительно пришлось ждать только несколько минут. Мы вошли в зал, где, по словам посла, обычно дежурил офицер. Прошли несколько салонов, поражающих отсутствием каких-либо истинно художественных украшений; на стенах только портреты.

Президент одет с большой тщательностью. На глазах лорнет, веки глаз образуют широкую складку. Манера президента — говорить спокойным голосом, медленно и степенно. Это было мне на руку, так как я имел возможность в точности следить за беседой. Свои впечатления я впоследствии проверил при помощи посланника. В беседе я принимал участие только единичными словами или даже знаками.

Жюссерон представил меня и объяснил мои функции, роль, которую играю у чехо-словаков. Ответы вежливы и банальны. Посланник изложил в нескольких словах желание французского правительства подкрепить войска, которые находятся около Мурманска и Архангельска. Английский генерал, командующий там, просил пятнадцать батальонов. Французы посылают четыре и желали бы, чтобы столько же было послано президентом. Он отвечает соображениями чисто отрицательного характера и заявляет под конец, что это «глупая» операция, что вслед за четырьмя батальонами потребуется еще четыре и так далее. Он не хочет быть в нее втянутым. Главным фронтом он считает французский, все остальное — простое разбрасывание сил. Посланник настаивает, ссылаясь на мнение Версальского Совета. Президент отвечает, что именно Совет высказался отрицательно. Спор о дате. Президент утверждает, что как раз последнее уведомление отрицательно. Посланник ссылается на заявления Бакера и маршала Фоша. Президент говорит, что БAKER телеграфировал ему как раз противоположное и что маршал Фош требует подкрепления только для французского фронта. Словом, президент категорически отказывается.

Тогда посланник снова заводит разговор о чехо-словаках и указывает на необходимость подкрепить их на Волжском фронте и попутно упоминает о пользе, которую принесло бы подкрепление американскими войсками.

Президент отвечает, что если нельзя удержаться на Волге, то лучше отступить, чем цепляться за пункты, где нельзя получить помощи. Он говорит по этому поводу о Восточной Сибири и пр. Посланник указывает, как дурно отзовется такое отступление на самих русских и чехах, тем более, что, начав отступление, трудно будет остановить его по желанию. Посланник настаивает на необходимости оказать помощь чехо-словакам оккупированием Западной Сибири, дабы обезопасить их с тыла. Президент все еще относится отрицательно к вопросу о помощи со стороны американцев, но, как мне кажется, менее решительно, чем в вопросе о помощи на Мурманске. Посланник говорит затем об японцах, о возможности их использования. Президент высказывается с осторожностью. Он подчеркивает разногласия, которые имеют место как в правительстве, так и в военно-японской партии, и добавляет, что намерения японцев неизвестны. Отвечая на один из вопросов посланника, он, во всяком случае, вполне определенно высказал ту мысль, что, не желая выступать, не будет, однако, мешать выступать другим. Что касается Сибири, то, по его словам, он не прочь оказать этой стране экономическую помощь в широких размерах.

Мы вышли после сорокаминутного заседания. По-видимому, это много. Посланник ведет меня затем к генералу Маршу... Он подтверждает все, что говорил президент относительно мнений Бакера и Версальского Совета. Посланник, по-видимому, становится все более недоволен своей неосведомленностью.





## Адмирал Колчак

14—17 декабря (в Омске). Видел министров. Много их. Наличие младших статс-секретарей увеличивает их численность. Президент совета министров — некто Вологодский, с трясущимся и заросшим бородой лицом, но в общем довольно любезный, как и Устругов, министр путей сообщения. Министр иностранных дел — Ключников, бывший профессор университета. Единственно, чем он поразил меня, так это красными руками, вылезавшими из слишком коротких рукавов. Военный министр — генерал Сурин, бывший профессор военной академии. Он слышет администратором, стаж капитана прошел во Франции. Министр финансов — молодой человек по имени Михайлов. Как мне уже успели сообщить, он — центр группы, энергично интригующей против адмирала в целях реставрации монархии. Эта группа уже выявила себя различными убийствами, например, убийством сибирского министра Новоселова. Любопытная вещь перманентность министров: они работали с директорией и работают с адмиралом, который опрокинул директорию.

В военной среде происходит не меньшая грызня, чем в гражданской. Честьлюбцы возбуждаются перспективами повышения и горят желанием помешать своим сослуживцам воспользоваться этими же перспективами. Обвинения в шпионаже, большевизме и пр. очень часты... Начальник главного штаба — генерал Лебедев, который еще в 1916—1917 году был капитаном в ставке, в Могилеве. Мы не предполагали тогда, что он когда-либо будет назначен на такой ответственный пост.

Реньо, которого мы часто видели, все более и более производит на меня впечатление очень честного человека. Он, как и окружающие его лица, за исключением Пешкова, не знает русского языка, что ставит его в крайне затруднительное положение, тем более, что честные люди встречаются здесь до того редко, что приходится удивляться даже и мне, человеку много видевшему. У Реньо встретил Сукина, с которым познакомился еще в Вашингтоне. Сукин занимает у адмирала Колчака пост министра иностранных дел. Достаточно было обменяться с ним несколькими словами, чтобы я убедился, насколько верна данная мне информация о том сильном возбуждении, которое вызвала в сферах радиотелеграмма, посланная Ноксу и мне\*.

...Адмирал был серьезно болен и мы — Реньо и я — могли посетить его только 15 декабря. Первая встреча прошла бурно, хотя с нашей стороны была, разумеется, соблюдена учтивость. Он постарел. Я нахожу, что он очень сильно изменился с того дня 1916 года, когда в ставке адмирал Русин подвел его в моем присутствии к императорскому столу в связи с его назначением на пост командующего Черноморской эскадрой. Его щеки ввалились, цвет лица и глаза лихорадочны; очень большой нос выдается еще сильнее.

Колчак действительно получил для меня телеграмму, пересланную из Владивостока генералом Романовским. Колчак полагал, что теперь, когда он стал у власти, державы откажутся от их проектируемого назначения меня и Нокса. Радиотелеграмма неприятно разочаровала его. Он обращается к нам с бурными многословными и разнообразными возражениями сантиментального характера. Он стал у власти при помощи военного переворота и, поэтому, главное командование не может быть отделено от диктаторской власти без того, чтобы она не по-

\* Речь идет о телеграмме, которая за подписью Ллойд-Джоржа и Клемансо доставлена была 13 декабря в Омск. Этой телеграммой поручалось Жанену и Ноксу командование авангардом и арьергардом колчаковской армии. **Прим. ред.** (1927 г.)



теряла под собой почву. «Общественное мнение не поймет этого и будет оскорблено. Армия питает ко мне доверие; она потеряет это доверие, если только будет отдана в руки союзников. Она была создана и боролась без них. Чем объяснить теперь эти требования, это вмешательство? Я нуждаюсь только в сапогах, теплой одежде, военных припасах и амуниции. Если в этом нам откажут, то пусть совершенно оставят нас в покое. Мы сами сумеем достать это, возьмем у неприятеля. Это война гражданская, а не обычная. Иностранец не будет в состоянии руководить ею. Для того, чтобы после победы обеспечить прочность правительству, командование должно оставаться русским в течение всей борьбы».

Все это вертится в беседе, все еще очень горячней. Реньо, сохраняя спокойствие, полное доброжелательства, и я, по очереди, приводим с осторожностью, которая необходима в беседе с человеком, находящимся в состоянии нервного возбуждения, все аргументы в пользу этого дела: союзники намерены оказать помощь — это видно из их желания иметь здесь своего человека, они корыстно не заинтересованы в этом вопросе, мое назначение будет продолжаться только до тех пор, пока положение не изменится к лучшему, требование об оказании помощи будет еще больше обосновано, если они будут непосредственно втянуты в военные действия, свою заботливость союзники показали и в назначении человека, находящегося в курсе русских событий и даже окончившего русскую военную академию. Я прибавил лично от себя, что, как дисциплинированный солдат, буду настаивать на выполнении отданного распоряжения. Обязанности, которыми меня хотят почитать, не доставят мне ни малейшего удовольствия и я бы от них охотно избавился. Я сказал это для того, чтобы убедить его, насколько чужды мне чувства личного тщеславия, а равно намерения посягать на прерогативы правительства.

Наши ответы чередуются с его бурными заявлениями. Он жалуется также на чехов, на их вмешательство в русскую политику и т. д. и т. д. Мы оставляем его очень мало удовлетворенным.

Вторично видел адмирала 17-го. Перед этим узнали мы окольными путями, что собирался совет министров, который склонялся к тому, чтобы наотрез отказаться от нашего содействия. Однако, генерал Сурин ярко указал на опасность такого отказа и на различные выгоды от соглашения. Это мнение в конце концов и восторжествовало. Было решено продолжать переговоры. В течение этой второй конференции адмирал было возобновил свои беспорядочные речи, но Реньо, вооружившись карандашом и бумагой, набросал несколько пунктов, над которыми можно было подумать, поработать и продолжать дискуссию. Будет постановлено, что адмирал Колчак, в качестве верховного правителя, является, разумеется, также и верховным главнокомандующим над русскими силами, а я являюсь таковым же только над силами союзников и что адмирал может назначать меня своим заместителем на фронте, а также своим помощником. Посмотрим, что будет дальше. Протесты адмирала дают основания догадаться, что он претендует на компетентность в военном деле, что, однако, не облегчает положения вещей, ибо очень спорна его компетентность в вопросах пехотной тактики. Русские гостеприимны, но в то же время горды и не любят иностранцев. Это слишком часто заменяет у них истинный патриотизм; их история и нравы это подтверждают.

С 26—31 декабря (1918 г.). Отъезд ночью в Екатеринбург. Движение медленное. Холмистая местность, слегка лесистая, в жанре Vogezских предгорий, но не особенно живописная. После полудня мы приближаемся к горо-





**Адмирал А. В. Колчак. Новониколаевск (?), 1919 г.**  
 Собрание С. А. Савченко (Новосибирск)

длинноголовый, лицо продолговатое, нос больших размеров. Нижняя челюсть болезненна, на что указывают и многочисленные золотые зубы. У него будто бы скверный характер, и Сыровой говорил мне, что между ними натянутые отношения. Гайда был со мной чрезвычайно корректен, почти робок\*. У него, несомненно, как это говорил мне и Дитерихс, прирожденные военные способности, он дышит энергией, имеет ясный ум и открытый характер. Его требовательность по службе отталкивает от него чехов, которые не всегда терпеливы, с которыми трудно справиться и которые, прежде всего, крайне устали и издерганы.

Эти демократично настроенные люди обвиняют его в том, что он перенял у русских их внешнее обхождение. Подчиненные ему офицеры следуют в нескольких шагах от него, это удивляет. Политические соображения заставили Нокса свести Гайду с Колчаком, которого Гайда и привез с собой в Омск в своем поезде\*\*. Вполне естественно, что Гайдой руководило желание завоевать себе благорасположение представителя большой державы, которая в ту пору одиноко влияла на ход дела в Сибири. Думал ли он хоть на момент о подобном же перевороте в целях своего личного возвышения, опираясь на ореол, который создали ему успехи против большевиков в Забайкалье — я не знаю.

\* «Ты знаешь, — сказал мне Стефаник, — он ведет в Сибири знакомство только с русскими генералами».

\*\* В одной из позднейших бесед Гайда сказал мне, что он не знал намерений адмирала. (Приписки Жанена.)

ду. Вокзалы загромождены до последней степени. Бесконечные вереницы вагонов, служащие жилищами. Большие кучи нечистот. Коза тихонько спускается по доске из вагона, где она, без сомнения, и живет. К другим вагонам привязаны лошади, и не со вчерашнего дня, судя по кучам конского навоза. Такое обилие нечистот, разумеется, антисанитарно, и мне сейчас же сообщают, что здесь свирепствует сыпной тиф.

Встреча на перроне вокзала. Чехи, русские, чешская охрана. Здесь же генерал Гайда с генералом Богословским, своим начальником штаба, губернатор и др.

Резюмируя впечатления, полученные за эти дни от Гайды (о нем мне много рассказывал Стефаник), скажу, что Гайда молод с виду и, наверно, таков же и по годам. Он блондин,



Он, разумеется, знал, быть может, даже от самого Стефаника, о намерении последнего снять его с командования и отправить с миссией в Европу. С другой стороны, Колчак, в одной из наших бесед, неблагоприятно отзывался о Сыровом и жаловался на враждебное отношение чехов к Гайде, которого он высоко ценил. Колчак прибавил, что если Гайда попросит, чтобы его приняли на русскую службу, то, учитывая все его заслуги, он не сможет отказать ему в этом. Колчак просил моего содействия. По моему мнению, Гайда поступает неправильно: если бы Гайда, при его природной одаренности и приобретенном опыте, поехал на один-два года во Францию, чтобы там получить основательное военное образование, то впоследствии он бы мог у себя на родине занять более видное положение. Но тем не менее я переговорил со Стефаником (Гайда также просил меня об этом), который более не возражал. Стефаник только сказал Гайде, что он, по всей вероятности, вскоре же пожалеет, почему не послушался его советов, и затем в крайне предупредительной форме дал ему отпуск. Гайда просил меня оказывать ему, в случае необходимости, поддержку в сношениях с русскими.

Генерал-майор Богословский, начальник штаба Гайды, обучался в Николаевской военной академии в 1910—11 г., в то время, когда я проходил в этой школе свой военный стаж. Богословский напомнил мне, что на экзамене французского языка, где я присутствовал в качестве ассистента по просьбе депутации от учеников, надеявшихся на повышение баллов, я дал ему возможность получить 7. Благодаря этому баллу, он смог поступить в главный штаб. Мы беседовали также о положении, в котором очутилась академия во время большевизма. Он был тогда ассистентом; он восхищался ловкостью и осторожностью директора Андогского, который сумел, попустившись некоторыми мелочами, спасти академию, своих учеников и всевозможные исторические сокровища, хранящиеся в ее архивах.

Пришли известия о взятии Перми. Имеются сведения об огромной добыче, но в округленных цифрах. Гайда хочет проверить. Говорят о 30 000 пленных, цифра преувеличена, так как силы врага не превышали 32 000 человек (впоследствии стало известно, что значительную часть пленных составляли военнопленные, возвращающиеся из Германии). Во всяком случае материал был захвачен значительный.

12 января 1919 (Омск). В полдень совещание по вопросу о верховном командовании. Совещание в наших глазах является лучшим способом провалить вопрос, но русские любят устраивать совещания. Была созвана уйма народа: Степанов (будущий военный министр); Сурин, возвратившийся без всякого удовольствия к обязанностям заместителя министра; Лебедев, начальник главного штаба на фронте; Марковский, начальник главного штаба в тылу; адмирал Смирнов, Сукин, Стефаник и Павлу, Нокс с Родзянко, наконец, представитель Франции и один или два офицера миссии. Верховные комиссары не явились. Меня избрали председателем. Я, прежде всего, счел необходимым овладеть положением. Все эти недоразумения начинают меня утомлять. Я один веду борьбу за парижское решение. Нокс оказывает мне чисто формальную поддержку, так как обязанности, касающиеся его, не вызывают протеста, и я сомневаюсь, чтобы он особенно горячо желал укрепления моего авторитета. Реньо делает все от него зависящее, но он не знает русского языка, и я должен был поэтому посадить Пешкова рядом с ним. Открывая собрание, я попросил разрешения сказать несколько слов, чтобы изложить, как говорят здесь, «мою точку зрения».



Я сказал следующее: «Когда Александр I послал в Сибирь Сперанского, когда Николай I послал туда же Муравьева, который получил прозвище Амурского, ни тот, ни другой не имели в виду доставить удовольствие своим посланцам. Я меньше всего хочу сравнивать себя с этими замечательными людьми, но, во всяком случае, мои впечатления и состояние моего духа по прибытии сюда абсолютно сходны с тем, что испытывали и они. Я безо всякого удовольствия выполняю приказ, который был мне отдан. Миссия, мне порученная, выполняется мною с тем меньшим удовольствием, что мне с самого же начала приходится заняться моим личным положением. Несмотря на это, я могу с твердостью сказать, что я являюсь лицом, абсолютно незаинтересованным, так как русские, для которых я должен работать, лично для меня абсолютно ничего не могут сделать. Возлагаемая на меня задача будет служить источником всевозможных неприятностей и не дает мне права рассчитывать на какое-нибудь благорасположение. Кто знает меня по моей прежней работе в России, тот засвидетельствует, что я оказал этой стране больше услуг, чем многие из их соотечественников. Изучив историю русского народа, я знаю, как он относится к чужеземцам, которые ему служат. Когда я был в Николаевской военной академии, то имел возможность познакомиться с тем, как в свое время относились к Барклаю-де-Толли, несмотря на то, что он спас Россию от Наполеона. Я, тем не менее, как и прежде, буду работать, не покладая рук, хотя и не питаю никаких иллюзий».

Несмотря на все услуги, которые я могу оказать, я останусь, как это до меня случилось со многими другими, «нежеланным гостем»».

Я сказал это все спокойным, вразумляющим тоном и могу утверждать, что понизил окружающую температуру до 20°. Им нужно говорить то, что думаешь. Вот пример их нелепых мыслей: некоторые из национальной гордости настаивали, чтобы я не участвовал при въезде в Москву...

Лебедев высказал несколько протестов, затем Стефаник прервал общее молчание контр-проектом, содержащим в сущности то, что я предлагал. Обсуждали, переобсуждали и через несколько часов перенесли собрание на завтра.

...Получил вечером телеграмму с известием, что Стефаник назначен командиром почетного легиона. Это прошло не без некоторых затруднений. Стефаник не только чехо-словацкий министр, но также французский гражданин и офицер, а все следы его назначения офицером были утеряны; этим объясняются многочисленные телеграммы, предшествовавшие назначению.

13 января. Сегодня два совещания. Одно о принципе командования, который указан телеграммой из Парижа и который русские не знают, как применить. Дитерихс приехал и тоже принимает участие в совещании. Он высказал по поводу фронта соображения, которые странно было слышать из уст такого доблестного человека. И разве не странно брать за правило сохранение армии, не заботясь о потерянной территории и не думая о моральной реакции, которую в конце концов эта потеря вызовет в армии. В заключение утверждаются полномочия Нокса, не вызывающие больших возражений. Затем я предлагаю редакционной комиссии (Сукин, Дитерихс и я) собраться завтра у меня для выработки текста.

Дитерихс был у меня с визитом, а также для того, чтобы поговорить по поводу отступления чехов в тыл. Все уже взвешено, вопрос назрел, и я переговорил со Стефаником, навестив его сегодня. Следует разрешить его немедленно.

Днем состоялось совещание по вопросу о железных дорогах, на которое я сопровождал Реньо по его просьбе. Это совещание — продолжение целого ряда



попыток. По приезде в Сибирь я уже несколько раз указывал на состояние Сибирской магистрали. Работы миссии Стевенса, органа Соединенных Штатов, в задачи которой входит привести в прежнее состояние железную дорогу, тормозились вследствие затруднений, которые в то время испытывали другие нации. Я все же настаивал, чтобы было принято, наконец, то или иное решение. Я мог требовать только одного, чтобы железнодорожное движение было восстановлено, ибо иначе нам нечего делать в Сибири. Не возлагая на себя никакой ответственности, я предлагал принять прежний, англичанами забракованный, французский проект, рекомендуя создать межсоюзную комиссию под председательством русского министра путей сообщения. Я неоднократно бил тревогу по поводу растущего беспорядка: со середины декабря Восточно-Китайская ж. д. отказалась от транспорта в Забайкалье, вследствие скопления двадцати шести поездов, которых эта сеть не могла принять.

За последние дни Реньо познакомился с новым проектом англичан, заключающимся в распределении участков между четырьмя союзными нациями. Такое разрешение вопроса смешно и не двинет его с места, русские противятся, так как это умалит роль их администрации. Считая однако, что восстановить движение смогут только американцы, русские решились в конце концов отдать это дело в их руки. Устругов поделился со мной вчера возражениями против английского проекта, который он находит неприемлемым, и просил меня и Реньо о поддержке. Свидание было более чем коротко. Устругов заявил, что русские власти передают железную дорогу заботам союзников и требуют утверждения Стивенса. Реньо сказал несколько слов в пользу старейшины союзных представителей. Я, как военный, потребовал окончательного решения и пояснил, что оно может иметь быстрый результат, раз исполнительный орган уже функционирует. Англичане промолчали, японцы тоже. Американцы со своим главным консулом Гаррисом во главе пришли благодарить нас по окончании заседания.

*14 марта.* Я составил вчера для Лебедева — начальника главного штаба ноту относительно латышского батальона из Троицка, который был обучен одним из моих офицеров и который ставка хотела расформировать. Я был сегодня приглашен к Колчаку, и он говорил мне ядовитые речи по поводу латышей и их батальонов, которые он предписал расформировать. Это было вызвано опубликованием в Новониколаевске листка с призывом к рекрутам этой национальности, формирование особой части, которой Мартель одобрил в конце октября 1918 г. во Владивостоке. Перепалка была горячая. Мне понадобился добрый час, чтобы заставить его понять, что, прежде всего, латыши находятся не под его, а под моим командованием и, затем, что с русской точки зрения было бы опасно проявить жестокость по отношению к иностранцам в связи с призывом нескольких сотен людей, что, напротив, было бы выгодно выразить в этом вопросе либерализм, тем более, что эти боевые единицы были ранее утверждены омской директорией. Сохранять хладнокровие, чтобы образумить человека, который не владеет собой, до того момента пока он не придет в равновесие — утомительно для нервов. Взрыв прошел, и вот Колчак снова спокоен, и стал даже любезен. Мы говорим о русской авиации... и он просил меня снабдить его французским офицером, который мог бы организовать ее...

*3 апреля.* После полудня я говорил с Колчаком о ряде текущих дел, касающихся фронта, а также о прибытии артиллерийского материала... Спокойно беседуя, мы коснулись вопроса об иностранцах (латышах, сербах и пр.). Он вскипел, как молочный суп, и начал резкими выражениями изливать свои жа-



лобы на них. Он ссылается на свидетельство полковника Уорда, который счел их опасными и подлежащими расформированию. Я быстро прерываю разговор на эту тему, ограничиваюсь лишь возражением, что в этом вопросе Уорд не беспристрастен, так как он, отчасти благодаря своей собственной оплошности, имел в Красноярске неприятное столкновение с сербами, которые, по правде сказать, действительно ни на что не годны. Я предоставил русским властям полное право распоряжаться сербами, как им будет угодно, но русские этим правом не воспользовались. Я занят, как он знает, последовательным упорядочением всех этих иностранных отрядов, согласно повторным инструкциям, которые я получил от их правительств, но я должен заявить ему, что считаю Уорда человеком несведущим, неинтеллигентным и преисполненным сознанием собственного значения, которое, однако, никем не разделяется. Не зная русского языка, он позволяет руководить собою супругам Франк, двум пройдохам и шпионам.

Колчак переходит затем к разговору о чехах и в резких выражениях осуждает их враждебную позицию, чреватую большими опасностями, что в конце концов принудит его разоружить их силой: он сам «станет во главе своих войск, прольется кровь» и т. д., как обычно. Он долго распространяется на тему об отсутствии у чехов уважения к русским, говорит о их непочтительности по отношению к иркутским властям. Он обвиняет их в дерзости на том основании, что они требуют, в целях охраны железнодорожного пути, права самостоятельного распоряжения во всей отчужденной зоне и права объявлять военное положение там, где они сочтут это нужным. Я отвечаю мягко и ясно, что его опасения ничем не оправдываются. Я стараюсь достигнуть доброго согласия, но ничуть не могу помочь делу: русские, на всех ступенях, полны недоброжелательства, которое очень затрудняет мои усилия. В своем же глазу они не видят бревна.

В столкновении с генералом Артемьевым\* я не могу обвинять чехов. Они враждебно относятся к человеку, который заявляет, что он является их врагом и предпочитает видеть в Иркутске скорее немецких офицеров, чем чехов. Добавлю, что в конце января Артемьев говорил мне самому такие вещи, которые вполне подтверждают эти слова.

Наконец, возбуждение Колчака улеглось, барометрическое давление вернулось к нормальной точке, и он просил меня придти поговорить с ним в следующее воскресенье.

10 апреля. Дутов явился к завтраку в сопровождении киргизской охраны, одетой в меховые шапки и малиновые мундиры. Это любопытная физиономия: средний рост, бритый, круглая фигура, волосы острижены под гребенку, хитрые живые глаза, умеет держать себя, прозорливый ум. Я не знаю, насколько он сведущ в военной тактике, но он должен уметь захватывать своих людей на склонах, дорогих сердцу казаков. Этим я объясняю себе его влияние. Он рассказывает нам о своих битвах во время революции, о своих партизанских операциях и о своем обратном наступлении после того, как большевики отбросили его в пустыню. Он просит у меня поддержки, чтобы обезопасить дальнейшую судьбу своей армии, так как думает, что его снимут с командования. Он говорит, что это ему безразлично, но важно, чтобы его казаки остались вместе и отдельным корпусом дошли до Москвы. Он рассказывает нам, между прочим, о своих отношениях с железнодорожниками, более или менее сочувствующими большевикам. Он не колебался в таких случаях. Когда саботажник-кочегар заморозил паро-

\* Комендант Иркутска.

воз, то он приказал привязать кочегара к паровозу и тот замерз тут же. За подобный же проступок машинист был повешен на трубе паровоза.

1 мая. Видел Колчака в полдень. Сначала вопрос об охране железной дороги. Затем, не помню, каким образом, он пускается в желчную критику чехов. Все те же знакомые слова: «он станет во главе своих войск, прольется кровь» и т. д. Он обвиняет их в дерзких требованиях, в связи с охраной железной дороги, говорит, что они требуют прав, которые являются посягательством на величие России. По этому поводу он рассказывает удивительную историю: чехи загородили веревками место рядом с его домом, там, где находится мачта радиотелеграфа, и часовой не дал пройти одному из его офицеров и пр. Это нестерпимая дерзость. Он повесит на этой веревке часового и т. д. и т. д.

Я говорю ему, что этот поступок меня удивляет и я пойду разузнать, в чем дело. Я вышел и навел справку. Случай произошел несколько дней тому назад, и вот каким образом: ванты, поддерживающие мачту станции, привязаны к сваям, которые находятся в широких ямах, вырытых вокруг площади. Эти ямы во время оттепели наполнились ледяной водой и, во избежание падения туда людей, некоторые из ям, расположенные совсем вблизи улиц, окружающих площадь, огородили веревками. Офицер из охраны адмирала, возвращавшийся пьяным, наткнулся на одну из веревок. Его предупредили. Он пришел в ярость и, не постаравшись узнать, для чего эти веревки тут находятся, пошел разжигать своих товарищей и самого адмирала... Все же это утомительно.

После, когда взрыв прошел, мы беседовали спокойно...

22 мая. Мы ходили большой группой в банк, по приглашению правительства, чтобы присутствовать при проверке денежного звонкого наличия, спасенного чехами в Казани. Над подвалом, где находились ящики с золотыми слитками и платиновым песком, можно было видеть настоящую выставку золотых и серебряных вещей, положенных на хранение в России и захваченных большевиками, а затем отобранных у них обратно. Там имелась, например, коллекция серебряных и золотых блюд, положенная на имя генерала Чуковского, бывшего



Вид Новониколаевска, 1919 г. Собрание С. А. Савченко (Новосибирск)





**Чехословацкий  
часовой у моста.  
Новониколаевск,  
1919 г.**  
Собрание  
С. А. Савченко  
(Новосибирск)

генерал-губернатора Восточной Сибири, другие — на имя семьи Терещенко. Эта выставка странствующих вещей, ускользнувших от грабежа, имела зловещий вид, что, однако, не мешало каналье-министру Михайлову, служившему нам проводником, шутить, как гробовщику на похоронах. Он показал нам также конторы, где печатают и сортируют деньги, главный источник доходов Омского правительства.

Нокс пришел повидаться со мной. Беседа общего характера: о положении, которое сильно осложняется, о возможностях уехать отсюда и т. д. Мартель говорит со мной о том же. Как пройдет будущая зима! Как пойдут дела после отъезда чехов!..

Я ответил Стенвену, который горько жаловался по поводу налетов, продолжающихся на железную дорогу, что, несмотря на волнения в стране, никаких мер не принято для того, чтобы сократить количество поездов и облегчить, таким образом, их охрану. С другой стороны, невозможно требовать большего от чехов, пребывание которых в Сибири не имеет целью охрану пути. Я добавил, что восстановить спокойствие и обеспечить охрану вдоль всей линии железной дороги в такой обширной стране только теми средствами, которые имеются в нашем распоряжении, является делом безмерной трудности. Во всяком слу-



чае, значительные результаты уже достигнуты. Подтверждается, что англичане не прочь взять на себя заботу не только об Омской и Уральской железных дорогах, но также и о фронтовых... до России включительно, если бы только дела шли успешно. Они купили на этот случай паровозы, подготовили обслуживающий персонал и пр. ...все это помимо Стевенса...

23—25 мая. Сукин завтракал у меня в пятницу 23-го. Я энергично настаивал, чтобы он направил адмирала на путь смягчительных мер и ослабления режима, которые многие объясняют реакционными намерениями. Лазье страшно отставал созыв земского собора. Он стал гораздо большим демократом, чем тогда, когда служил в консульстве республики. Я указал министру, что для восстановления престижа адмирала было бы лучше не увеличивать количество людей, гниющих без суда в тюрьмах. Не думаю, чтобы он убедился в необходимости либеральных мер; у меня, как и у Лазье, осталось впечатление обратного.

Мы получили по радио текст благодарственной телеграммы, адресованной Колчаком Пишону в ответ на поздравления (полученные как раз в тот момент, когда дела начали портиться). Телеграмма полна трогательного либерализма. Колчак, хотя и подписал телеграмму, составленную Мартеlem, но это вовсе не означает, что здесь так именно думают или имеют хотя бы малейшее намерение провести все это в жизнь. Во всяком случае вчера Сукин отказывался что-нибудь в этом отношении сделать. Чтобы быть «признанным», они подписут все, что угодно. Как я уже говорил Мартелю, это опасная игра. В Париже, где есть охотники развешивать уши, это будет принято за чистую монету. Лазье выразил свое удивление в телеграмме, которую он просил меня отправить. Я с своей стороны, не желая играть роль глупца, телеграфировал следующее: «Благодарственная телеграмма, посланная адмиралом Колчаком г. Пишону, была составлена Мартеlem, к которому обращались, чтобы улучшить стиль. Благодаря ему, в телеграмме выражены те мысли, которыми, по нашему мнению, здешнее правительство должно было бы руководиться. Было бы счастье, если бы оно их действительно разделяло. К несчастью, этого нет. Мои телеграммы служат доказательством...»

1-е июня. У меня завтракал Будберг, новый военный министр. Его долгое пребывание в Сибири заставляет считаться с его взглядами на эту страну.

Он открыто заявляет, что затруднения происходят вследствие неправильной ориентации офицеров и правителей. «Коренные сибиряки (а отчасти также и те, которые долго живут здесь) имеют независимый характер, передовые убеждения, но не являются большевиками, тем более, что им хорошо живется. Результат патриархального обращения офицеров с солдатами, которых они теперь снова принялись бить, самый отрицательный. Солдаты дают ответ револьверами и ножами. Сибиряки не любят также, чтобы задевали их жен. Беспорядки на Дальнем Востоке объясняются зверствами агентов правительства во Владивостоке и окрестностях. Эти агенты восстановили все население, обращаясь с ними, как при старом режиме. Не лучше и внутри страны, где оно видит власть только в лице военных, которые грабят и отягощают его реквизициями, а население и без того пострадало от большевиков и сейчас находится у последней черты. Необходимо, чтобы правительство показало себя в другом свете.

Есть, продолжает он, пропасть между народом, главным образом, между крестьянами и образованным классом, пропасть, объясняющаяся вековой не-



навистью потомков рабов к потомкам господ. Прибавьте сюда недостаток патриотизма и энергии у буржуазных классов, некомпетентность таких людей, как октябристы и кадеты, наконец, несчастливую руку литераторов, которые пустили в обращение абсурдные мысли. Взаимное недоверие, беспутство мыслей, особенно у молодых поколений, которые большевизировались на фронте, делают чрезвычайно трудным создание чего-либо среди общего беспорядка. Население питает абсолютное недоверие к неспособным администраторам, склонным к реакции. Единственное средство спасти положение — это создать прочное правительство из людей здорового смысла, воскресить дух законности, исчезнувший повсюду, как вверху, так и внизу, вернуть любовь и привычку к труду. Враждебное отношение к прежним правящим классам вызывает желание видеть страну оккупированной союзниками, которых считают независимыми, беспристрастными, свободными от политических грез и жажды мщения.

Под их опекой успокоятся умы и восстановится прежнее равновесие.

Революция, особенно большевистская, открыла тюрьмы и выпустила на свободу около 400 000 уголовных заключенных. Эти люди стали активным орудием большевизма. Их число увеличилось до 600 000—700 000 родственных им субъектов, которые не следуют до сих пор примеру первых только из боязни наказания. Вот опора большевистского режима в настоящее время».

Таковы его основные мысли. Все это рассказано с большой прямоотой, и я записываю это с большим удовольствием, тем более, что считаю эти взгляды абсолютно верными\*.

Адмирал отбыл на днях на фронт. Мартель поехал, чтобы передать ему обширную телеграмму, полученную из Парижа. Кажется, в ней ставят условием его «признания» ряд гарантий о выполнении либеральных и демократических обещаний. Не знаю, говорится ли в телеграмме и об избирательном праве для женщин, о котором Нокс несколько дней тому назад не совсем уверенно намекнул Буксеншуцу.

\* Для характеристики того, как делал свои записи Жанен и насколько правильно он «с большим удовольствием» передает «основные мысли» Будберга, которые признает «абсолютно верными», считаем не лишним привести для сравнения беседу Жанена с Будбергом по записи самого Будберга.

«Был у генерала Жанена, — читаем мы в записи Будберга от 2 июня. — Веселый, жизнерадостный француз; считается главнокомандующим союзными войсками, но чехи его слушаются только когда это им удобно. По просьбе Жанена, высказал ему свои взгляды на современное положение России и Сибири и на те виды союзнической помощи, которые нам сейчас неотложно необходимы. Пытался ему растолковать, что прежде всего нужно, чтобы союзники признали образовавшуюся в Омске власть и поддержали ее морально и материально; сейчас мы находимся в невероятно тяжелом и сложном положении какого-то незаконнорожденного сына и это дает возможность раздражаться разными выпадами Семенову, Гайде и другим атаманам, допускает двусмысленное поведение японцев, давит нас по финансовой части, вносит ужасную путаницу в деле снабжения, выдаваемого нам как-то из-под полы и в роде каких-то подачек. Очевидно, что нам хотят помочь, а если так, то надо делать это скоро, откровенно и полным махом, понимая, что затяжка только истощает Россию и усиливает положение большевиков. Затем нам нужна прочная, планомерная помощь вооруженной силой, но никоим образом не для войны на фронте, а для оккупации важнейших населенных пунктов и для установления там законного порядка и нормальных условий жизни, сделать сами мы этого не в состоянии как по недостатку людей и вооруженной силы, так и по причинам чисто морального порядка, свойственной атмосфере гражданской войны, остроте классовой борьбы, горечи испытанного и трудно подавляемой жажды реванша и реакции.

Это нам надо временно до тех пор, пока не окрепнет закон и государственность и не установятся новые административные органы (центральные и по самоуправлению в самом широком значении этого слова).

Для этой цели нам нужны совершенно нейтральные, беспристрастные и спокойные войска, способные сдерживать всякие антигосударственные покушения как слева, так и справа. Только под прикрытием сети союзных гарнизонов, не позволяющих никому насильничать и нарушать закон, поддерживающих открыто и определенно признанную союзниками власть, возможно будет приступить за грандиозную работу воссоздания всего разрушенного в стране, восстановления и укреп-



Здесь публика, учитывая материальные и моральные выгоды, которые доставит им «признание», будет обещать все, что от нее потребуют, и даже больше. Другое дело — сдержать обещание.

5 июня. Утром я был у Колчака и говорил о деле Гайды. Беседа довольно дружественная.

«По моему мнению, говорю ему в ответ, нужно сохранить Гайду, так как его любит армия, а он и Богословский до сих пор работали хорошо. Опасно менять упряжь посреди брода. Если после этой перемены произойдут какие-нибудь затруднения, будут говорить, что именно она была причиной. Мое мнение может быть и не безошибочным, но, по чистой совести, я считаю его, в настоящее время, более приемлемым. Если я ошибся, то приду и сознаюсь в своей ошибке».

Адмирал находит утомительным постоянно выступать в роли мирового судьи между генералами и министрами. Вернувшись затем опять к нехватке в личном составе, он говорит о Дитерихсе, который мог бы заменить Гайду. Я отвечаю, что считаю Дитерихса более подходящим для начальника главного штаба. Он пригодился бы сибирской армии своими техническими знаниями, столь редкими.

Решение относительно Гайды следует вынести срочно. Его пребывание здесь вредно отражается на его армии. Это начинает чувствоваться. Левое крыло волнуется. Но, с другой стороны, у него есть друзья даже в правых партиях. Казаки явились выразить ему свои симпатии. Он получил даже предложение о поддержке в случае государственного переворота.

7-го июня. Первые прекрасные дни сменила холодная, ветреная погода. Чехо-словацкая сводка за декаду указывает, что транспорт на восток закончен: 262 поезда прошло через Омск. Богослужение в соборе, затем парад на площади. Матковский показывает войска, в которых <каждый> пятый не имеет ружья. Обучение элементарное. Все поражены малым ростом и молодостью солдат. По желанию Колчака, войска дефилируют с чрезвычайной быстротой, так сказать, по французскому способу. Это празднество устроено в ознаменование

---

пленя местных органов управления и за еще более сложную и щекотливую задачу постепенного приучения населения к исполнению государственных и общественных повинностей, к платежу налогов, — одним словом, к многому, от чего население отвыкло; это неизбежное ярмо надо надеть умеючи, а, главное, без помощи наших карательных и иных отрядов.

Размер материальной помощи надо точно выяснить — по количеству и срокам и обеспечить нам порядок и срочность получения, не держа нас в положении Персии или Турции, или расточительного племянника, получающего случайные подачки от тароватых дядюшек. Все, приходящее во Владивосток, надо сдавать нам, а не распорядиться каждому союзнику по его усмотрениям и по его симпатиям.

Одновременно надо выяснить, сколько и как надо за все это заплатить или засчитать, ибо только тогда возможно равноправие сторон. Особенно я подчеркнул, что союзники делают большую ошибку, затягивая вопрос о признании нашего правительства; если оно почему-либо не нравится или оно не надежно, то тогда надо об этом сказать, указав, что и как надо изменить, или же тогда уже признавать за власть большевиков; половинчатое решение тут невозможно.

Признание нужно не для честолюбия правительства, а для его укрепления; оно нужно для психологии народных масс, главного деятеля в будущем устройстве России. Я очень увлекался, излагая все это, — заканчивает свою запись Будберг. — К сожалению, мой собеседник не особенно внимательно меня слушал, стараясь перейти на иные нейтральные темы».

Именно «невнимательно слушал», а потому и опустил основную суть беседы, записав при этом то, о чем в дневнике Будберга не находим и намека. Оставляя на совесть Жанена правильность передачи той части беседы, которая Будбергом опущена, заметим, в заключение, что в белогвардейской литературе талантливо написанный «Дневник» Будберга занимает исключительное место, как откровенный, неприкрашенный документ, беспристрастно, хотя и с душевной болью вскрывающий все причины крушения белогвардейского движения в Сибири. «Дневник» Будберга опубликован в издающемся в Берлине русском белогвардейском журнале «Архив Русской Революции» т. т. 13, 14 и 15. Отрывки из этого дневника напечатаны в составленных С. Алексеевым сборниках «Начало гражданской войны» и «Гражданская война в Сибири и Северной Области», изданных Госиздатом. Прим. ред. (1927 г.)



годовщины освобождения Омска. После полудня состоялось собрание в думе, на котором выразили благодарность 6-му чехо-словацкому полку, сыгравшему в освобождении Омска главную роль.

8 июня. Павлу известил меня из Иркутска, что английский депутат Уорд отправляется в Англию с намерением открыть против меня кампанию в прессе и в палате общин: мои действия имеют целью свергнуть Колчака, я помогал противным ему передовым и революционным партиям, вопреки моим инструкциям; настраивал иностранные армии против русских и пр. Это ничтожество является рупором своих переводчиков, четы Франк, шпионов и пройдох, которые из большевиков превратились в германофилов и реакционеров. Я уже отмечал, что жена Франк связана дружбой с мадам Имен, которую я выставил за дверь нашей радио-почты, где она служила, за то, что она опубликовала в официальных газетах ряд статей, враждебных союзникам. Она в дружбе с любовницей адмирала. Забавно быть причисленным к революционерам после того, как в палате депутатов меня причислили к друзьям Николая II, что действительно соответствует истине. Вполне понятно, что, поскольку это в моих силах, я и впредь буду препятствовать убийствам и преследованиям, иначе я буду соучастником ежедневно совершающихся преступлений. Если здешнее правительство держится, так только потому, что присутствие чехов в центральной Сибири мешает отрезать Сибирскую магистраль. Уорд сделал бы лучше, если бы также занялся этим делом, чем, возможно, доставил бы удовольствие своим избирателям из рабочей партии. Но эти Франки, помимо различных качеств, указанных выше, являются также агентами английской миссии. Это становится тревожным. Нет ли тут, как говорили некоторые, чего-нибудь в роде предательских козней? Вполне возможно. Наряду с хорошими и лойяльными друзьями есть и такие, которые хотели бы видеть меня в другом месте, а хорошие личные отношения не мешает завести в сфере служебных обязанностей.

12 июня. История, случившаяся с неким Седлики, который знаком с одним из моих офицеров, показывает, какова здесь справедливость. Он был приговорен к смерти по обвинению в содействии рекрутам уклоняться от военной службы. Дело касалось одного его служащего, который ушел со службы прежде, чем получил свой призывной листок. К счастью для Седлики, Колчак был с ним немного знаком лично. Это осуждение удивило Колчака, который приостановил исполнение приговора и послал расследовать сущность дела. Трибунал и главный прокурор в Иркутске признали свою ошибку. Этот человек был осужден только потому, что генерал Артемьев требовал примерного наказания. Осужденному указали всю трудность положения и предложили подчиниться приговору и молчать; его помилуют. Он, однако, не обрадовался такому выходу из положения, ибо не доверяет лицам, которые ему это предлагают, и дело тянется до сих пор. Таких фактов не было даже во времена царизма.

30 июня. Отъезд в 15 часов 30 минут. Остановка в Канске. Кроме чехов, я нахожу Красильникова с пикетом своих казаков. Он, неоспоримо, имеет великолепную голову солдафона. Его стадо грабит сильнее, чем повстанцы, которых называют большевиками, и крестьяне считают, что последние лучше дисциплинированы. В одной деревне большевик, изнасиловавший учительницу, был присужден к смертной казни, но когда пришли люди Красильникова, они безнаказанно разграбили все дочиста. В Канске беззаботно расстреливали людей, все преступление которых заключалось только в нежелании отдать свои деньги.

4 июля. Принимал Сукина, которого сопровождал Мартель. Он говорит, что пришел удержать меня от намерения вернуть на родину чехов и всех иностранцев вообще. Он говорит, очевидно, от имени своего правительства и уповавшей ставки. Явная враждебность в отношении чехов и желание от них отделаться.

Он прежде всего сказал мне, что провоз чехов через Владивосток невозможен и что абсолютно необходимо, чтобы чешская армия без промедления выступила на фронт, в направлении Архангельска или Царицына, для участия в наступлении, которое подготавливается к августу месяцу. Таково мнение англичан (план Винстона Черчилля — Нокса), американцев и Крамаржа. Я ответил без обиняков, что мне об этом ничего неизвестно, а военные постановления относительно моих войск касаются меня более, чем кого-либо другого, и в конце концов все это никак не согласуется с директивами, полученными от Стефаника через маршала Фоша. На предложение Сукина не считаться с этими директивами я ответил, что это были указания внутреннего порядка и что, к моему большому сожалению, учитывая, что операция подобного рода соблазнительна только при условии ее выполнимости, в настоящее время не может быть и речи о возвращении на фронт. Это возвращение было бы целесообразно перед поражениями и могло бы теперь быть оправданным, если бы только положение вообще изменилось. Я не мог и подумать об отправке моих войск на фронт в момент беспорядочного отступления. Этого не позволяло, главным образом, моральное состояние армии, которое мне пришлось констатировать и о котором я осведомил Европу. Мы — Павлу\*, Сыровой\*\* и я — были солидарны в том, что приказ такого рода, будь он даже из самой Праги, неминуемо повлечет к беспорядкам, последствия которых сейчас не поддаются подсчету. Войска не поверят нам, особенно после телеграммы Бенеша: «Родина не требует от вас более жертв, вы достаточно сделали для нее». Они предполагают обман с нашей стороны, тем более, что английские войска оставили при приближении большевиков Екатеринбург, а итальянские войска — Красноярск.

Сукин заявил тогда, что на фронт нужно идти именно сейчас. Идти туда позднее, когда положение изменится к лучшему, будет невозможно, так как русская армия этого не пожелает. Я ответил ему, что я в этом не уверен, но сейчас, во всяком случае, не в моей силе изменить моральное состояние, вызванное рядом фактов и особенно тем враждебным отношением, которое проявляется со стороны омского правительства, и которое чехи заметно чувствуют.

Затем Сукин перешел к разговору об отправке на фронт отряда добровольцев. Я ответил, что на это необходимо прежде всего получить разрешение чехословацкого правительства. Я во всяком случае полагаю, что, в виду морального упадка, число таких добровольцев будет мало. Кроме того, я нахожу, что после недавней встряски крайне неблагоприятно извлекать лучшие элементы из частей, нуждающихся в переформировании.

Затем Сукин завел разговор о беспорядках, которые неминуемо вспыхнут зимой, а потому считает необходимым разоружить чехов.

Я очень сухо остановил его, заявив, что этот вопрос я даже не могу подвергать обсуждению. Я послан сюда, чтобы командовать этой армией, а не разоружать ее. Я считаю своим долгом предупредить, что всякая попытка в этом направлении приведет к взрыву, и омское правительство тогда опрокинется.

\* Гражданский комиссар чехо-словацкой армии.

\*\* Чехо-словацкий генерал.



Что касается беспорядков, которых он опасался, то я уверен, что их можно избежать, если только вопрос об отправке морем будет урегулирован и отправка будет производиться методически. Солдаты вполне сознают, что ускоренная отправка всех невозможна. В конце концов постепенный отъезд чехов выгоден и для русских, ибо последним понадобится ведь время для замещения войск, охраняющих Сибирскую магистраль, а к этому не сделали еще никаких приготовлений, несмотря на настояния генерала Михайлова и мои. Если они надеются на присылку войск американцами или японцами, то эти последние тоже ведь не сразу придут. Я счел необходимым напомнить Сукину, что если б в центральной Сибири не было чехов, то вся Сибирь была бы охвачена восстанием, Сибирская магистраль оказалась бы отрезанной и мы не вели бы сейчас переговоры в Омске. Сукин заметил, что ставка держится другого мнения и считает, что в этом отношении чехи — плохая поддержка.

Я возразил без особенной, должен сознаться, любезности, что компетентность, обнаруженная ставкой в военном деле на Урале и других местах, избавляет меня от обязанности считаться с ее мнением. Генерал Розанов, во всяком случае, приходил горячо благодарить меня за услуги, оказанные чехами.

Тогда Сукин сказал мне, что законопроекты, подготовлявшиеся к опубликованию и благоприятствующие чехо-словакам в отношении концессий заводов, земли и пр., утратили свой смысл. Это дело омского правительства, — отвечал я. Знаю одно, что не в моих силах изменить положение, вытекающее из фактов.

Затем был поднят вопрос о поляках, которых адмирал, Сукин и ряд других лиц обвиняют во всех грехах Израиля. Действительно, поляки имеют недостатки, но кто их не имеет? Сейчас поляки охраняют один из секторов Сибирской магистрали, посылают даже экспедиции на север и на юг от железнодорожного пути. Они твердой рукой справились с большевистской агитацией в своей среде. Я напоминаю все это Сукину. Он указывает, что следует отправить их на фронт. Они, конечно, пошли бы вслед за чехами, — отвечал я, — но в настоящее время я вообще не знаю, пойдут ли и они или нет. Для этого нужно распоряжение их правительства. Он заявляет мне тогда, что если они не пойдут, то их придется разоружить: адмирал находит это абсолютно необходимым. Я отвечаю, что это недостаточная причина.

Говорили также о сербах — вопрос нетрудный — и о румынах, относительно которых я восстановил истину: неоспоримо то, что сейчас они держатся хорошо.

Далее пошла дискуссия о политике. Я заявил ему, что благоразумно было бы дать некоторые свободы, прекратить полицейские преследования и восстановить священный союз. Правительство решило, — ответил он, — идти к цели, не взирая на все препятствия; народ послушен и нужно только энергично взять его в руки; единственное правительство, которое нужно России, — это монархия. Очень возможно, сказал я, «не сомневаюсь, но эта монархия умерла ведь, а Сибирь другого закала; речь же идет как раз о Сибири, об этом, как видно, совсем не думают».

Он также горько жаловался на союзников, на англичан, которые снабдили Деникина старыми вещами и старым материалом, а их — устаревшими пушками. Поспешный уход англичан из Екатеринбурга произвел потрясающее впечатление.

Наконец, он заговорил о прибытии Морриса, посланника американцев, от которых он, кажется, ждет помощи. Ветер, очевидно, повернул в сторону последних.



В течение нашего долгого разговора, я чувствовал себя временами очень натянутым: это бессознательное высокомерие выводило меня из себя. Эти люди забывают, по-видимому, что без чехов и меня они давно уже не существовали бы.

5 июля. Три русских офицера, вернувшихся из Константинополя, рассказывают мне массу интересных, но печальных фактов. Неприятные вести из Одессы, где русским комендантом города был назначен Гришин-Алмазов, каналья, готовый на все, что угодно. Кровавая реакция в Одессе и Киеве, с расстрелами под сурдинку. Все это вызвало общее недовольство и те люди, которые сначала приветствовали нас, теперь стали большевиками. Конфликт между Деникиным и генералом Франше д'Эспере\*. Они полагают, что можно было использовать людей Петлюры для формирования войск против нас. Там, как и здесь, все было использовано нашими врагами и нашим союзниками. Франкофобское настроение в армии Деникина. «Французские кепи на юге России вызывают недоброжелательное отношение», — сказал один из них. Эти слова приписываются не Деникину, который не слишком много занимается политикой, а Лукомскому, Драгомирову и Романовскому\*\*. Это, разумеется, осложняется германофильством. Они рассказывают о пребывании в течение нескольких дней в Екатеринбургe высокого представителя главного немецкого штаба.

В общем та же картина, что и здесь. Реакционные идеи, злоба. Мы выбрались из каши после того, как нам изменили русские, а они сами остались в ней сидеть. Наконец, восхищение немцами, которые их разбили: «Мой испуганный дух дрожит перед твоим». Я давно, еще в России, говорил, что за исключением отдельных лиц, из которых многих, как, например, бедного Николая II, нет уже в живых, все русские — неблагоприятные создания.

6 июля. Я послал на восток длинную телеграмму.

Вот ее содержание: «Один английский консул сказал мне 25 февраля, повторяя слова одного из своих коллег на Урале, что в Сибири называют большевиками всех тех, кто в большей или меньшей степени не разделяет правительственных взглядов, таких, которые их разделяют, немного». Это бесконечно близко к правде. Я не мог этого констатировать в течение моего пути. Я уже говорил об адмирале, и о том, что думают о нем в стране. Его самостоятельная работа довольно слаба; фактически им руководят и отводят глаза. Его среда в настоящий момент подозрительна. Вокруг него вертятся женщины, связанные с людьми, находящимися под подозрением в шпионаже, германофильстве и антисоюзных поступках.

Итак, я резюмирую то, что сказал: давление оказывает на правительство группа министров во главе с Михайловым, Гинсом, Тельбергом; эта группа служит ширмой для синдиката, спекулянтов и финансистов; отставка министра продовольствия, благодаря поддержке этой группы, и, наконец, хищение в государственном банке. Этот синдикат имеет чисто реакционную и анти-революционную тенденцию. В нем, как и среди офицеров, наряду с искренними монархистами или людьми, озлобленными потерями и страданиями, причиненными революцией, встречаются также барышники и даже бывшие большевики, которые хотят искупить свою вину.

Коснемся области иностранной политики. Влиятельные лица этого синдиката придерживаются чисто германофильских тенденций. Германофильство за-

\* Французский генерал, командовавший союзными войсками на южном фронте в период деникинщины.

\*\* Генералы — соратники Деникина.

метно также у ряда офицеров, в частности среди офицеров в главном штабе армии, где оно все растет. Известие о подписании Германией мира, указывавшее на ее поражение, вызвало среди лиц упомянутой категории удивление, смешанное с глубоким сожалением. Приходится отметить и враждебное отношение к иностранным легионам, заметно также отрицательное отношение к Антанте, которую подозревают в сочувствии революции. Итогом всего этого является общее положение. Административные расправы, произвол и зверства полиции вызывают в стране большое озлобление, усугубляющееся тем, что со времен царизма Сибирь вообще держалась левых взглядов. Адмирал, которому я указал на многочисленность заключенных, томящихся без суда, ответил мне: «Я повторяю министрам, что из ста задержанных нужно, без сомнения, расстрелять десятерых, но зато девяносто немедленно же отпустить». Я констатировал в Екатеринбурге и Иркутске факты, по поводу которых эсеры, добиваясь моего покровительства, заявляли: «Этого не творилось даже во времена монархии».

Этими внутренними беспорядками объясняются и поражения армии. Все это ни в коем случае не расчищает места для необходимого священного союза. Отношения обеих сторон обостряются. Поражения на фронте увеличивают оппозицию передовых партий.

12 июля. Вечером приходил Гайда просить моей визы на чехо-словацком паспорте и поддержки. Он имел бурное объяснение с русскими, которые хотели расформировать его поезд, и приготовился даже к защите вооруженным путем. Дело уладилось, благодаря многочисленным хлопотам генерала Бурлина. Это было мелочно после всего того, что Гайда сделал для Сибири и самого адмирала. Он обменялся с последним (я в этом убедился из других источников) речами, лишенными всякой учтивости.

Адмирал упрекал его в демократических тенденциях, в оказании покровительства социалистам-революционерам, в наличии в его армии и главном штабе офицеров прогрессивных убеждений. Гайда ответил, что он считает опасным иметь реакционную ориентацию, что обещания, данные Сибири, не были сдержаны, отсюда шло все зло и это становилось опасным. Колчак обвинял его в отсутствии военных знаний. Гайда отвечал, что сам адмирал не может ни в малейшей степени претендовать на такие знания, так как ему довелось командовать только тремя кораблями в Черном море. На угрозу, что он отправит его в военный совет, Гайда ответил, что он чех и не подчиняется ему. Гайда просит у меня покровительства и поддержки чехо-словацких войск, если таковая понадобится: он, кажется, боится, что его арестуют. Я говорю ему, что он вполне может рассчитывать на мою поддержку, тем более, что теперь, когда он более не состоит на службе у русских, они не имеют на него никаких прав.

14 июля. Национальный праздник. Чехо-словацкий полк захотел участвовать в смотре, устроенном французской авиационной группой. Я завтракал с полковником и несколькими из его офицеров. «В этом полку мало желающих идти на фронт», — говорит он нам. «Добровольцев будет немного, да и они не окажутся способными к длительному моральному сопротивлению».

Фронт разрушается все более и более. Симптоматичными являются чрезвычайно частые убийства офицеров. Полковник хочет остановить батальон, переходящий полностью, с офицером во главе, к неприятелю; офицер осаживает его выстрелом из револьвера. В стороне Троицка, в первой Яицкой пехотной дивизии (там, где латышский полковник Гоппер), три полка, сформированные



из солдат армии, сражавшейся в Румынии, перешли к неприятелю; из них один баталион полностью.

29-го июля. Вчера прибыл генерал Нокс. Мне пришлось оказать ему содействие, так как начальник польского легиона отказался пропустить его поезд и даже велел ему убраться прочь. Его душа озлоблена. Он сообщает мне грустные факты о русских. 200 000 комплектов обмундирования, которыми он их снабдил, были проданы за бесценок и частью попали к красным. Он считает совершенно бесполезным снабжать их чем бы то ни было. Я говорю ему, что понимаю его огорчения, так как на его совести лежит вина в возвышении Колчака. Я завел речь об операции на Архангельск, сторонником которой он был, и указал, что невозможность ее выполнения ясна теперь, когда взорваны мосты через Каму; коснулся затем операции на Царицын, и передал весьма благоприятный ответ Сырового.

Телеграмма, полученная из Европы, сообщает, что после эвакуации чехов предполагается уменьшить состав миссии и вернуть французские войска. Уф! Это облегчает мне составление, подготавливаемое мною, телеграммы о моем намерении уехать отсюда, как только эвакуируется большинство чехов. Я ответил, что в момент получения телеграммы собирался было телеграфировать о настроении большинства наших солдат со здешними людьми, в частности с командным составом, установились столь натянутые отношения, что вызвали к ним отвращение достаточно сильное, чтобы вылиться в ряд затруднений. Я излагал еще общее положение, которое было причиной... Наши солдаты славно дрались, когда они были этой зимой на фронте и при наступлении красных «последними» ушли из Екатеринбурга. Но я убежден, что теперь они охотнее пойдут за нами против этого правительства, но не согласятся сотрудничать с ним где бы это ни было: в тылу или на фронте.

2 августа. Сегодня утром, на квартире Нокса, Родзянко\* высказал мне соображения не менее жесткие, чем мои. Здесь — сказал он — нет «джентельменов». Он с негодованием рассказывает историю батальона, отправленного на днях из Томска на фронт для подкрепления. В Омске солдаты отказались добровольно идти на фронт, требуя припасов, так как долгое время находились без пищи. На глазах возмущенного Гемпширского полка солдаты были разоружены и над ними учинена расправа. Днем в приказе генерала Матковского было изложено все происшедшее и в заключение сказано: «Расстреляно двадцать. Бог еще с нами! Ура...»

8 августа. Вчера вечером отбыл в Омск. Мой конвой состоит на этот раз из батальона 6-го чешского полка, прозванного «большевистским» за волнения, которые в нем происходили. До сих пор к его услугам не прибегали: он протестовал.

Линия забита до половины пути между Омском и Петропавловском; дальше она довольно свободна. Встретил множество поездов, тащащих самые несуразные вещи. Грязные солдаты, здоровые и раненые в левую руку, беженцы в теплушках, по-видимому, уже давно в них живущие. Некоторые имеют на крыше запас дров, убогие пожитки. Другие вагоны везут в беспорядке сваленную амуницию, материал, бесформенные обломки, куски чугуна, сломанные телеги, старые колеса и пр. пустые платформы и вагоны. Испорченные паровозы... Край спокоен и пустынен.

\* Русский полковник на английской службе.

В 19 часов прибыл в Курган, который был эвакуирован постепенно. Оставил маленький французский авиационный отряд, прибывший передать авиационные аппараты и показать, как ими нужно пользоваться. Мои «друзья» Франки имеют команду в Таре за сотни верст от Омска и забавляются операциями над местными большевиками-партизанами. Командование войсками находится в руках женщины...

16 августа. Д. пришел переговорить со мной по вопросу об аресте полковника Крежчи (командующего чешской дивизией в Томске) в связи с его приказом об охране железной дороги. Я еще не записал эту историю. Крежчи, охраняющий целостность Сибирской магистрали в порученном ему секторе, давно уже издал приказ, возлагающий ответственность на население в тех случаях, когда оно не препятствовало попыткам разрушения пути или же не доносило о них. После издания приказа никаких происшествий не было. Деревни сами просили, чтобы им выдали оружие, дабы лучше нести охрану. Узнав об этом приказе, русские власти удивились. Министр Тельберг сообщил мне, что «Межсоюзный Комитет»\* (это учреждение, которое не остается без работы, благодаря совершающимся везде зверствам) отменил приказ и уведомил об этом Крежчи.

Я ответил через министерство иностранных дел, что Крежчи подчиняется мне, а не им, что отмена приказа поэтому недействительна, о чем я и извещу полковника. Тогда они попросили меня, чтобы я сам отменил приказ. Мне не хотелось отвечать им о резкости атамана. Эти люди, — так предполагал Пуаро\*\*, — мнительный лотарингец, — расставляют мне ловушку. С другой стороны, я не люблю действовать механически. Чехи хорошо относятся к населению, а охрана Сибирской магистрали является для них непосильной задачей. Я спросил Крежчи, сможет ли он обойтись без приказа, на что получил отрицательный ответ.

Тогда я сказал русским, что 6 марта генерал Розанов издал в Красноярске приказ, гласящий, что за всякое нападение на железнодорожный путь ответственность будет возлагаться на политических заключенных, содержащихся в городских тюрьмах, и известное число их будет повешено. Я добавил, что приказ этот был приведен в исполнение, очень нашумел в области, а потому прежде, чем отменить приказ Крежчи, я должен знать, отменен ли приказ Розанова, дабы иметь возможность вырвать из рук чехов всякое моральное обоснование. Сукин ответил, что приказ отменен. Я готов был поручиться головой, что этой отмены не было и, поэтому, потребовал даты, справки, подтверждения, чтобы я смог сослаться в моем приказе. На этом дело и заглохло... Крежчи, во всяком случае, никого не повесил...

7 ноября. В полдень видел адмирала. Я докладываю ему в нескольких словах о моем отъезде из Новониколаевска. Генерал Сахаров, впрочем, уже сообщил ему об этом. Он говорит мне, что правительство и он намереваются незамедлительно уехать в Иркутск. Нужно ли было дать отставку генералу Дитерихсу, чтобы теперь сделать то, что тот раньше считал необходимым? Беседа тянется.

Он похудел, подурнел, взгляд угрюм и весь он, как кажется, находится в состоянии крайнего нервного напряжения. Он спазмодически прерывает речь.

\* Забота о транспорте и охрана Сибирских железных дорог была декларацией от 14 марта порученной т. н. «Междусоюзному комитету», в состав которого входили представители от всех союзных держав, а также от колчаковского правительства. Прим. ред. (1927 г.)

\*\* Офицер французской миссии.



Слегка вытянув шею, откидывает голову назад и в таком положении застывает, закрыв глаза. Не справедливы ли подозрения о морфинизме? Во всяком случае, он очень возбужден в течение нескольких дней. В воскресенье как мне рассказывают, он разбил за столом четыре стакана.

8—12 ноября. Сибирь погибла теперь. Какие только попытки мы не предприняли для того, чтобы удержаться, но все они рухнули. У англичан, действительно несчастливая рука: это сказалось на Колчаке, которого они поставили у власти, как сказалось и на свергнутом ими Николае II. Не будь этого, не знаю, удалось ли бы нам одолеть большевизм в России, но я убежден, что удалось бы спасти и организовать Сибирь. Народный порыв не был бы задушен жестокой реакцией, которая всех возмущала и которая ослабляла чехов, заглушая у них всякое желание сотрудничества.

Несмотря на то, что в своих действиях я руководился полученными мною инструкциями, все же чувствую угрызение совести за то, что даже косвенно поддерживал это правительство. Я видел его ошибки и преступления, я предвидел падение и тем не менее избегал мысли о его свержении, а это можно было бы сделать. Драгомиров прав: «Солдат должен уметь не повиноваться...»

25 ноября. Вот текст чехо-словацкого меморандума, расклеенного на вокзалах. Я уже давно говорил то же самое, но сейчас опасаясь, как бы этот меморандум не послужил помехой для нашего размещения на Дальнем Востоке. Текст меморандума: «Невыносимое состояние, в каком находится наша армия, вынуждает нас обратиться к союзным державам с просьбой о совете, каким образом чехо-словацкая армия могла бы обеспечить собственную безопасность и свободное возвращение на родину, вопрос о чем разрешен с согласия всех союзных держав.

Войско наше согласно было охранять магистраль и пути сообщения в определенном ему районе и задачу эту исполняло вполне добросовестно.



«Ново-Николаевск, 1918 г. Чехословаки, которые разогнали местный Совет» (надпись на обороте фотографии). Собрание С. А. Савченко (Новосибирск)





В настоящий момент пребывание нашего войска на магистрали и охрана ее становятся невозможными просто по причине бесцельности, равно как и вследствие самых элементарных требований справедливости и гуманности. Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось.

Под защитой чехо-словацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии, по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление, и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию.

Такая наша пассивность является прямым следствием принципа нашего нейтралитета и невмешательства во внутренние русские дела и она-то есть причина того, что мы, соблюдая полную лояльность, против воли своей становимся соучастниками преступлений. Извещая об этом представителей союзных держав, мы считаем необходимым, чтобы они всеми средствами постарались довести до всеобщего сведения народов всего мира, в каком морально-трагическом положении очутилась чехо-словацкая армия и каковы причины этого.

Мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой из этой страны, которая была поручена нашей охране, и в том, чтобы до осуществления этого возвращения нам была предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправия и преступлений, с какой бы стороны они ни исходили.

13 ноября 1919 г. Иркутск.

Б. Павлу, д-р Гирса».

26 ноября. Остановились в полдень в Канске. Командир 9-го чехо-словацкого полка подтверждает нам то, что говорил красноярский губернатор и Марковский, но возлагает большую часть ответственности на последнего и на Орлова, командующего русскими войсками. Казаки Красильникова грабят все до женской одежды включительно, которую они продают на рынке. Выведенные из себя крестьяне обольшевизировались, несмотря на то, что единственной мыслью их было оставаться в покое и не драться.

27 ноября. Так же, как и вчера, медленное продвижение через тайгу. В Тайшете — чувство облегчения. Кадлец в разговоре об экспедиции против банды в 500 или 600 человек заметил, что теперь край почти спокоен. Тем не менее движение здесь также производится под конвоем блиндированного поезда.

28 ноября. Прибыли днем в Зиму, центр зоны 4-го чехо-словацкого полка. Крутил говорит, что в полку порядок более или менее восстановлен. Он проявляет мало сочувствия к русским гражданским и военным властям. Павлу уехал уже в Европу, прождав меня так долго, как только мог.

29 ноября. Поздним утром прибыли в Иркутск. Долго совещался с Сыровым и Гирса, совещались до завтрака и после него. В политическом отношении город в сильном волнении. Население настроено против Колчака. Власть правительства колеблется. Много эсеров и они имеют влияние. Иркутская дума отказалась участвовать в праздновании чехо-словаками праздника независимости 28 октября, в виду той косвенной поддержки, которую чехо-словаки оказывали омскому правительству, а также потому, что чехо-словацкое правительство «не

достаточно социалистическое». Меморандум оправдывается возбуждением, произведенным среди чехо-словацких солдат поступками и действиями местных властей. Благодаря меморандуму, солдаты совершенно подтянулись в моральном отношении. Зато он произвел чрезвычайное впечатление на русских и иностранцев. Все думали, что чехо-словацкие части готовят выступление против адмирала и его правительства.

Прибыв сюда, министерство пало самой собой. Пепеляеву, министру внутренних дел, было поручено адмиралом создать новое министерство. Пепеляев требует права ликвидировать предыдущее, предать его членов суду, провести некоторых военных в военный совет, выбрать министров либеральных убеждений, созвать земский собор, наконец, жить в добром согласии с чехо-словаками. Переговоры с адмиралом продолжаются уже четыре дня. Пепеляев отправится к нему в 11 часов, чтобы окончательно вырешить этот вопрос. Он обратился к Дитерихсу, которому не доверяет. Новыми министрами называют: Третьякова и финансов — Бурьшкина.

Адмирал ответил на чехо-словацкий меморандум не менее резкими телеграммами, из которых одна послана представителям союзников, — а другая — председателю совета министров. В этой последней он предписывал срочно телеграфировать Сазонову, чтобы тот потребовал у чехо-словацкого правительства «присылки лиц, умеющих себя вести прилично». Получив эту телеграмму, министр Пепеляев пошел вести с Колчаком переговоры по телеграфу (я получил через два дня подробный отчет). Пепеляев категорически заявил адмиралу: «Совет министров в сомнении, что они (телеграммы) действительно вами подписаны. Прошу вас мне эго подтвердить». Получив утвердительный ответ, Пепеляев ответил: «Необходимость требует, чтобы они немедленно были вычеркнуты из списков. Здесь положение критическое, если конфликт немедленно не будет улажен, — неминуем переворот. Симпатии на стороне чехов. Общественность требует перемены правительства. Настроение напряженное. Ваш приезд в Иркутск пока крайне нежелателен. Я слагаю с себя всякую ответственность». Адмирал ответил: «Я возрождаю Россию и, в противном случае, не остановлюсь ни перед чем, чтобы силой усмирить чехов, наших военно-пленных». Пепеляев просил отставку, адмирал ее не принял...

*Иркутск. 11 декабря.* Уильтон\* приехал с генералом Дитерихсом и приходил беседовать вчера и сегодня. Мы согласны в том, что адмирал одержим манией величия и наивным лукавством умопомешанного. Известно, что он вел по прямому проводу переговоры с Семеновым, побуждая его двинуться сюда, чтобы повесить министров, обещая ему даже часть вагонов с золотом, которые он за собой тащит. Уильтон говорит, что он напомнил генералу Сахарову реплику, которую в 1917 году на конгрессе в Москве Сахаров бросил по адресу одного революционера, а именно: «У них в кармане немецкие марки». Сахаров, немного смущенный, ответил Уильтону: «Можно изменить мнение»\*\*.

Новая телеграмма от генерала Заанкевича, который требует чехо-словацких офицеров для охраны поездов адмирала.

Любопытный случай. Сегодня доктор Марлан, наш врач, оказал медицинскую помощь чехо-словаку, у которого роговая оболочка глаза оказалась ра-

\* Английский журналист, корреспондент «Таймс».

\*\* Сахаров был главнокомандующим колчаковских армий. Напоминанием этой реплики Уильтон желал уязвить Сахарова, который, как утверждают, не прочь был использовать военно-пленных немцев для борьбы со строптивыми чехо-словаками. **Прим. ред.** (1927 г.)

неной куском замерзших испражнений: ранение произошло во время очистки киркой нескольких колес нашего поезда, покрывшихся настоящим щитом подобного засорения.

*12 декабря.* Прибыл генерал Лохвицкий, чтобы подготовить приезд Колчака. Он просил освободить его от обязанностей, как только был назначен Сахаров, и горько жалуется на бахвальство этого последнего: под Челябинском он дал изрубить ни за что ни про что две дивизии, в Кургане он претендовал на уничтожение 25-й большевистской дивизии, тогда как эта дивизия стояла тогда под Москвой.

Генерал Дитерихс и его жена пришли благодарить меня за помощь, которую, благодаря мне, оказали им чехо-словаки. 8-го, когда адмирал телеграфировал, что снова вручает ему главное командование, Дитерихс поставил абсолютным условием: немедленный отъезд адмирала в армию Деникина. Дитерихс открыто говорит, что у адмирала прогрессивный паралич. Министры подтверждают это на основании диагноза врачей. В Новониколаевске к нему явились представители кооперативных организаций и группы в количестве 250 почтенных граждан: они хотели предложить ему 40 000 добровольцев и 300 миллионов рублей.

Он их... ничего не смогли сказать и ушли.

Адмирал требует у меня для свободного продвижения чехо-словацких офицеров, и в то же время посылает... ядовитые телеграммы с жалобами на них.

*14 декабря.* Сыровой, прибывший ночью, рисует мне картину опустошения. Между Мариинском и Красноярском дезертировали почти все железнодорожники. Немногие оставшиеся саботируют: семафоры закрыты, вокзалы пусты. В Боготольском депо 30 пустых или замороженных паровозов и футлярда на рельсах. Для приведения всего в порядок они оставили там чешских железнодорожников. Беспорядок чрезвычайный. Три паровоза, отправленные из Боготола в Мариинск, исчезли. Угля не хватает. Транспорт, отправленный из черемховских копей, захвачен в дороге. Необходимо организовать транспорт и его конвоировать, а одновременно с этим усилить производство: жалованье рабочим не выплачено за три месяца... Колчака, который, как ему говорили, находится в полусумасшедшем состоянии, он не видел. Окружающие его люди ищут утешения в вине (и ему пришлось «посадить» некоторых из них). Пропустить его рискованно в связи с настроением войск...

*24 декабря.* Адмирал, кажется, назначил Семенова главнокомандующим на западе от Байкала и в Иркутске. Нижнеудинск охвачен восстанием, сегодня ночью ожидают восстание здесь. После обеда два японских офицера известили нас о восстании в городе. Лучший здешний 53-й полк, обученный английскими офицерами, перешел на сторону социалистов-революционеров и занимает вокзал и предместье. На станции спокойно. Чешский бронированный поезд «Орлик» несет охрану. Несколько чешских отрядов послано для подкрепления охраны на берегу Байкала.

В час дня влетает, как вихрь, Лохвицкий в сопровождении адмирала Смирнова. Беспokoясь за адмирала Колчака, который может прибыть сюда в разгар восстания, Лохвицкий просит предупредить его об этом и остановить его поезд. Это сложная вещь, так как сноситься можно только через чешских телеграфистов. Он опасается также, что Колчак будет оскорблен, опасение, которое не может не быть принято во внимание. Телеграмма, составленная Лохвицким, передается от его имени командующему чешскими войсками в Нижнеудинске, а я прошу командующего сделать все возможное, чтобы защитить адмирала.



Лохвицкий и Смирнов садятся в мой поезд. Нарышкин, мой товарищ по русской военной академии, тот самый, который хотел «саботировать», если мне будет вверено главнокомандование над русскими, также просит приюта, снимает оружие и просит, чтобы послали за двумя чемоданами к генералу Кандшину, так как он сам не осмеливается это сделать...

23 января 1920 г. Получен ряд телеграмм по поводу Колчака. Есть от верховных комиссаров, переданные через Фукуду, есть от Будберга и моего старого друга Лохвицкого. Эти два сановника, мирно проживающие во Владивостоке или в Харбине, откуда они заботливо следят за судьбой адмирала, высказывают трогательное негодование при мысли, что я не повел ради него на смерть чехов.

Буксеншуд<sup>\*</sup> составляет им ответ в немногих суровых словах, напоминая, что если они хотят защищать Колчака, то следовало бы стоять немного поближе, а не у конца телеграфного провода. Что касается верховных комиссаров, то свою информацию, посланную вчера, я дополняю новой телеграммой, текст которой негодующий, злой, ибо они в самом деле слишком злоупотребляют моим терпением. Единственным их делом было в Иркутске — требовать паровозов у Скипетрова<sup>\*\*</sup> и, получив их, уехать. Я уверен, что поступили так не из трусости, а просто потому, что уж очень надоела эта грустная история. Несмотря на мои настояния, они не предприняли никаких шагов перед обеими сторонами: ни в отношении охраны золота, ни в отношении безопасности адмирала. Они не смогли даже добиться у него отречения в такой форме, которой можно было бы поверить, ни даже вовремя побеспокоиться о заложниках, судьба которых определила его участь, как я об этом предупреждал. Обещав добиться активного содействия Семенова, они ограничились благосклонной передачей лживых заверений этого вождя банды убийц. В настоящее время мы посреди врагов: на японцев нельзя рассчитывать, а Семенов занял угрожающую позицию. Чехи отражают на протяжении 2000 километров атаки красных, которые заставили сдать поляков; арьергард дерется в трудных условиях, не хватает ни паровозов, ни угля. Вокруг Байкальского озера резня шла вовсю, тридцать один заложник были сброшены в воду. Банды Семенова продолжают убивать и грабить.

Обо всем этом господа комиссары не заботятся. Их тревожит только то, что я, о чем они были предупреждены мною, не нарушил данных мне инструкций и не рискнул подвергнуть разгрому чехо-словацкую армию в честь того, кто, погубив Сибирь, предписал взорвать туннели, чтобы, таким образом, обеспечить также гибель и чехо-словацкой армии. Что лучше всего, так это удивление японского верховного комиссара, не добившегося у меня повинения, в котором ему, между прочим, отказала его собственная миссия.

Пусть они, по крайней мере узнают теперь, что я о них думаю. Вспомнить только Николая II и его семью. Они не интриговали с бошами и, тем не менее, для их спасения ничего не было сделано. Посланники отрицательно отнеслись к нашим попыткам спасти их в Могилеве.

\* \* \*

«Отрывки из сибирского дневника» Жанена выявили небольшое, но не лишнее интереса возражение со стороны Нокса. Это возражение опубликовано в журнале «Славянское Обозрение» (мартовская книжка за 1925 г.), который

\* Начальник главного штаба Жанена.

\*\* Генерал Семеновской армии.

издается в Лондоне на английском языке. Вот дословный перевод этого возражения:

«“Славянский Мир” печатает в своем декабрьском номере за 1924 год отрывки из сибирского дневника генерала Жанена, стоявшего во главе французской военной миссии в Сибири в 1918—1919 г. Первоначальной мыслью было — поручить генералу Жанену командование над всеми войсками в Сибири — русскими и союзными. Между тем, — и это вполне естественно, — с самого же начала не было малейшей надежды, чтобы русские, начавшие войну за освобождение своей собственной территории, согласились поставить во главе своих армий иностранца. Их категорический отказ от этого предложения задел, как это видно из каждой строки отрывков, самолюбие генерала.

В Сибири, по-видимому, все оказались виновны в последовавшем разгроме, все, кроме самого генерала Жанена. Отрывок из его дневника от 12 ноября 1919 г. особенно это подчеркивает. Он пишет, что англичане, поставившие Колчака у власти, были столь же дальновидны, как и в деле свержения Николая II. «Не будь этого, не знаю удалось ли бы нам одолеть большевизм в России, но я убежден, что удалось бы спасти и организовать Сибирь». Прежде всего укажем на то, что переворот, который поставил Колчака у власти еще до приезда генерала Жанена в Сибирь, был совершен сибирским правительством без ведома и всякого содействия Великобритании.

Обвинение Англии в свержении покойного императора ничто иное, как немецкая выдумка, в которой нет и тени правды, а генерал Жанен, разумеется, должен это знать. Заключительная трагедия в Сибири была подготовлена многими факторами. Одним из них, достойным упоминания, но, разумеется, опущенным автором дневника, является тот факт, что французский генерал оказался неспособен надлежащим образом дисциплинировать контингенты союзных войск, находящихся под его командованием.

Альфред Нокс».

\* \* \*

Возражение Нокса вызвало со стороны Жанена следующий ответ:

«Генерал Нокс почтил отрывки моих записей о Сибири, напечатанных моим другом Легра в последнем декабрьском номере, своим ответом и поправками. По его мнению, мое самолюбие было уязвлено тем, что русские отказались вручить мне командование над их национальными контингентами. Возможно, что на моем месте он бы счел себя бесконечно оскорбленным таким положением, так как в глубине души он недолюбливал русских и, кроме того, был лишен редкого случая проявить свои военные способности. Что касается меня, то я могу подтвердить ему — и он это сам прекрасно знает, так как мы неоднократно беседовали друг с другом во Владивостоке во время чтения параллельных телеграмм, полученных нами из Лондона и Парижа, — что я никогда не желал получить подобного командования. Давно уже будучи знаком с национальной гордостью русских, я всегда полагал и заявлял — и телеграфировал даже во время моего путешествия из Франции в Сибирь, — что единственным благоразумным решением было бы оставить русские войска под командованием кого-либо из их соотечественников. Помимо этого, после нескольких дней, проведенных в Омске и при объезде фронта, я обратил внимание на общий беспорядок и моральную и материальную непрочность военного сибирского организма. Я заявлял и телеграфировал, что буду глубоко удивлен, если все это приведет когда-нибудь





к удовлетворительным результатам, и что я считаю опасным для французского престижа брать непосредственное командование над таким червивым организмом. Гордость и корыстолюбие повлекут к измене как верхи, так и низы, а затем на нас же обрушат всю ответственность за возможные неудачи.

Если я оспаривал вопрос о высшем командовании, то исключительно сообщаясь только с повторными распоряжениями, полученными из Парижа по согласованию с Лондоном, из двух мест, где, по-видимому, не были осведомлены о положении.

Покончив с этим пунктом, позволю себе сказать генералу Ноксу, что у него, наверное, очень короткая память, если он не помнит, что он был замешан в интриги, которые закончились переворотом Колчака. Речь ни в коем случае не идет о «содействии Великобритании», а единственно только об инициативе, взятой на себя некоторыми ее агентами, инициативе, которую они отрицают и сейчас в виду ее плачевных результатов. По-видимому, английский генерал не помнит больше смотра, который состоялся 10 ноября 1918 г. в Екатеринбурге, смотра, на котором дефилировал батальон английского миддлсекского полка, который служил адмиралу Колчаку с самого Владивостока в качестве преторианской стражи.

Тогда меня не было еще в Сибири, но французские офицеры, которые мне предшествовали, а также чехи и затем многие русские свидетели этих памятных дней, должны помнить позицию, которую занимали в этот день английские солдаты и их командующий подполковник Уорд, депутат парламента, член рабочей партии. Последнему, без сомнения, будет неприятно, если английские избиратели узнают, как он поддерживал в Сибири диктатора, так же мало достойного внимания, как и диктаторы красные, — но история есть история, и правда, не знает лукавства и околичностей. Добавлю, что генерал Нокс, несомненно, был в курсе заговора, замышляемого Колчаком хотя бы через своего офицера связи Стевени, который присутствовал даже на тайном собрании заговорщиков, где было принято решение привести заговор в исполнение. Стевени не делал из этого тайны и когда позднее, во время отступления, я спрашивал его в числе многих других союзников и русских, не испытывает ли он некоторого сожаления о содействии возвышению Колчака, которому мы обязаны таким разгромом, он ограничился молчанием. Мне кажется, что, страдая недостатком памяти, генерал Нокс ввел в заблуждение читателей “Славянского Обозрения”.

Остается последний аргумент, стрела Парфянина, инсинуация английского генерала, согласно которой войска, которыми я командовал, не были взяты мною как следует в руки и оказались, благодаря своей недисциплинированности, одной из причин заключительной трагедии. Я имел под своим командованием только чехов и различные контингенты иностранцев. Эти последние вовсе не участвовали в боях после моего приезда, значит — дело идет об одних чехах. Английский генерал, без сомнения, повторяет слова своих русских друзей, окружавших Колчака. Да, я часто слышал, как повторяли ему и его близким, что чехи — преступники потому, что, очистив Сибирь от большевистских войск, они отказались продолжать сражаться за русских, которые предпочитали лучше веселиться в Омске, чем рисковать здоровьем и жизнью на больших дорогах и на фронте. В этом городе насчитывалось около 6000 уклонявшихся офицеров (59, например, служили в цензуре главного штаба). Это я, в согласии с их правительством, отозвал чехов с фронта, который они создали почти что одними своими силами и расположил их вдоль Сибирской магистрали. Они охраняли





ее более 8 месяцев, обеспечивая нормальную торговлю и самое существование колчаковского правительства, которое не чувствовало к ним ни малейшей благодарности за эту косвенную, но существенную помощь. Генерал Нокс сам обнаруживает некоторую неблагодарность, забыв это так быстро: без чехов его поезд не циркулировал бы в безопасности между Уралом и Байкалом во время его частых переездов по краю, хозяевами которого, вне зоны, занятой моими войсками, с лета 1919 г. фактически являлись повстанцы. В частности, если бы в момент окончательного отступления из Омска, к которому приближались красные, он так же, как и мы, медленно и последовательными этапами проделал бы это путешествие, вместо того, чтобы быстро укатить в Великому океану, то, наверное, почувствовал бы, что без охраны железной дороги ни одна из миссий не смогла бы вернуться на родину. Чехи, генерал Нокс может быть в этом уверен, послушались меня только один раз, когда 6-й полк, несмотря на вторичный приказ, отказался оставить ранее меня Омск, находящийся под угрозой.

Конечно, чехи чувствовали глубокое отвращение и омерзение к диктатору и режиму, установленному им в Сибири. Возможно, что положение улучшилось бы, если бы, вопреки хорошо известному отношению их правительства к Колчаку, — Массарик прозвал его самозванцем (авантюристом), — я поста-



Памятник чехословакам, погибшим во время Гражданской войны, 1919 г. Новониколаевск, Новое городское (Успенское) кладбище (ныне — парк «Березовая роща»).  
Собрание С. А. Савченко (Новосибирск)

рался бы расположить их к последнему. Но мне, командовавшему ими и отвечавшему за их честь и жизни, казалось преступным жертвовать пятидесятью тысячами храбрецов, истощенных войной и лишениями, ради удовольствия и выгоды пройдох, спекулянтов и грубых реакционеров, собравшихся в Омске и представлявших прежнюю Россию. Я выделяю самого Колчака, ответственность с которого снималась его нервным заболеванием. Впрочем, чувства, которые, как я сказал выше, воодушевляли чехов, разделялись всеми прозорливыми и свободномыслящими людьми, которые видели преступления, ложившиеся на ответственность омского правительства: длинный ряд убийств, который развертывался, начиная с уфимских учредителей в декабре 1918 г. до иркутских заложников, утопленных в Байкале в январе 1920 г.; бесстыдное взяточничество министров и их свиты; кражи интендантства и администрации, мотовство генералов, грабежи, жертвой которых являлось трепещущее население, полицейские зверства, возведенные в систему, и, наконец, преследование всех тех, кого подозревали в несочувствии правительству и которых причисляли по этой причине к большевикам. “Число тех, кто признает правительство, не велико”, — заметил мне иностранный консул летом 1919 г., — “и оно уменьшается с каждым днем”. “Во времена Николая II не творилось то, что творится сейчас”, — говорили мне социалисты-революционеры, которым я спас жизнь, и я отвечал им, что, очевидно, не стоило труда сменить правительство. Русский полковник Родзянко, за столом самого генерала Нокса, заявил мне, что в Омске «было слишком мало джентельменов» и что, будучи убежденным монархистом, он сидел в Сибири на крайней левой. Генерал Нокс и сам иногда выражал сочувствие таким мнениям, особенно, когда испытывал некоторое отвращение к своим обязанностям командующего тылом страны, у которой не было фронта: например, он видел, как русские войска новых формирований, обученные его стараниями, одетые в прекрасные английские мундиры, которые он им доставил и на которых еще не успели сменить пуговицы, показывали спину, как только их ссаживали с поезда, и переходили к красным.

Может быть, он не забыл пленарное собрание союзных миссий, состоявшееся 29 июля 1919 г. в министерстве иностранных дел в присутствии посла С<оединенных> Штатов, где, описав со справедливой жестокостью все, что творилось, он закончил перечислением всего снабжения и загубленного материала и добавил: если теперь я попрошу еще что-нибудь у моего правительства, пусть мне скажут, что я “отъявленный дурак”.

Мои офицеры признавались мне, что они против воли поддерживают такой режим, и один из них в моем присутствии сказал в посольстве С<оединенных> Штатов, что, принадлежал к семье, в которой приверженность к законной власти является наследственной, но, будь он сибиряк, то предпочел бы Колчаку большевиков. Я сам, ничем не способствовавший возвышению последнего, спрашивал себя не раз, не ложится ли и на меня ответственность за преступления, совершаемые ежедневно, в связи с той косвенной поддержкой, которая дала омскому правительству возможность существовать.

Мысль, что область моей деятельности стоит вне политики, не ослабляла угрызений совести, часто изливавшихся на страницах моего дневника. Я думаю, что, несмотря на плохую память, генерал Нокс должен испытывать еще более горькое угрызение совести.

М. Жанен».

## Гражданская война в Сибири

Иван СМИРНОВ

### ОТ КОЛЧАКОВЩИНЫ К СОВЕТАМ

*Переговоры с Политическим центром в январе 1920 года\**

*Иван Никитич Смирнов (1881—1936) — советский политический деятель. В годы Гражданской войны входил в Реввоенсовет 5-й армии, руководил большевистским подпольем Урала и Сибири. С августа 1919 г. по сентябрь 1921 г. — председатель Сибревкома (неофициально именовался «сибирским Лениным»). В дальнейшем находился на руководящей партийной и хозяйственной работе. 24 августа 1936 г. военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания и расстрелян на следующий день. Реабилитирован Пленумом Верховного Суда СССР 13 июля 1988 г.*

В историю нашей революции «Политический Центр» войдет кратким, но характерным эпизодом. Он явился реакцией интеллигенции на колчаковщину; стремлением вернуть революцию к ее исходным дням — марта 17 года — с идеей учредительного собрания и организации России, как буржуазно-демократического государства.

Политический Центр организовал восстание в Иркутске, увлек солдатскую массу, но власть в его руках была только семнадцать дней. На его краткой истории яснее всего сказалась невозможность вести длительную борьбу с внутренней реакцией и с интервенцией под любым знаменем, кроме советского. И с этой точки зрения, его история не потеряла злободневности и заслуживает внимательного изучения.

Политический Центр сложился, как блок соц<иалистов>-революционеров, меньшевиков и тех земцев, которые ближе всего стояли к правым эсерам. Он образовался и начал действовать значительно позднее ряда рабочих восстаний в городах и после широких крестьянских (партизанских) движений в Сибири. Опоры в массах у него не было. Единственная возможность подойти к крестьянским массам могла бы быть осуществлена через социалистов-революционеров. Они раньше имели связи с сибирским крестьянством. Они получили крестьянские голоса в учредит<ельное> собрание. Но год борьбы

---

\* Публикуется по: «Сибирские огни», 1927, № 5. Орфография и пунктуация большей частью сохранены.

против Советов деморализовал сибирскую организацию эсеров и дезавуировал их в глазах крестьян.

Из эсеровского восстания против Советов выросла колчаковщина, и теперь отличить последнюю от первого крестьянину было трудно.

Из книги Колосова — «Сибирь при Колчаке» — мы видим, что у отдельных деятелей Политического центра были попытки связаться с крестьянским движением и, таким образом, получить для себя настоящую базу — расчет не плохой! Эти попытки не увенчались успехом.

Очень знаменательно то обстоятельство, что и при нападении на Советы в 1918 году, и при нападении на колчаковщину, эсеры, — а им принадлежало большинство в Политическом центре, — искали и находили помощь у иноземной силы — чехо-словаков. Это еще более подчеркивает их беспочвенность в годы гражданской войны.

Центральным пунктом программы Политцентра была борьба с интервенцией. Этот лозунг был вообще популярен в то время в Сибири, особенно на востоке, где японская интервенция слишком обнажила свои истинные намерения и поползновения.

В переговорах с нами эта идея — борьба за независимость нашего государства — особенно подчеркивалась представителями Политцентра. Этот довод был главным, все остальное носило подчиненный характер.

Но и этот популярный лозунг не собрал вокруг Политцентра крестьянских масс, для которых в 1919—20 году национальная независимость и государственное единство воплощались только в Советах. Каждое крестьянское восстание созывало Совет, а когда складывалась вооруженная масса, — у них естественно создавался из этого Совета руководящий аппарат типа наших реввоенсоветов с политотделом. Советы в сознании крестьянских масс (а только на них, отнюдь не на рабочих, мог рассчитывать Политический центр) были естественной и единственной формой рабоче-крестьянского государства. Вот почему, помимо всех других причин, каждая попытка создать особую от Советов государственность на более или менее длительное время была заранее обречена на неудачу.

Сознание своей неустойчивости сказалось и в выступлениях тех представителей Политцентра, с которыми нам пришлось вести переговоры. В первых числах января 1920 г. Сибирский Революционный Комитет не имел еще точных сведений о том, что уже в конце декабря в Иркутске произошло восстание, что белые изгнаны и что образовалась новая власть, носящая название Политического центра. Мы знали хорошо, что отступающая армия Колчака разлагается, частично восстает (в Новониколаевске) и пытается договориться с авангардом Красной армии (в Красноярске), знали мы и о том, что чехо-словаки ищут с нами соглашения.

Вот именно для того, чтобы установить это соглашение, я и выехал из Омска на восток. Задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее и безболезненней приостановить чудовищное разрушение железной дороги, производимое отступающими частями белых. Встреча в Томске с делегацией Политцентра была довольно неожиданной.

Общая обстановка в те дни требовала скорейшего прекращения боевых операций и сосредоточения всех сил армии и городского населения на восстановле-



нии жел<езно>-дор<ожного> движения и снабжения городов продовольствием и топливом.

Отступающая армия Колчака уже более не представляла какой-либо опасности, ее обреченность была очевидна, и если она нам была страшна, так разве теми десятками тысяч пленных, которых мы заключили в концентрационные лагеря. Среди этих пленнх распространялся тиф, который вскоре стал свирепствовать по всей сибирской магистрали и затем перебрался в нашу армию. По линии отступления колчаковской армии были образованы тифозные пункты. В городах организованы чрезвычайные комиссии по борьбе с тифом. Сколько погибло от тифа, сказать трудно. В Новониколаевске из 20 000 пленнх, заключеннх в лагере, в живых осталось не более 8000. Трупы сжигались, ибо не было никакой возможности всех зарывать в землю. В Омске, где находился Сиб<ирский> Рев<олюционнй> Комитет, по ночам можно было видеть обозы в 20—30 подвод с умершими. Кошмарная картина! И долго после страшной зимы 1919—20 года по линии жел<езной> дороги встречались подстриженнне крестьянские женщины — память о перенесенном тифе.

Наша армия, за естественной убылью от тифа и усталости, очень скоро превратилась бы в какую-либо дивизию, — выручал нас непрерывный приток партизанских отрядов. Наша армия, между тем, была растянута по всей магистрали. Нужно было, во что бы то ни стало, остановить дальнейшее движение войск, которые уже прошли с боями около 1500 верст (от Кургана), надо было дать частям возможность отдохнуть, подтянуться и пополниться.

Это было тем более необходимо, что из Москвы нас предупредили, что весной всю пятую армию перебросят на западный фронт — надвигалась война с Польшей.

Железная дорога тонкой ниточкой связывала нас с далеким тогда Уралом и Москвой. Положение на жел<езной> дор<оге> было отчаянное. При отступлении белые систематически разрушали жел<езную> дорогу. На линии Омск — Тюмень были сняты стрелки и части с семафоров, водокачки разрушены. От Челябинска до Омска поезда шли по 2 недели и больше. Можно было быстрее добраться на лошадях. Именно так и приехал в Омск т. Хотимский — первый редактор «Советской Сибири». Большой железнодорожный мост через Иртыш был взорван, свыше ста больших и малых мостов было разрушено. Поезда помногу дней стояли в чистом поле. Когда я ехал в Новониколаевск, то видел, как крестьяне подъезжали на санях к брошенным составам и тащили из вагонов что попадало под руку. И чего только не брали! Еще можно понять, когда крестьянин тащил на спине тюк табаку или швейную машину. Но если не было этого, то брали и пулеметы, и телеграфные аппараты. Впоследствии пришлось произвести ревизию мужицкого инвентаря вдоль магистрали и отобрать то, что не было связано с хозяйством крестьянина. Ни малейших сомнений в правильности и закономерности своих действий у крестьян, конечно, не было. Наоборот, они испытывали чувство сознания исполненного долга в борьбе с буржуазией.

Эти разрушения ставили под сомнение возможность регулярного снабжения городов продовольствием, а между тем, перед нами стояла неотложная задача снабжать хлебом Москву. Уже в первые дни после занятия Омска мы очутились в затруднительном положении, вследствие избытка мяса. Дело в том, что в наши

руки попало около 50 000 голов скота, запасенного для белой армии. Кормить его было нечем. Скот весь порезали и выдали омским гражданам бесплатно, если не ошибаюсь, по 10 фунтов каждому, а остальное мясо в шкурах отправили в Москву.

Чем дальше на восток, тем тяжелее становилось дело снабжения городов, ибо восток всегда получал хлеб или из Минусинского района, или из Новониколаевска. Новым и неизвестным доселе фактором явились для нас партизаны. Первые небольшие партизанские отряды увидели мы еще перед Омском. Но чем дальше на восток, тем многочисленней становились эти отряды. Что в Сибири имеется партизанское движение, об этом мы знали уже в Челябинске, но что из себя представляют партизаны — этого мы еще не знали. У нас о них было, пожалуй, еще меньшее представление, чем у них о нас. Пришлось знакомиться с ними, и это знакомство не всегда было приятным. В общем, сибирские партизаны оказались несравненно нам ближе, чем партизаны на Украине. Слияние с Красной армией произошло с неизбежными, но относительно небольшими, осложнениями.

Большинство партизан было разорено Колчаком. Когда они заявили нам об убытках, полученных от Колчака, с уверенностью, что мы их возместим, у нас руки опустились: никаких средств у государства не хватило бы их покрыть. У меня до сих пор хранятся телеграфные переговоры с руководителем алтайских партизан тов. Мамонтовым. Они свидетельствуют о чрезвычайной напряженности отношений. Нужно было около 6—8 месяцев упорной работы с ними, чтобы найти общую почву и изжить все недоразумения. Вот такова была обстановка, когда после медленного переезда из Омска в только что занятый Новониколаевск и затем в Томск, мы встретились с делегацией Политцентра, приехавшей из Иркутска.

С делегацией приехал представитель от Иркутского Комитета Коммунистической Партии А. М. Краснощеков. Он сообщил, что Комитет, безусловно, против признания особой государственности, возглавляемой Политцентром.

А. М. Краснощеков довольно подробно рассказал нам и о том, что происходит на Дальнем Востоке, с которым он был хорошо знаком, как бывший председатель краевого советского органа. Положение там представлялось далеко не веселым. Фактически весь край от Верхнеудинска до Владивостока был в руках японцев. С ними шла изнурительная партизанская борьба. Край разорен. Было ясно, что если придется двигаться дальше Байкала, то мы неизбежно войдем в столкновение с новой силой, более организованной и более могущественной — с японской армией. В то время нам это было явно не по силам. Сибирские пространства нас обессиливали и справедливо пугали наших военных специалистов. С узковоенной точки зрения, мы уже совершили ошибку тем, что оторвались от Урала, растянув свою армию на тысячи верст. Необходимо было выиграть время, получить передышку. Необходимость этой передышки была еще видней Москве. На мой вопрос, как быть с делегацией, мною было получено указание договориться об образовании буфера.

Кажется, именно отсюда и пошло это выражение «буферное государство».

Делегация Политцентра возглавлялась Ахматовым, старым партийным работником — меньшевиком. В качестве члена делегации от Земского Политического Бюро приехал Колосов, довольно известный правый эсер, едва ли не



самый правый в то время в Сибири. По-видимому, Колосов в деле организации демократического блока играл не последнюю роль. Из книги его о Сибири видно, что у него были связи с партизанами, правда, не очень прочные, и что гораздо успешней шли у него дела с чехами. Мне вскоре пришлось убедиться, что среди чехов он пользовался большой популярностью и имел несомненное влияние на средний командный состав. Они ему помогали, скрывали его в своих эшелонах от колчаковских шпионов. Пользуясь этой помощью, Колосову удалось безнаказанно и успешно выступать на различных собраниях в Иркутске.

Накануне занятия Красной армией Красноярска Колосов и генерал Зеневич вступили в переговоры с авангардом нашей 30 дивизии. Ими была сделана попытка договориться об условиях соединения с нами. Переговоры не были закончены, так как 30 дивизия уже захватила город.

Реальной силы, опираясь на которую, им можно было бы выставлять какие-либо условия, у них не было, а та армия, осколки коей хотели использовать Зеневич и Колосов, для нас уже не была противником.

По-видимому, в эти недели отступления Колчака и разрушения его государственного аппарата Колосов проявил большую инициативу, но вся работа его, как и работа Политцентра, была только водой на советскую мельницу.

Идея создания буфера между Советской Россией и Японией вышла из Политического центра. Она была нами принята. Но у нас и у Политцентра был различный подход к буферу.

Несомненно, Политцентру этот буфер представлялся как демократическая республика, где они могли бы укрепиться организационно для наступления на Советскую Россию. Эта идея прикрывалась лозунгами единства государства и борьбой с интервенцией.

Колосов и Ахматов обладали достаточной дальновзоркостью, чтобы видеть, что в 20—21 году мы не будем в состоянии вооруженной рукой взять у Японии наш Дальний Восток. Поэтому оба они в переговорах с нами усиленно подчеркивали значение разногласий Соединенных Штатов с Японией и возможность, опираясь на Соединенные Штаты, заставить Японию очистить Забайкалье и Владивосток. Эта дипломатическая игра была, по их мнению, возможна лишь при наличии буфера.

Для нас буфер был также необходим, но только как прикрытие с востока, что особенно было ценно в те дни, когда на юге орудовал Врангель и начала наступать Польша. Задача заключалась в том, чтобы создать именно такой буфер, который нам необходим.

Москва, вообще говоря, не особенно одобряла наше устремление на восток. Я помню, как Владимир Ильич месяца через три после описываемых событий, посмеиваясь, спрашивал: «А зачем вам нужно торопиться в Читу и Владивосток?» А когда перед ним излагали их идею буфера — не политцентровского, а нашего творчества, он одобрительно сказал: «Конечно, на Дальнем Востоке надо поменьше коммунизма».

Таким образом, буфер, как временное государственное образование, нами считался полезным. Я должен, однако, сказать, что Сибирский Революционный Комитет, в который входил тогда М. И. Фрумкин и В. М. Косарев, был другого мнения. Фрумкин и Косарев в корне отрицали необходимость буфера и считали более целесообразным дальнейшее продвижение

Красной армии вперед, на Восток. Это разногласие решила Москва, а жизнь очень скоро внесла поправку, отодвинув «буфер» за Байкал и возглавив его коммунистами.

Большие разногласия с делегацией были по вопросу о территории «буфера». Мы с самого начала предложили Политцентру переселиться в Верхнеудинск, который в то время был еще занят японцами. Наши мотивы были по преимуществу военного характера: нам удобней организовать оборону на линии Байкала. Делегация возражала по двум причинам: первая — предлагаемая территория не в наших руках, а вторая — без большого города (Иркутск) буфер не будет иметь базы.

Ближайшие же дни показали, что именно «город-то» и был их главной опасностью: иркутские рабочие вскоре взяли власть от Политцентра в свои руки.

20 января было принято решение об образовании государства-буфера, западная граница которого пролегла по линии Оки (приток Ангары). Особым соглашением мы оговаривали свое влияние на армию Политцентра. 21 января делегация выехала обратно в Иркутск, а 22 Политцентр добровольно сдал власть Революционному Комитету, сформировавшемуся из коммунистов и левых эсеров.

В то время, как в Томске шли переговоры, — к Иркутску приближались остатки третьей армии Колчака. К открытой вооруженной борьбе Политцентр не был готов. Для ожесточенной схватки с наиболее непримиримыми частями армии Колчака половинчатые и нерешительные деятели демократического блока оказались совершенно неприспособленными. Тем не менее был этот блок способен организовать защиту Иркутска.

Политцентр отошел без борьбы от власти.

Идея буферного государства, однако, не умерла. Буфер был создан в Забайкалье. Он вел успешную борьбу с Семеновым, он овладел всей территорией старой России. Советская сущность буфера сквозила изо всех щелей, но в течение двух лет он служил нам хорошую службу, избавляя советскую власть от необходимости сталкиваться с медленно уходившей с нашей территории Японией.

А когда эта роль была выполнена, ширму — «буфер» — сняли. Тогда наши восточные соседи увидели единый Советский Союз.

**От редакции.** В качестве приложения к статье Ив. Н. Смирнова печатаем на следующих страницах полностью, как ценнейший исторический документ, Журнал объединенного заседания мирной делегации Политцентра с Реввоенсоветом 5 и Сибревкомом.

## ЖУРНАЛ

объединенного заседания мирной делегации Политического центра  
с Реввоенсоветом 5 армии и Сибревкомом от 19 января 1920 г.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Председатель Сибревкома Смирнов.
2. Председатель мирной делегации Ахматов.
3. Помкомандарма 5 Устичев.



4. Член делегации Коногов.
5. Член делегации Колосов.
6. Председатель Народно-Революционной армии Коркин.
7. Член Реввоенсовета 5 и за Народного Комиссара Путей Сообщения Свердлов.
8. Член Реввоенсовета 5 Грюнштейн.
9. Главный комиссар Томской ж. д. Рудый.
10. Предпродкоарм 5 Гродзенский.
11. Командированный в Сибирь Уполномоченный Главного полевого штаба Жилин.
12. Бывший председатель Дальсовнаркома, представитель Иркутского Комитета партии Коммунистов Краснощекоев.
13. Председатель Томского Ревкома Шумкин.

Председательствовал Смирнов.

Заседание открыто в 18 час. 30 мин.

Слово предоставляется **тов. Ахматову**, который, дав краткий исторический очерк постепенного образования единого фронта борьбы демократии с цензовыми элементами Сибири, говорит, что поводом к такому стремлению явилась все яснее вырисовывавшаяся картина усиления реакции за счет борьбы на два фронта демократии. Лозунги указанного движения следующие: 1) мир с Советской Россией, 2) борьба с интервенцией, 3) отказ от политических блокировок с цензовыми элементами. Под этими лозунгами прошла избирательная кампания в городские самоуправления в начале и в середине 1919 г.

К концу 1919 года организовывается Политический центр, охватывающий Томскую, Енисейскую и Иркутскую губ., Якутскую, Забайкальскую и Приморскую области, блок, в который вошли: 1) Земское Политическое Бюро, 2) Центральный Комитет объединений трудового крестьянства, 3) Краевой комитет партии С. Р. и 4) Бюро сибирских организаций Р. С. Д. Р. партии.

Еще ранее организованный социалистами-революционерами военно-социалистический союз переходит под флаг Политического центра. По его призыву поднимается ряд следовавших одно за другим восстаний, в результате которых, после 11-ти дневного боя, 4-го января занимает гор. Иркутск.

С начала вооруженной борьбы за Иркутск в Политический центр входит с совещательным голосом представитель Сибирского центра партии коммунистов. Основной задачей Политического центра является обеспечение всей Восточной Сибири за революционной Россией, воссоединение восточной окраины, на которую покушаются союзные хищники, с Россией. Эта задача продиктовала политику Политического центра в вопросах о международных взаимоотношениях. Выражалась она в стремлении использовать антагонизм, существующий между Японией и Америкой (в целях общего освобождения России от петли блокады), нейтрализовать враждебную революции роль Японии в гражданской войне и установить отношения дружественного нейтралитета с чехо-словаками.

В результате ряда шагов Политическому центру удалось временно обеспечить вынужденный нейтралитет Японии и дружественный нейтралитет чехо-словаков. Оба эти нейтралитета, однако, будут, наверняка, нарушены в случае,

во-первых, дальнейшего открытого продвижения Красной армии для восстановления строя подобного строю в Советской республике и, во-вторых, в случае продолжения старой политики Сов. Рос. в отношении эвакуирующейся чехословацкой армии. Для поддержания вынужденного нейтралитета Японии, который для настоящего момента является более обеспечивающим возможность воссоединения Восточной Сибири с Россией, нежели военные успехи, сопряженные с большими новыми напряжениями и без того страшно изнуренной страны, и для обеспечения освобождения Вост. Сибири от сил реакции необходимо создание временного буферного государства, находящегося в определенных мирных договорных отношениях с Советской Россией. Создание буферного государства представляет кардинальный мотив приезда мирной делегации.

**Тов. Колосов**, вполне соглашаясь с тов. Ахматовым, вносит со своей стороны, как представитель в составе мирной делегации от Земского Политического Бюро, историческую справку о политическом оформлении молодого сибирского земства. Свою политическую программу сибирское земство выявило на ряде земских собраний (как Иркутское в июне 1919 г.) и нескольких нелегальных земских съездах. Особенное значение имело в этом отношении совещание 16 земств, областных, губернских и уездных, происходившее в октябре 1919 года в Иркутске. Здесь был поставлен вопрос не только о необходимости свержения правительства Колчака, но и о средствах к достижению этого. Для этой цели несколько позже образовался Политический центр, сделавшийся политическим штабом переворота. Работа земства облегчалась его легальным существованием, хотя вместе с тем, как открытые общественные организации, земства не могли взять на себя непосредственную работу по перевороту. Для руководства и объединения земской политической работы земским совещанием в октябре было поэтому создано свое политическое бюро, нелегальная организация, одним из представителей которой является и сам оратор. Земская политическая программа, которой руководилось бюро, была такой же, как и программа, изложенная предыдущим товарищем. Вырабатывая свою политическую программу, земства исходили из той мысли, что внутренний политический переворот в Сибири невозможен без предварительного разрешения некоторых международных проблем.

Для того, чтобы совершить успешно переворот в Сибири, необходимо было предварительно нейтрализовать некоторые иностранные влияния в Сибири, особенно японские, ориентировавшиеся на цензовую, реакционную Сибирь. В этом отношении общественными кругами Сибири была совершена известная работа, которая дала в последнее время ощутительные результаты. В политике Японии замечается теперь определенный сдвиг. Поведение Японии при подавлении ею восстания во Владивостоке, где повстанцы были подавлены именно японскими силами, и позиция той же Японии в Иркутске, где она была принуждена держаться нейтралитета, показывают, что Япония стоит перед началом отказа с ее стороны не от Дальнего Востока, конечно, который она завоевала экономически, но перед началом отказа ее от поддержки дальневосточной реакции, самой сильной в Сибири. Япония видит себя вынужденной теперь искать новые силы в Сибири, на которые она могла бы опираться в расчете сохранить свое международное положение. С осени нынешнего года японская печать начинает указывать, что опираться в Сибири необходимо на демократи-



ческие силы, в частности на земские. К этому заставляет Японию приходить и внутреннее революционное движение в среде ее рабочего класса. Однако, эта же новая стадия японской политики имеет свою обратную сторону. Она определяется отношением Японии к советским войскам. Реакционная Сибирь всегда рассчитывала на помощь со стороны Японии и не останавливалась перед тем, какой ценою купить ее. Еще не так давно иркутская газета «Свободный Край» писала, что спасение России стоит Камчатки, Сахалина и Восточно-Китайской жел. дороги. Для Японии, с этой точки зрения, продвижение советских войск в глубь Сибири представляет даже свою выгоду. Чем дальше эти войска продвинулись на восток, тем более будет напугана цензовая Сибирь, стоящая до сих пор у власти, и тем дороже она заплатит за свое спасение. Экономические интересы, к которым стремится здесь Япония, вполне ясны. Ей нужны не только те территории, на которые указывает иркутская цензовая газета, ей нужно Забайкалье — Забайкальская жел. дорога, фактически занятая ею еще осенью 1918 г., — и ей нужен также Черемховский каменноугольный район. Черемховским углем питается вся Забайкальская жел. дорога; черемховский уголь подается еще в Харбин и без него не может существовать эта жел.-дор. линия.

Борьба Японии за Забайкалье есть вместе с тем борьба за уголь в Черемхове. Это необходимо строго учесть. Для того, чтобы не допустить Японию к полному выполнению ею здесь своей программы, есть только два пути. Или весь этот район должен находиться под такой политической властью, против которой Япония, в силу целого ряда условий внутренней и международной жизни, не могла бы выступить открыто и активно, и с правами которой она вынуждена была бы считаться. Или же ее притязаниям на уголь и на Забайкалье должны быть поставлены препоны чисто вооруженного характера. Таким образом, положение определяется следующими соображениями, вытекающими из чисто реального учета сил.

Здесь идет речь не о каких-либо моральных или академических соображениях, здесь идет речь о простом учете сил. Если Советская Россия имеет уже теперь достаточно сил для немедленного сокрушения вооруженной рукой японской реакции и вообще японского милитаризма, то тогда вопрос решается очень просто — безостановочным продвижением советских войск в глубь Сибири — к Иркутску и за Иркутск. Тогда никакого буферного государства не нужно. Если же в данное время Советская Россия таких сил не имеет, тогда необходимо придти, в целях сохранения единства России и восстановления Восточной Сибири с остальной русской территорией, к мысли о необходимости создания особого буферного государственного образования на демократических началах. Для Советской России образование его тем более облегчается, что вести борьбу с нею и создавать фронт между нею и Сибирью демократия в Сибири не станет. Она твердо выяснила в этом отношении свою линию поведения: уничтожение фронта на западе и создание его на востоке против реакции. Вот почему для Советской России, раз у нее не окажется в данное время в наличности достаточных сил для немедленной борьбы с японским милитаризмом, является необходимым поставить на обсуждение тот вопрос о буферном государстве, о котором здесь говорил председатель нашей делегации тов. Ахматов.

Тов. Колосов, останавливаясь еще раз на первом вопросе, сообщает о докладе японского командования весной 1919 г. Колчаку об охране Амурской

жел. дороги, в котором японское командование отмечает, что эту дорогу охраняли три японские дивизии (точный численный состав их никому неизвестен), и тем не менее ежедневно на дорогу происходило до 18 нападений; основываясь на этом факте, японское командование на своем опыте приходит к мысли (в докладе), что для охраны дороги необходимы не одни лишь военные меры, но необходимо также изменить всю политическую обстановку, в которой живет население, и только тогда станет возможно поддерживать порядок на жел. дороге. Таковы были этапы, по которым проходила политическая мысль японских руководителей в Сибири. Что касается американской дипломатии, то в ее среде также наблюдались разные течения. Наиболее крупными представителями американской дипломатии в Сибири были три лица: генеральный консул Гаррис, проживающий в Омске и определенно поддерживающий Колчака, посол Моррис, который находился постоянно во Владивостоке, стоя в оппозиции к Колчаку, но после поездки в Омск склонялся в одно время на его сторону; третьим был ген. Гревс, определенный колчаковский противник. На поддержку со стороны американцев рассчитывали повстанцы, участники восстания ген. Гайды во Владивостоке, имевшие основание рассчитывать на помощь Америки в случае вооруженного вмешательства со стороны Японии в подавлении восстания. Надежды эти не оправдались. Однако, роль в то время Японии, несомненно, обострила ее отношение с Америкой. Вообще же представители американской дипломатии неоднократно высказывались в разных случаях, при своих переговорах с представителями сибирской демократии, в том смысле, что они находят, что только та власть в Сибири будет прочной, в создании которой объединятся все левые демократические элементы, в особенности же соц.-рев. и большевики.

**Тов. Смирнов**, излагая свой взгляд, говорит, что Советская республика 10 раз предлагала державам Антанты мир и на последнем съезде Советов сделала это предложение в 11-й раз. Однако, сдвиг к сближению с Советской республикой наблюдался лишь в моменты успехов Красной армии. В результате последних наших успехов, — разгрома Колчака и Деникина, — является снятие союзниками блокады, о чем нам сообщает последнее радио. Не изменяя своего отношения к советской власти, союзники тем не менее решают вступить с нами в товарообмен. Но правительство не особенно полагается на это и считает нужным быть готовым к борьбе. Полученные нами директивы из центра предлагают искать пути к мирному разрешению запутанного вопроса в Восточной Сибири, по возможности избегая вооруженного столкновения с Японией. Советская власть, оставаясь верной в основной своей международной политике, может совершенно официально заявить, что мы искали и ищем мира. Ленин и Троцкий указали нам, что для Советской России легче столкнуться с Америкой, чем с Японией. Вопрос о буферном государстве на Дальнем Востоке представляет особый интерес для Америки, как противовес империалистическим планам Японии.

Япония стремится создать, в виде Монголо-Бурятской республики, буфер, возглавляемый атаманом Семеновым под протекторатом самой Японии. В противовес этому Соединенные Штаты, вероятно, приветствовали бы создание другого буферного государства, чтобы взять в свои руки Восточную Сибирь и в то же время не быть принужденными признать центральную советскую власть.



Интересы Соединенных Штатов на Дальнем Востоке диктуют им соглашение с Россией. Снятие блокады только усиливает нервное напряжение американских финансовых кругов. Нам необходимо изыскать пути для облегчения этих переговоров. Здесь-то и выступает роль временного буферного государства, как посредника в переговорах, сущность которых ни для кого не является секретом. Если буферное государство облегчит эту задачу, оно явится желательным.

Теперь рассмотрим вопрос с чисто практической точки зрения. Как и какими силами его осуществить? Где будет разграничительная линия? Как отнесутся к этому рабочие? Как отнесется Цетросовет, Лазо и др.? Это дело очень трудное и большое. У Политического центра нет реальной силы, чтобы говорить твердым языком с Японией. Партизанские армии не выдерживают столкновения с регулярными войсками: создать же регулярную армию у Политического центра нет сил. А жизнь идет быстро. На создание буферного государства едва ли пойдет Совнарком и ЦИК. На него не согласятся крестьяне и рабочие, потому что они идут под флагом советской власти. Кроме того, я должен поставить здесь все точки над и. Скажу прямо и полагаю, что слова мои подтвердит и присутствующий здесь помощник командарма: с чисто военной точки зрения, нам необходимо дойти до Байкала, чтобы создать укрепленный район на юг от него до Монголии. Нам необходимо использовать здесь естественные границы. Не укрепив этого района, мы не обеспечим себе Кузнецкого бассейна.

Укрепившись на Байкале, мы вырвем из рук союзников Черемхово, и восточные дороги останутся без угля. Базируясь на этом укрепленном районе, мы сможем принять на себя удар со стороны Японии и разбить ее силы на Востоке. Через ваше посредничество мы могли бы еще вести переговоры с Соединенными Штатами <на> Дальнем Востоке, и то только после закрепления за собою Кругобайкальской дороги, до хребта.

Буфер может начаться с Читы или, в крайнем случае, с Верхнеудинска. Возможность вооруженного столкновения с Японией предусматривается нами, но соотношение сил не вполне правильно было здесь представлено. Правда, говорить о немедленном столкновении с Японией не приходится. Армия, которая прошла от Тобола до Енисея, не сможет выполнить такой задачи. Но после отдыха сто тысяч штыков могут посоперничать с Японией. Мы будем, кроме того, опираться на повстанческое движение. У нас есть также сведения, что в тылу Японии Корея в этом случае принесет ей большие осложнения.

Я полагаю, поэтому, что говорить серьезно о буфере не приходится; нужно только временное правительство для первоначальных переговоров с Соединенными Штатами. Пусть Политический центр возьмет на себя эту роль, пусть продолжает вести ее и выяснит, чего они хотят — не от Политического центра в частности, а от России вообще, — каких концессий и прав, и это пусть ляжет в основу наших дальнейших отношений к Политическому центру.

**Тов. Устичев** подтверждает слова товарища Смирнова о необходимости для советской республики занять Иркутск и часть Забайкалья вплоть до Верхнеудинска для создания укрепленного плацдарма, в целях дальнейшей борьбы с Японией. Меры для достижения этого уже приняты, уже сделано распоряжение Красной армии занять к середине января Иркутск, и Иркутск будет занят, а затем будет начато продвижение за Байкал.

Учет наших сил и сил Японии дает полное основание надеяться на то, что все эти задачи мы осуществим даже в случае открытого столкновения с Японией.

**Тов. Смирнов** задает три вопроса: 1) как Соединенные Штаты и союзники относились и относятся к созданию буферного государства, были ли с ними в этом отношении переговоры у представителей Политического центра и если были, то к каким они привели результатам; 2) имеются ли у Политического центра связи с Дальним Востоком, с разными областями, как Амурская, Приморская и пр. и на какие силы там предполагает опираться Политический центр, — и 3) какую экономическую политику наметил Политический центр и в каком отношении она стоит к политике Советской России.

**Тов. Коногов** приводит еще аргумент в пользу создания буферного государства, а именно: огромное количество железнодорожного имущества находится в настоящее время в руках чехов и сдвигается ими на восток. Золотой запас и поезд Колчака, охраняемые смешанным караулом — нашим и иностранным, — составляют предмет особого внимания союзников. Провозглашение советской власти по магистрали Восточной Сибири было бы равносильно потере всего этого национального достояния. Чехи сохраняют по отношению к Политическому центру дружественный нейтралитет. Не исключена возможность их возвращения на родину через Советскую Россию, и лишь наличность власти Политического центра и принятой им линии поведения гарантирует в наибольшей степени благоприятное разрешение вопроса о сохранении сдвигаемых на восток ценностей за Россией.

**Тов. Ахматов** отмечает, что в случае отрицательного решения представителями советской власти вопроса о буферном государстве возникает вопрос о неизбежном столкновении России с Японией. Если бы это случилось, Политический центр сделал бы все от него возможное для того, чтобы создать против Японии совместно с Советской Россией единый фронт обороны против притязаний японского милитаризма. Однако, Политический центр полагает, что было бы ошибкой теми или иными мерами и решениями форсировать такой исход. Необходимо признать, что для такого столкновения с Японией мы еще не готовы и нам для него приходится выигрывать время. Относительно золотого запаса тов. Ахматов полагает, что гарантировать оставление ценностей в России Политический центр не может, так как для этого у него нет надлежащей военной силы. Однако, из переговоров с американскими и английскими представителями выяснилось совершенно определенно, что золото не будет увезено за пределы России. Союзные державы опасаются, с одной стороны, слишком близко придвигать его к восточной границе из опасения, дабы не попало к японцам (такой случай однажды имел место), но, с другой стороны, те же союзные державы опасаются оставлять его на западе, дабы его не захватили советские армии. Политический Центр со своей стороны примет все меры к воспрепятствованию вывоза золотого запаса всеми доступными для него средствами, как-то, в крайнем случае, путем порчи железно-дорожного полотна, взрыва мостов, выступления партизан в тылу и другими подобными мерами. Затем, отвечая на первый вопрос тов. Смирнова, председатель мирной делегации указывает, что летом 1919 г. из бесед с отдельными представителями американской дипломатии он вывел заключение, что Америка чувствует приближение на смену правительства Колчака новых сил и готова будет допустить существование го-



сударства буфера с включением в орган власти в нем представителей коммунистических сил. Восточно-Сибирский буфер, во-первых, обеспечивает возможность разрыва блокады Советской России и, во-вторых, развязывает Америке руки в отношении Японии. С другой стороны, буфер служит окошком в блокаде Советской России. Отношения к буферу характеризуют то обстоятельство, что во время выступления повстанцев Политического центра под лозунгами народовластия, когда Япония стремилась подавить восстание под предлогом остановить большевистское продвижение, союзниками ей было сделано представление о невмешательстве в борьбу демократии с сибирской реакцией. Что же касается реальных сил Политич. центра, то таковые имеются не только в Иркутской губернии, но и в пределах Забайкальской, Амурской и Приморской областей. В случае разрешения политической задачи отрыва чехо-словаков от союзников, силы Политич. центра станут достаточно серьезным заслоном японцам. Отвечая на третий вопрос, председатель мирной делегации указывает на декларацию Политического центра, в которой подробно изложена экономическая программа его, в программу входят национализация жел.-дор. транспорта, всей промышленности, работающей на экспорт, сосредоточение продовольственного дела в кооперативных организациях под контролем государства. В общем политика Политического центра в экономических вопросах рассчитана на переходный период. Силы Японии не могут быть особенно велики на территории Сибири. Самое большое, если она сможет довести их до ста тысяч, но против этого количества штыков мы можем выставить в полтора раза больше, и, кроме того, Япония будет иметь тыл, постоянно тревожимый нашими повстанческими отрядами. Вести при таких условиях борьбу с нами Япония будет не в силах. Остановиться мы не можем, а чехам ничего не остается, как сдаться.

**Тов. Смирнов** резюмирует сказанное. Мы сообщим в Москву наше мнение. Байкал остается за нами в качестве укрепленного плацдарма. О буфере же можно поставить вопрос только как о государстве Забайкалья и в этом смысле можно о нем говорить. Это только тактический шаг, необходимо замедление нашего темпа движения на восток.

В этих условиях можно говорить о вхождении большевиков в органы власти на той территории, где еще царит Семенов.

**Тов. Ахматов** полагает, что категоричность аргументов, выставленных товарищем Устичевым, не устраняет еще опасности японской интервенции и необходимости создания буферного государства. Чересчур форсированные действия против Японии могут повести к столкновениям в первую очередь с чехами, которые увидят в таких действиях препятствование возвращению их на родину, что может заставить их снова вернуться в ряды активных борцов против советской власти.

Что касается Монголо-Бурятской республики, то этот буфер невозможен. Союзники письменно обязали Японию не поддерживать Семенова. Допущенное в этом случае нарушение Японией указанного обязательства повело даже к необходимости с ее стороны обезоружить одну из семеновских частей.

**Тов. Краснощеков** заявляет, что коммунистическая партия Восточной Сибири и Дальнего Востока с первого момента возникновения Политического центра категорически высказалась против идеи создания буферного государства, как определенной постоянной государственной единицы. Нами мыслится буфер,

как временное образование, как дипломатическая ставка. Мы не в силах до прибытия достаточного подкрепления с запада преодолеть силы японцев и чехов в открытой войне. Правда, их силы преувеличиваются товарищами из Политического центра. Допустим, что японцев пять дивизий на Дальнем Востоке, однако, этим дивизиям после полуторагодовой оккупации не удалось даже овладеть Амурской дорогой. Все побережье Тихого океана в Приморской области освобождено повстанцами. Они также очистили северную часть Амурской и восточную часть Забайкальской областей. Цель повстанцев не создание буферного государства, пусть даже очень демократического, а восстановление советской власти в Сибири и соединение с остальной Советской Россией. Однако, окончательно справиться с задачей они не в силах, а есть задания неотложные, которые нужно выполнить немедленно. Необходимо обеспечить за собою туннели на Кругобайкальской дороге и проходы через Яблоновый хребет с наименьшей затратой сил.

В этом отношении Политический Центр, как государственное образование, официально выбрасывающее лозунг буферного государства, но фактически стоящее за присоединение Дальнего Востока к России, может служить для нас прикрытием для наиболее легкого достижения этой цели.

Целью настоящей конференции является не постановка перед Совнаркомом вопроса о перманентном буферном государстве; необходимо считаться с тем, что на востоке оперируют крупные повстанческие силы, и они фактически все наши. Только по магистрали они соглашаются временно снять советские знамена. Что скажут Лазо, Муравьев, Иванов и другие вожди повстанцев, которые полтора года ведут активную борьбу против реакции японцев, если узнают, что представители Советской России пошли на отделение Восточной Сибири от России, на образование буферного государства. Они предпочтут уйти обратно в тайгу, чем сложить оружие.

Если товарищи из Политического Центра искренни в своем желании восстановить Россию, они должны поставить вопрос именно в такой плоскости, как ставим его мы, коммунисты Восточной Сибири.

Центру необходимы в первую очередь забайкальские туннели для того, чтобы обеспечить себе Кузнецкие и Черемховские районы, затем Владивосток, чтобы оттуда говорить с Америкой и Восточной Азией. Страх перед союзниками преувеличен. Америка следует своей, так называемой «долларовой политике». Необходимо поставить Россию в наивыгоднейшее положение. Путем временного заслона, в виде Политического Центра для прикрытия наступающей Красной армии, заслона с нетвердо очерченными границами — эта цель может быть достигнута, по крайней мере, есть шансы, которыми пренебрегать нельзя. Давайте же практически обсуждать вопрос, как использовать создавшийся антагонизм Антанты и Японии для наших целей.

Если видимость буфера нам необходима, давайте условимся сегодня вечером, как это устроить, предварительно установив необходимые гарантии против перманентного буфера.

**Тов. Колосов** возвращается еще раз к учету сил, сделанному тов. Устичевым, и указывает, что так как мы стоим перед возможностью создания при данных условиях координированных действий чешских и японских сил, то необходимо строже отнестись к вопросу, что могут дать эти силы.

Здесь может быть расчет на то, что чешская армия окажется не боеспособной, в виду ее политического расслоения. Тов. Колосов делает небольшую справку о бывших в чешской армии солдатских съездах, которую заканчивает указанием на то, что чешская армия, несмотря на пережитый ею острый кризис, достигший наивысшего развития летом нынешнего года, когда в Иркутске собрался солдатский съезд, — в настоящее время все же достаточно сплочена и боеспособна, и к чехам необходимо относиться серьезно, как к военной единице, представляющей значительную силу.

(Объявляется перерыв на 20 минут.)

После перерыва предсибревкома тов. Смирнов объявляет принятое решение, которое сводится к следующему: создание государства-буфера считается нужным. Граница на восток определяется по линии реки Оки. Ближайшей задачей Политического Центра устанавливается очистка дипломатическим путем Кругобайкальской и Амурской дорог от иноземных войск, причем выходы Байкальской дороги должны Политическим Центром укрепляться. Для последнего, а также для организации регулярной армии, Советская Республика выдвигает своих организаторов. Политический Центр принимает все меры к задержанию Колчака со штабом и золотого запаса и передаче их Советской Республике. Указанные решения сообщаются в Совнарком и после утверждения их переговоры продолжаются.

**Тов. Свердлов** предлагает включить в ближайшие задачи обмен хлеба на Черемховский уголь. Целесообразность этого поддерживается тов. Ахматовым.

Окончательное решение по поднятым вопросам принимается в следующем виде.

1. Образование Восточно-Сибирской Государственности — в виде государства-буфера — необходимо. Границы его на запад временно определяются по линии рек Оки и Ангары.

2. Восточно-Сибирская Государственность принимает на себя обязательство: а) очистить в порядке дипломатических переговоров Кругобайкальскую и Амурскую жел. дороги от иностранных войсковых частей и б) укрепить выходы Кругобайкальской дороги.

3. Для последнего, а также для организации регулярной армии, способной противостоять натиску со стороны иностранных и империалистических сил, Советская Россия предоставляет в распоряжение Восточно-Сибирской Государственности организационно-технические силы.

4. Политический Центр принимает все меры: а) для охраны поезда Колчака и его штаба, а также золотого запаса, равным образом принимает меры против продвижения его на восток, б) Политический Центр обязывается передать золотой запас и Колчака с его штабом при первой возможности советской власти, в) момент передачи устанавливается в связи с политической и стратегической обстановкой Реввоенсоветом и Политическим Центром.

5. Указанные решения считаются предварительными и сообщаются в Совнарком и Временный Сибирский Совет Народного Управления, и после их утверждения в названных государственных учреждениях переговоры продолжают дальше для выработки окончательных условий взаимоотношения Советской России и Восточно-Сибирской Государственности.

Далее начинается обмен мнениями по вопросу об эвакуации чехо-словакской армии через Советскую Россию на родину в связи с общим положением дел в Восточной Сибири. После краткого обмена мнений выносится следующее решение:

Сибревком предлагает чеховойску через М.Д.П.Ц. (мирную делегацию политцентра) свободный проход через Советскую Россию на родину в количестве одного эшелона в день, скоростью не менее 200 верст в сутки, сохраняя оружие и получив гарантию неприкосновенности. Эшелоны имеют право сопровождать представители Соединенных Штатов. В случае принципиального согласия представители чеховойска должны выслать особую делегацию к передовым отрядам Красной армии для выработки подробностей прохода.

Заседание закрывается в 1 час ночи 20 января.

*Переговоры по прямому проводу члена Сибирского революц. комитета Фрумкина с тов. Троцким.*

У аппарата уполн. тов. Троцкого Попов. По поручению тов. Троцкого, передаю несколько вопросов, на которые прошу дать сейчас же ответ.

**Первое.** Прибыть в Омск не могу, так как спешу в Екатеринбург по делам Трудармии. Обменяться мнениями по важнейшим вопросам можно по прямому проводу. **Второе.** Расстрелян ли действительно Колчак? Имеются ли точные об этом сведения? **Третье.** В каком положении золото? **Четвертое.** Где Смирнов? **Пятое.** Сколько можете направить в распоряжение Трудармии специалистов-техников из числа военнопленных? **Шестое.** Обещана ли вами амнистия всем тем техникам, вообще представителям интеллигентного труда, которые вернутся на территорию советской власти? Считаете ли вы целесообразным такого рода приказ за моей подписью? **Седьмое.** В каком положении находятся иностранные миссии, какое их отношение к нам? **Восьмое.** На Ваш № 870/9, разумеется, возражений быть не может, раз это вытекает из обстановки. **Девятое.** Каково положение с партизанами? С достаточной ли энергией ведется работа по их расформированию? Пример Украины свидетельствует, что невнимание к этому вопросу грозит гибельными последствиями. № 50/6. Предреввоенсовет Троцкий.

*Отвечает Фрумкин.*

По сообщению Смирнова, в виду наступления каппелевского отряда на Иркутск, Колчак и Пепеляев расстреляны. 7 вагонов серебра и 29 (?) вагонов золота переданы Иркутскому Ревкому и находятся под охраной чехов и наших. Смирнов находится между станциями Зима и Иннокентьевская. Специалистов техников военнопленных можно послать. Сообщите, по каким специальностям. Представителям интеллигентного труда амнистии не объявляли. В этом нет необходимости, так как они все остались в Сибири, бежать дальше некуда. Значительное количество техников направляем на Урал. Иностранные миссии находятся в Верхнеудинске. С их стороны намечаются попытки наладить взаимоотношения с нами. Мы ведем по отношению к иностранцам мягкую политику. Некоторые представители иностранных фирм посылают своим правлениям за границей практические деловые предложения о товарообмене с нами. У меня нет под руками № 870/9. Может быть, напомните, в чем дело. Если речь идет





о буферах, то в этом вопросе остаемся на своей точке зрения. Никакой санкции, никакого представительства (?) буферах, только терпимое отношение, поскольку это нам выгодно в тот или иной политический момент. О партизанах. По этому вопросу мы и хотели беседовать с вами. В общем расформирование идет прилично. Были маленькие осложнения в Семипалатинске. Кажется, десятого или одиннадцатого разоружено там две тысячи человек без всяких осложнений. Главное затруднение в том, что в районе Алтая и Семипалатинска имеется до 50 000 партизан, которые не распущены, а постепенно охватываются нашими запасными частями, но они, партизаны, фактически без всякого дела, что неизбежно вносит разложение, хотя бы в виде длительных отпусков (?), часть обратиться на трудовые процессы. Просим вашего общего решения. В вопросах общей политики на Востоке имеется разногласие между Областным Комитетом, мною и Косаревым, с одной стороны, и Смирновым — с другой; в частности об отношении к политическим образованиям типа буферов. Необходимо определенное указание Цэка по этому вопросу, дабы не было разнобоя в нашей работе. Мы считаем, что Иркутск блестяще подтвердил правильность нашей точки зрения. Вопрос о торговых сношениях с Востоком мы не намерены форсировать, в виду того, что восточный рынок дает только потребительские товары. Мы же считаем необходимым использовать сырье для обмена с Америкой на орудия производства, паровозы и машины. Смирнов заключил какой-то договор с чехами торгового характера. Подробности нам неизвестны. Прошу сообщить, можно ли пользоваться Трудармией для работы в Сибири. Необходимо ваше распоряжение о колчаковских офицерах, которых насчитываем до 10 000. Они ни в коем случае не должны оставаться на территории Сибири, в особенности ими нельзя широко пользоваться для военной работы здесь. Вчера мы образовали комиссию по восстановлению разрушенных крестьянских хозяйств. Предварительные работы готовятся. Прошу поддержать перед Совнаркомом ходатайство об ассигновании нам, в виде аванса, на эту помощь населению пятисот миллионов рублей. Работа на копиях и в железнодорожных мастерских идет вполне удовлетворительно. Омская дорога почти стоит из-за отсутствия угля, вследствие снежных заносов и отвлечения анжерского угля на восток. Намечаем ряд мер военного характера на железной дороге. Ждем приезда Свердлова (Вениамина) 17 февраля, чтобы совместно принять определенную программу действия. Откомандированного в распоряжение Сибревкома Дзевалтовского направляем в Забайкалье: пока в качестве партийного работника и для руководства партизанским движением, а затем — предсибревкомом (?). Окрвоенком сидит пока без средств. Мы ему отпустили аванс. Прошу вашего распоряжения об открытии ему кредита двухсот миллионов рублей. Вообще положение здесь и на Востоке вполне хорошее. Нас режет транспорт и отсутствие денежных знаков. Все заготовки остановились. Пока все. Привет.

*Военная. Срочно. Только ОМСК Сибревком.*


Ревсовет 5 копия Сибревком ОМСК.

Зима. 12 февраля. Ближайшей задачей, вытекающей из условий перемирия, является планомерная приемка чешского имущества, сдаваемого ими нам на условиях товарообмена и установления торговых сношений с Востоком. Для

руководства этим предлагаю назначить тов. Гродзянского, которому выехать в Иркутск. О согласии и дне выезда сообщите. № 269/л член Ревсовета 5 Смирнов.

*Омск. Фрумкину. Сибревком. Из Челябинска.*

1. Относительно офицеров я уже давал телеграмму. Их необходимо разбить на категории по специальностям. Численность по специальностям телеграфно сообщите в Екатеринбург. Оттуда будут даны наряды на высылку их в соответственные места Урала для работы. 2. Обращение частей Пятой армии на трудовые зависит целиком от Реввоенсовета пять и Сибревкома. 3. Применять отпуска нужно с осторожностью, дабы не вызвать распада. 4. Отпуска следует давать только по выполнении известного трудового наряда. 5. По вопросу о буфере разногласие получает неуловимый характер. Вы согласны на терпимое отношение, но без санкции и представительства. Так как формальное признание может сделать только центральная власть, стало быть, с вашей стороны признание не имеет формально государственного характера. Равным образом представительство от Сибревкома есть деловая техническая связь, а не международное дипломатическое представительство. По существу необходима величайшая осторожность в движении буфера, что может иметь важное значение. Для формального решения Цека, вам необходимо точно формулировать спорные вопросы. 6. На линии к востоку от Челябинска стоят без движения хвосты Пятой армии. Не зная их состава, спрашиваю, не лучше ли их передать для использования в Трудармию. 15 февраля 55/II. Предреввоенсовета Троцкий.



Константин ВАСИЛЬЕВ

**КРЕСЛО ОСОБОГО УСТРОЙСТВА  
И ТАЙНЫЙ ЛЮК В ПОЛУ —  
ПО НАРОДНЫМ СЛУХАМ И ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ  
ПРОСВЕЩЕННОЙ ПУБЛИКИ**

**Слухам не верь,  
а сначала проверь!**

Говорят, что речение про развесистую клюкву возникло с подачи одного французского путешественника, который поведал соотечественникам, как в России мужики пьют чай *в тени клюквы: à l'ombre d'une kluqua*. Высказывалось мнение, что этим путешественником был Александр Дюма: вставляя в свои путевые заметки для колорита разные русские словечки, он по ошибке ввернул *клюкву*, полагая, что это дерево, при этом для достоверности изобразил самого себя участником чаепития — под клюквой и, понятное дело, с русским самоваром на столе.

Некоторые сразу возразят: Дюма не имеет никакого отношения к означенному выражению, оно возникло позже; да и про поездку француз сочинил в тиши, так сказать, своего кабинета; литератор плодовитый и работоспособный, он набрал из различных печатных источников разнообразных сведений о России, отдавая предпочтение *курьезным* историям, и выпустил на радость читателям еще одну занимательную книжку.

Также поговаривают, что про дерево-клюкву придумали русские сатирики... *Говорят, поговаривают, высказыва-*

*вают мнение* — слова, уместные скорее для прошлых и уже давних времен, когда население было в основном неграмотным, когда сведения, сообщения, слухи и сплетни передавались устно; в народе толковали, и слухами земля полнилась, и молва носилась. По мере просвещения и обучения все больше людей стало пописывать и почитать; для нашего разыскания существенно следующее: раньше некоторые вздорные выдумки и нелепости, побыв на слуху, терялись и забывались, тогда как с расцветом книгопечатания они получили долгую жизнь: даже злонамеренная клевета, оттиснутая на бумаге типографским способом, воспринимается как правда. Или почти как правда. Или хотя бы как нечто с долей правды. Ведь не бывает дыма без огня, и если люди говорят, то ведь не даром? Тем более что они не говорят, а пишут, и мы узнали такую-то историю не из болтовни на базаре, мы ее в газете, в журнале, в книге прочитали!

Не берусь отыскивать корни *развесистой клюквы*. Во-первых, тема моего очерка — не происхождение слов и выражений. Тема более занимательная — про наказание кнутом и розгами в Тайной экспедиции при С. И. Шешковском и в

Третьем отделении при А. Ф. Орлове, про люк в полу, куда опускалось особо устроенное кресло, дабы подвергнуть сидящего в нем *тайной секции* — то есть чтобы высечь провинившегося без свидетелей. Во-вторых, я знаю по опыту, что определить первоисточник, а то и первоначальный смысл того или иного речения зачастую невозможно: мы запутываемся, выслушивая противоречивые свидетельства вкупе с догадками и домыслами, — вот как с *развесистой клюквой*: может быть, ей дал жизнь французский литератор Дюма, то ли бывавший, то ли не бывавший в России, или же про клюкву придумали русские сатирики, дабы с помощью яркого примера высмеять иностранных сочинителей, пишущих про нашу Россию разную галиматью... Я считал это выражение чисто русским: издавна в народе по какой-то причине называли *клюквой* разные небывлицы; в 1863 году М. Е. Салтыков-Щедрин в романе «Помпадуры и помпадурши» вывел одного из тех русских господ, которые сами верят во всякие несуразницы (вплоть до чертей и привидений) и окружающим вещают глубокомысленно про всякие потусторонние страсти и мистические явления. Дело происходит в Париже, и означенный русский господин представляется человеку в кафе по-французски: *le prince de la Klioukwa*. Он — князь деля *Клюква!* — как я понимаю, автор дал ему такое имя, зная русское речение про клюкву.

Поскольку я учился на английской филологии и занимаюсь в основном английским языком и литературой, рассказ о телесных наказаниях в стенах или, если хотите, в застенках *тайной русской полиции* я начну с показаний одной англичанки. С 1844 по 1854 год она жила в России, написала об этом книгу, и, знакомя читателей с русскими порядками,

нравами и обычаями, она поведала им, что порой даже знатных дам наказывали у нас коварным, грубым и позорным способом: жандармы, поначалу вежливые, усадят даму в кресло, оно вдруг опустится под пол, и там, *подпольно*, женщину уже *отрапортуют*, как выразилась неизвестная унтер-офицерская вдова у Н. В. Гоголя в комедии «Ревизор» — она пожаловалась Хлестакову, что в полиции ее *так отрапортовали, два дня сидеть не могла*.

Гоголя я вспомнил главным образом для того, чтобы повторить его характеристику разных народов: «Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное умно-худощавое слово немец...» Приняв это к сведению, прислушаемся к свидетельствам, исходящим от англичан: где *мудрое познание жизни*, там предполагается и достоверная правда, так ведь?

Русские поговорки советуют: не всякому слуху верь; слухам не верь, а сначала проверь... Не будем легковерны и по отношению к печатным словам. Попробуем проверить и разобраться — не в происхождении *клюквы* и не в биографии Александра Дюма, мы обратимся к историям, в которых фигурируют особо устроенное кресло и тайный люк, стараясь отыскать надежных свидетелей и достоверные показания.

### **Свидетельство просвещенной английской незнакомки**

В 1855 году в Лондоне вышла книга, о которой я заговорил: «Англичанка в России». Автор, чье имя и личность до сих пор остаются загадкой, сообщает: за десять лет своего пребывания в нашей стране она посещала разные города, жила

в качестве гувернантки в аристократических семьях... Среди прочего читателям предлагается следующая *скандальная история*, в достоверности которой писательница *нисколько не сомневается*:

Дама, дочь старого генерала Б., была как-то вечером в маскараде; она, интригуя некую высокопоставленную персону, увлеклась и, забыв об осторожности, коснулась какой-то запретной темы; вскоре после этого она покинула собрание и вернулась домой, даже не подозревая, что отдан приказ не спускать с нее глаз, пока не будет установлено ее имя и место проживания. На следующее утро ее неприятно удивил визит чиновника тайной полиции, который вежливо попросил проследовать за ним к графу Орлову. Конечно, от подобного приглашения нельзя было отказаться, и она немедленно отправилась. Господин, встретивший ее, был сама любезность; он указал учтиво на кресло, рядом находившееся, потом стал расспрашивать ее благодушно о вчерашнем празднестве; объятая ужасом, дама отвечала дрожащим голосом на все вопросы правду, только правду, ничего, кроме правды, ибо какое-либо увлечение не принесло бы ей пользы в этом учреждении. Когда допрос закончился, кресло вдруг опустилось под пол, и, со стыдом рассказываю о том, внизу от рук какой-то невидимой личности она подверглась наказанию, которое в прежние времена доставалось мальчикам от розог старорежимных школьных учителей. Я часто встречала эту даму в обществе и хорошо знала ее сестру. Я услышала эту историю от близкого друга их семьи, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что она правдивая.

Мы условились не быть легковверными не только к тому, что слышим, но и к тому, что напечатано на бумаге, пусть даже в Британии, где, по Гоголю, население отличается познанием жизни и сердцеведением. В Российской империи дворян не секли и не били кнутом, так

что граф Орлов не имел права... Однако рассказчики и пересказчики подобных историй напирают на секретность экзекуции: мол, розги применялись в нарушение закона, наказывали людей негласно, без свидетелей, и никто из высеченных потом не жаловался, ибо и стыдно, и как бы еще больших неприятностей не нажить!

Страх и стыд — доводы убедительные: мы боимся, а то и трепещем перед властью; человеку, особенно светской даме, неловко после порки признаться, она же не простолюдинка, не какая-то унтер-офицерская вдова, которая, ничуть не стесняясь, рассказывает, как ее в полиции *отрапортовали*...

Я мог бы сразу заявить, что рассказ англичанки, несмотря на видимую правдивость, является *развесистой клюквой*. Но у меня попросят доказательств, которых, кстати, не потребовал от писательницы-гувернантки ее британский издатель. Для начала я выскажу замечание, которое, как говорят в суде, дискредитирует свидетеля. Свидетель дважды уверяет нас в подлинности рассказанной истории: у нее нет ни малейших сомнений! — и тут же она лжет, прошу прощения, говорит неправду по поводу битья в английских школах: мол, это прежде мальчикам доставалось *березовой кашей*, при этом от педагогов старой закалки, если буквально, от *учителей старомодных — old-fashioned schoolmasters*. В 1855 году порка была обычным явлением в Англии, распространенным и законным: учеников — мальчиков чаще, чем девочек, — секли, и не келейно где-нибудь в подвальном закутке, а, точно как и в русских учебных заведениях того времени, в присутствии всего класса, если не всей школы, руководствуясь библейским поучением: «Не оставляй юноши без наказания... ты накажешь его розгою и спасешь его душу от преисподней». Добавлю, что в британских школах, в отличие от рос-

сийских, телесные наказания были в ходу до 1986 года, когда их отменили в государственных школах, а в частных учебных заведениях Англии учитель имел право наносить удары провинившемуся ученику тростью по заднему, извините, месту или линейкой по рукам вплоть до 1998 года.

## Кнутабоец Шешковский

Не мухи переносят слухи, слухи переносятся людьми, при этом очередной пересказчик к каждому услышанному слову прибавит десять своих. Мы же открываем солидный журнал «Русская старина» и в десятом томе, изданном в 1874 году, в разделе «Исторические рассказы и анекдоты» читаем, среди прочего, о Степане Ивановиче Шешковском, за которым прочно закрепилось прозвище *кнутабоец*. Считаю нужным обратить внимание на редакторское предуведомление: «Ныне помещаемые рассказы собраны и записаны одним, ныне уже покойным, стариком, весьма интересовавшимся отечественной историей».

Будем придирчивы: почему старик не назван по имени? Издатель опасался, что на собирателя исторических рассказов обрушится гнев властей и, глядишь, его тоже высекут? Но он в полной безопасности, будучи *покойным*, и, во-вторых, в 1874 году вместо Николая I, прозванного Палкиным, на троне восседал Александр II, прозванный Освободителем. Я уверен, что старика придумали в редакции, дабы придать достоверность и заодно таинственность тем анекдотам, коими редакция (не в первый раз) решила попотчевать доверчивых читателей. Так или иначе, привожу *печатное* свидетельство из «Русской старины», которое, полагаю, всем знакомо в переделках и пересказах с удесyтеренной отсебятиной. Шешковский, начавший службу в

*застенках* еще при императрице Елизавете, прославился в правление Екатерины II, которая увидела необходимым «следить за духом народным, за образом мыслей людей, выдающихся вперед, и за поступками тех, которые были нерасположены к новому царствованию». И вот, как пишут в «Старине»,

Екатерина обратила внимание на Шешковского и поручила ему действовать в духе прежней канцелярии. <...> Шешковский был чрезвычайно расторопен и на деле доказал способность к исполнению возложенной на него обязанности. <...> Провинившихся он, обыкновенно, приглашал к себе: никто не смел не явиться по его требованию. Одним внушал он правила осторожности, другим делал выговоры, более виновных подвергал домашнему наказанию.

Мы подходим к самому интересному, возможно, к первоисточнику, не устному, а печатному, из которого проистекли все ныне известные рассказы:

Для домашнего наказания в кабинете Шешковского находилось кресло, особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло, и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка, по прикосновению хозяина вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресел и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предотвратить того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шешковского, люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и, с креслами, поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. Но, несмотря на эту тайну, молва разносила имя Шешковского и еще увеличивала действия его ложными прибавлениями...



Смотрите: с одной стороны — тайна, с другой стороны, получается, никакой тайны нет, ибо *молва разносила* имя Шешковского, и в народе судачили о его секретных наказаниях. Следующий анекдот из того же выпуска «Русской старины» вне всяких сомнений принадлежит к разряду сплетен, которые сочиняются и распускаются, первоначально нашептываются близким и друзьям по секрету, для осмеяния или очернения какого-либо известного лица:

Раз Шешковский сам попал в свою ловушку. Один молодой человек, уже бывший у него в переделке, успел заметить и то, как завертывается ручка кресла, и то, отчего люк опускается; этот молодой человек провинился в другой раз и опять был приглашен к Шешковскому. Хозяин по-прежнему долго выговаривал ему за легкомысленный поступок и по-прежнему просил его садиться в кресло. Молодой человек отшаркивался, говорил: Помилуйте, ваше превосходительство, я постою, я еще молод. — Но Шешковский все упрашивал и, окружив его руками, подвигал его ближе и ближе к креслам, и готов уже был посадить сверх воли. Молодой человек был очень силен; мгновенно схватил он Шешковского, усадил его самого в кресло, завернул отодвинутую ручку, топнул ногой и — кресло с хозяином провалилось. Под полом началась работа! Шешковский кричал, но молодой человек зажимал ему рот, и крики, всегда бывавшие при таких случаях, не останавливали наказания. Когда порядочно высекали Шешковского, молодой человек бросился из комнаты и убежал домой. Как освободился Шешковский из засады, это осталось только ему известно!

Получается, не так уж грозен был Шешковский? С ним справился некий *шалун*, молодой, но смелый; *убежав* *домой*, он не преминул рассказать о своем приключении друзьям и знакомым, те поведали еще кому-то... И самоуправство

Шешковского стало известно всему городу, в том числе начальству. Шешковского сегодня выставляют всесильным, никому не подвластным главой Тайной экспедиции, мы читаем заявления, что он руководил означенным учреждением тридцать два года (с 1762 по 1794 год), но это не соответствует действительности. Семен Шешковский, подьяческий сын, начал службу *недорослем* в Сибирском приказе; будучи копиистом, он добровольно напросился в Тайную канцелярию, где, пообтершись в канцеляристах, архивариусах и протоколистах, выскребся с *самой низшей степени приказных должностей* до обер-секретаря, имея над собой начальство в лице генерал-прокурора А. И. Глебова, затем А. А. Вяземского. Его власть не была безраздельной и безграничной, и затейливыми подпольными экзекуциями, которые ему давно приписали и продолжают — с ложными прибавлениями — приписывать, он забавляться отнюдь не мог.

В доказательство тому, что Шешковский не приказывал, а исполнял приказания, приведу пример из следствия по делу Емельяна Пугачева в 1774 году. Императрица Екатерина II лично отправила Шешковского из Петербурга в Москву, где он поступил в распоряжение князя М. Н. Волконского... Передаю слово А. Н. Корсакову (1823—1890), чей обстоятельный очерк со ссылкой на найденные им документы был напечатан в 1885 году в журнале «Исторический вестник». Корсаков пишет следующее:

Наконец, 5-го ноября, в 9 часов утра, Емельку привезли в Москву и тотчас же посадили в *уготованное для его весьма надежное место на Монетном дворе*, прикованного к стене цепями. Через час явился к нему князь Волконский в сопровождении Шешковского. После первых расспросов, продолжавшихся до двух часов пополудни, князь Волконский уехал, оставив с Пугачевым одного Шешков-

ского, приказав, чтобы он все *от начала его мерзкого рождения со всеми обстоятельствами до того часа, как он связан, записал*. Шешковский тотчас же приступил к делу. Он думал, что кончит допрос, употребив на него часов 60 или 70, но оказалось, что времени этого было недостаточно.

Волконский, главнокомандующий в Москве, приказал Шешковскому, тот взялся ревностно за работу — не имея ни малейшей надобности ни в затейливых креслах, ни в тайных люках, ни, как я понимаю, даже в кнуте и пытках. Следствие длилось более месяца, протоколы отправлялись в Петербург императрице; работой Шешковского, предоставившего все нужные сведения, Екатерина осталась довольна: «К сведению моему ничего не достает». 10 января 1775 года, когда Пугачева везли на казнь, его сопровождал, среди прочих, чиновник Тайной экспедиции. В народе говорили, что это Шешковский, — мы относим это к молве и слухам, а не к исторической правде: в народе много чего говорят.

С течением времени в рассказах о былом, особенно о мятежах, тюрьмах, пытках и казнях, количество ложных прибавлений увеличивается и увеличивается — к каждому первоначальному слову прибавлены уже не десятки, а сотни слов. Шешковский за свою жизнь, скорее всего, никогда не держал в руках кнут, разве что розги пускал в ход, наказывая какого-нибудь нерадивого отпрыска за плохую учебу и наглое поведение, но в *исторических* исследованиях нашего времени, например в книге с броским названием «Спецслужбы Российской империи», нам сообщают уверенно:

По самым приблизительным подсчетам современников, он за долгие годы своей службы высек не менее двух тысяч человек. Среди них были генералы и даже дамы, хорошо известные в обществе...

Сразу хочу спросить: кто эти современники? Их ни автор этой книги, ни другие авторы не называют, и я остаюсь в прежней уверенности, что изображение Шешковского с кнутом в руке основано на *свидетельствах*, сходных с теми смешотворными анекдотами про хитроумное кресло, которые были напечатаны в 1874 году в «Русской старине».

## Байки от Павла Карабанова

Однажды Екатерина II, осерчав, приказала Шешковскому высечь некую Кожину... Происхождение этой байки, которую вы тоже, возможно, читали в той или иной современной книжонке, установить нетрудно: в 1871 и 1872 годах «Русская старина» печатала «Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов именитых людей П. Ф. Карабановым», и в шестом томе означенного журнала вы можете ознакомиться с анекдотом в первоизданном виде: генерал-майорша Мария Дмитриевна Кожина, запутавшаяся в придворных интригах, *подверглась гневу* императрицы. Далее по тексту:

Екатерина приказывает начальнику Тайной канцелярии Шешковскому за невоздержность наказать Кожину, приговаривая: «Она всякое воскресенье бывает в публичном маскараде, поезжайте сами, взяв ее оттуда в Тайную экспедицию, слегка телесно накажите и обратно туда же доставьте со всею благопристойностью».

Сразу вспоминается свидетельство просвещенной англичанки, *нисколько не сомневавшейся* в правдивости той скандальной истории, которой она попотчевала в 1855 году доверчивых соотечественников: и там благородную даму высекали за неосторожные речи, и там имел место маскарад... В рассказе Карабанова не прописано, как именно Шешковский

телесно наказывал генерал-майоршу Кожину, но сегодняшний читатель, знакомый с деяниями означенного *кнутобойца* не по анекдотам из «Русской старины», а по *научным* статьям и *историческим* исследованиям, уверенно дорисовывает картину: Марию Дмитриевну подвергли порке с техническими ухищрениями, усадив в пресловутое кресло и опустив под пол, или же Шешковский, не тратя время на ухищрения, просто взял кнут и самолично *отрапортовал* благородную даму, генеральшу, — ему ведь не привыкать, он, как мы теперь знаем, не менее двух тысяч человек за годы своей службы высек!

Карабанов назвал Шешковского начальником Тайной канцелярии, но мы обращаем внимание не на эту ошибку, а на общий тон живописного рассказа: как будто из старинного французского романа литературная стряпня! Уж если императрица действительно *разгневалась*, она бы сразу послала за своим *домашним палачом*, как назвал Шешковского поэт Пушкин, и генеральшу в тот же день наказали, не откладывая дело до костюмированных балов... Обращаю внимание на то, что в печати и на слуху преобладали и преобладают истории обратного свойства: с умилением повествуется, как Екатерина Великая если и сердилась, то быстро отходила и сменяла гнев на милость.

Кто такая Кожина? О генеральше, вращающейся при дворе, должны были остаться хоть какие-то сведения, упоминания... Нет, разные источники доносят до нас только эту сплетню (пущенную кем-то из светских врагов), как однажды генеральшу прямо с маскарада увезли к Шешковскому и после телесного наказания на маскарад же вернули *со всей благопристойностью*.

Интересно, а кто такой Карабанов, именуемый ныне известным историком?

Даже так его рекомендуют: крупный знаток русской истории и древностей.

Павел Федорович Карабанов (1767—1851), майор в отставке, был всего лишь коллекционер: собирал монеты, гравюры, рукописи... Кроме этого, он записывал занимательные рассказы разных лиц; об исторической ценности (и достоверности) его записок можно сделать свои выводы, ознакомившись с простодушной аннотацией, напечатанной в «Русской старине» (в шестом томе за 1872 год): Карабанов,

замечательный — по своей любви к русской истории и археологии — собиратель достопамятностей, имел очень хорошую привычку записывать почему-либо заинтересовавшие его рассказы об исторических деятелях. Записывал он на лоскутках, и так составила его коллекция анекдотов. Одному просвещенному любителю родной старины мы обязаны как приведением этого собрания в порядок, так и обстановкою их примечаниями, как читатели без сомнения заметили, весьма обстоятельными.

Давайте рассуждать: к издателю попали не личные впечатления Карабанова, занесенные, предположим, по свежим следам в дневник, и не документы, а — чьи-то разговоры в его записи. Кто-то вспоминал *преданья старины глубокой* (неизбежно путая даты и имена, что-то свое, конечно же, домысливая), Павел Федорович переносил услышанное, как нам сообщили, на какие-то бумажные клочки — скорее всего, не сразу, а позже, по памяти. Умер *собиратель достопамятностей* в 1851 году, разрозненные *лоскутки* где-то лежали, если не валялись, потом они каким-то образом оказались — через двадцать лет! — в редакции, где, как мы понимаем, к работе подключили некоего просвещенного любителя старины, чтобы тот из *лоскутков* подготовил материал для публикации. Можно

только гадать, в каком изложении анекдоты прозвучали для Карабанова, как их записал Карабанов, в какой степени их обработали, — а их именно обработали, их отредактировали, потому что в печати мы видим складную подборку из интересных происшествий, занятных случаев, курьезных историй — по содержанию и форме соответствующих тому, что ждет от периодического издания широкий, как говорится, круг читателей, и ждет этот круг чего-нибудь незамысловатого и развлекательного с уклоном в авантюрные приключения и любовные похождения, этому кругу подавай побольше тайн, загадок и чудес.

### Еще раз о силе печатного слова

Мысль о силе печатного слова задолго до меня высказал А. С. Пушкин, при этом, конечно, тверже и смелее:

Самое неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!

В биографическом очерке А. Н. Корсаков поначалу основывается на архивных разысканиях, в том числе в «Делах Герольдмейстерской конторы», он добыл сведения о происхождении, о предках и первых служебных успехах Шешковского. Но, когда запас документов иссяк, при этом на подступе к самым интересным делам, связанным с Радищевым и Новиковым, уважаемый Алексей Николаевич переключается на пересказ анекдотов — видимо, считая их вполне достоверными: ведь они были напечатаны! Он сообщает, будто в Тайной экспедиции секли лиц привилегированных классов и даже женщин, и приводит следующее *доказательство*:

Генерал-майорша Марья Дмитриевна Кожина легкомысленной болтовней в обществе навлекла на себя гнев Екатерины, и она приказала Шешковскому наказать...

Нам эта байка уже известна! Может быть, Корсаков обнаружил свидетелей или надежные документы, подтверждающие подлинность означенного пикантного происшествия? Нет, Корсаков, находясь под *волшебным влиянием типографии*, поверил тому, что было опубликовано в 1872 году в «Русской старине», он пересказывает слово в слово сплетню из коллекции того самого П. Ф. Карабанова, записывавшего на *лоскутках* предания старины в том виде, в каком предания дошли до его слуха не от очевидцев, а от их детей или внуков. Корсаков называет еще нескольких дам из высшего круга, кои побывали в руках Шешковского: *особенно пострадали* Е. П. Дивова (урожденная графиня Бутурлина, фрейлина Екатерины II) и А. А. Турчанинова (которую в этом анекдоте отчасти путают с Софьей Ивановной фон Эльмпт). Сообщение о дамах автор начинает со слов: «Рассказывают также...» Если *рассказывают*, то, извините, мы может верить или не верить; лично я не верю; но, поскольку Корсаков вставил анекдоты в свой очерк, поначалу, повторяю, весьма обоснованный, и очерк, напоминая, был напечатан в солидном журнале с названием «Исторический вестник», великосветские сплетни, ранее *увекоченные* «Русской стариной» и другими изданиями, окончательно приобрели силу исторической правды. Воистину так, как заметил Пушкин: «Неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии!»

Для полноты картины Корсаков подверстывает байку о пресловутом кресле:

Старики говорят, что в доме Шешковского было какое-то кресло, которое

посредством особо приспособленного механизма опускалось под пол, где всегда готовые на подобный случай сторожа обнажали сидевшего и наказывали розгами. Предание вероятное: кто из нас не слышал когда-то, что будто бы подобная же механика практиковалась и в покойном III-м Отделении, чего, однако же, никогда не было; ясно, что на последнее учреждение, напоминавшее собою тайные присутствия прежних времен, переносилось по старой памяти то, что проделывалось у Шешковского...

Корсаков не вполне верит в какое-то кресло, устроенное Шешковским даже не в служебном кабинете, а у себя на дому, но допускает, что *предание вероятное*.

### **История с поркой поэта Пушкина в комнате с опускающимся полом**

Поскольку мы привлекли к обсуждению Пушкина, мне вспомнилось, что его тоже секли в полиции... Я неправильно выразился: ходили сплетни, будто его высекали. Обратимся за объяснением к Ю. Н. Тынянову, известному писателю и знатоку литературы, он, очевидно, основывался не на сплетнях и анекдотах, когда писал:

Однажды за ним пришел квартальный и повел его. Пушкин был удивлен простотой события. Квартальный привел его в главное полицейское управление и сдал начальнику всей полиции — самому Лаврову. <...> Лавров заставил ждать Пушкина всего три часа. <...> Он посмотрел на Пушкина и пожал плечами.

— Невелик ростом, — сказал он негромко, удивленный.

Пушкин сдержался.

Лавров... показал на большой пузатый шкаф... Шкап был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него. Выходило, что полиция давно была занята им. Лавров наконец объяснил, для чего здесь Пушкин. В полицию его привели,

потому что никто лучше не знал ни того, что говорилось недозволенного, ни тех, кто это говорил.

— Вот вы нам и станете докладывать, — сказал Лавров.

Пушкин засмеялся. <...>

Услышав, что Пушкин был отведен к Лаврову и пробыл там до вечера, и что все разное об этом судят, что неизвестно, что там было, и что с ним в полиции сделали, Федор Толстой сказал об этом просто и кратко:

— Выпороли.

У франтов словно глаза открылись. И как же они раньше не догадались!

Через час одна пожилая дама рассказывала об этом с подробностями:

— В комнате один стол и ничего более. И стоять негде. Вдруг, представьте, опускается пол, а там стоят люди с розгами — и все происходит как нельзя лучше. А кто и как распоряжается всем, наказуемый не знает.

К вечеру все об этом знали. Рассказывали, судили, рядили. Появлялись все новые подробности. К вечеру, идя по улице, Пушкин встретил троих знакомых, они взглянули быстро и отшатнулись. Или ему показалось?

Хотя Тынянова называют выдающимся исследователем и знатоком пушкинской эпохи, некоторые детали в его рассказе меня смущают. Автор не называет, к сожалению, дат, но можно догадаться: дело было в 1819 году. Пушкину всего двадцать лет, написанных им *недозволенных и противоправительственных* строк набралось бы в то время на школьную тетрадку, доносов — на тонкую канцелярскую папку, так что Тынянов сильно преувеличил, будто *пузатый шкаф* был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него. Кто такой Лавров? Тынянов представил полицейского чиновника так, будто тот всем известен и в представлении не нуждается: *сам Лавров!* А кто он такой? Что значит *начальник всей полиции?* Доступные



справочники называют других людей, возглавлявших правоохранительные органы в пушкинскую эпоху. В одном примечании к пушкинским сочинениям я прочитал, что был такой Иван Павлович Лавров, директор исполнительного департамента в министерстве полиции. По-моему, правильный порядок слов должен быть иным: в министерстве полиции в числе трех департаментов был департамент исполнительной полиции. Но нужно разбираться и разбираться, кто и в какие годы стоял во главе указанного подразделения. Откуда у Тынянова сведения, что у начальника всей полиции Лаврова состоялся долгий разговор с Пушкиным? Почему Тынянов уверен, что слух был пущен Федором Толстым? В большинстве случаев стряпатели сплетен, как и слагатели неприличных частушек или политических анекдотов, не имеют лица и имени. Сравним: Д. С. Мережковский в историческом романе «Александр I» пишет о происшествии короче и осмотрительнее (в 1913 году, раньше Тынянова):

Прошел слух, будто сочинителя Пушкина высекли розгами в тайной полиции; лучшие друзья поэта передавали об этом с добродушной веселостью.

— Может ли быть? — сомневались одни.

— Очень просто, — объясняли другие: — половина опускающаяся, как на сцене люк, куда черти проваливаются; станешь на нее и до половины тела опустишься, а внизу, в подполье, с обеих сторон по голому телу розгами — чик, чик, чик. Поди-ка пожалуйся!

Возможно, я зря вспомнил историю с поркой поэта Пушкина? Я не верю этой сплетне (как и Мережковский с Тыняновым), я взялся опровергать слухи, но есть люди определенного склада, у которых мысли настроены на определенный лад: будто за всем явным кроется что-то

тайное, и какие-то темные личности из-за кулис всем вокруг заправляют, и во всех делах от нас кто-то что-то утаивает; они выслушают мои опровержения и тут станут другим рассказывать: вы знаете, Пушкин, оказывается, однажды отведал березовой каши, при этом в подполье...

Однако от зачитанных отрывков не хочется отказываться, ибо они косвенно (или даже напрямую) относятся к обсуждаемой теме и служат очень наглядными примерами. Во-первых, с подачи Тынянова в пушкинистику добавились ложные сведения. Во-вторых, у Тынянова мы находим живое описание того, как рождаются и передаются сплетни. Какой-то насмешник или злопыхатель бросает слово: такого-то выпороли! Через час какая-нибудь дамочка, трепещущая и захлебываясь, передает товаркам уже целую историю: не просто выпороли, а в полиции заводят человека в особую комнату, где пол опускается, и под полом тебя розгами стегают. Третье: мы можем утверждать, что у обоих авторов, Мережковского и Тынянова, байка с люком в полу восходит к одному источнику, к давней сплетне о Шешковском с его замысловатым креслом, к выдумке, которую, скажем так, *обессмертила* «Русская старина».

### **Трудные, порой безуспешные поиски исторической правды**

Поэт Пушкин высказался о силе печатного слова, но на его примере мы видим, что и устные высказывания обладают изрядной силой и могут привести к драматическим последствиям. Узнав, что по Петербургу ходит слух, будто его, Пушкина, отстегали розгами, он почувствовал себя *бесповоротно опозоренным*, и в то же время он кипел желанием отомстить клеветнику. Мережковский считал происхождение сплетни неизвестным: прошел слух; Тынянов уверенно указывает



на Федора Толстого: он первый сказал! В биографии Пушкина, написанной Ю. М. Лотманом, тоже обвиняется Толстой-Американец:

19 апреля 1820 года Н. М. Карамзин писал Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служба под знаменем Либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала Полиция etc. Опасаются следствий».

В то время, когда решалась судьба Пушкина и друзья хлопотали за поэта перед императором, по Петербургу поползла гнусная сплетня о том, что поэт был секретно, по приказанию правительства, высечен. Распустил ее известный авантюрист, бретер, картежник Ф. И. Толстой («Американец»). Пушкин не знал источника клеветы и был совершенно потрясен, считая себя бесповоротно опозоренным, а жизнь свою — уничтоженной. Не зная, на что решиться, — покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни, — он бросился к Чаадаеву. Здесь он нашел успокоение: Чаадаев доказал ему, что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей...

Лотман не указывает, попадал ли Пушкин в полицию, он не называет имени Лаврова. У него распространение сплетни относится к апрелю 1820 года, тогда как у Тынянова это происходит, судя по всему, в 1819 году. Укрепляется наша уверенность в том, что Тынянов придумал всю сцену с допросом в кабинете Лаврова, начиная с *пузатого* шкафа. У меня под рукой «Путеводитель по Пушкину», составленный М. Я. Цявловским (напечатан в 1931 году), где можно быстро отыскать, что делал Пушкин весной 1820 года; пожалуйста, его вызывали — только не к Лаврову, а к графу Ми-

лорадовичу, военному генерал-губернатору Петербурга:

1820. <...> *Марта 26.* Чтение законченной поэмы «Руслан и Людмила» у Жуковского, который дарит Пушкину свой портрет. *Апреля середина.* Объяснения Пушкина о своих политических стихотворениях у петербургского генерал-губернатора гр. М. А. Милорадовича. По этому поводу гр. Ф. И. Толстым пущен слух, что Пушкин высечен в тайной канцелярии. Мысль Пушкина о цареубийстве и о самоубийстве...

В публикациях последнего десятилетия, включая день сегодняшний, бегут и с удовольствием пересказываются истории о том, как Пушкин дрался на дуэли с Кондратием Рылевым — в сентябре 1819 года. Причиной поединка была как раз сплетня: мол, пустил ее Толстой, тайно, а Рылеев заговорил об этом открыто, в светской гостиной! Не потому, что Рылеев злорадовался, он просто подумал, что это правда: Пушкина высекли за оскорбление Государя в стихах. Пушкин узнал, послал Рылеву вызов... А где стрелялись? Называется и место: поединок состоялся в Батово, имени Рылеевых, при этом оба противника выстрелили в воздух. Значит, осенью 1819 года Пушкин совершил поездку, о которой не было известно пушкинистам прошлых времен! Батово, ныне это деревня в Гатчинском районе, где-то в часе езды от Петербурга, если вы за рулем автомобиля, в пушкинские времена ехать было дольше, и, видимо, Пушкин брал кого-то из знакомых в секунданты, тогда кого? Есть, однако, мнение, что Пушкин о высказываниях Рылеева узнал только в январе 1820 года, стал его разыскивать, чтобы вызвать на дуэль, в Петербурге не нашел, а в Батово он наведалься в мае: его, как известно, отправили из столицы на службу в Кишинев, он же специально сделал крюк

в Батово, чтобы наказать оскорбителя... Читая все это, мы имеем дело с вымыслами недавнего происхождения, идущими от желающих *чего-нибудь такого написать*, но невольно читатели верят, потому что *писатели* приводят вроде как правдоподобные детали: отметили дистанцию в пятнадцать шагов... развели дуэлянтов по десяти и дали команду на сближение... видно было, что Рылеев нервничает... Пушкин рассчитал свои шаги так, что первым к барьеру подошел Рылеев и первым выстрелил...

Напомню, каких мнений и взглядов придерживались признанные пушкинисты. Начну с Н. О. Лернера (1877—1934): он, историк литературы, собрал биографические сведения о поэте, издал их в книге «Труды и дни Пушкина», где мы читаем следующее (по изданию 1910 года): «К 1819—1820 гг. (до высылки из Петербурга) относится столкновение Пушкина в театре с майором Денисевичем, вызвавшим его на дуэль и потом отказавшимся от нее». Нет у Лернера ни слова не только о поединке с Рылеевым, нет ничего даже о знакомстве двух поэтов!

Все показания, особенно по спорным вопросам, требуется перепроверять. Литературовед Б. В. Томашевский (1890—1957), в свое время заведовавший сектором пушкиноведения в Пушкинском доме, тоже не слышал ничего о дуэли в Батово, мы находим у него только упоминание о сплетне (цитирую по тексту 1956 года):

Небезызвестный В. Н. Каразин в доносительной записке, поданной В. П. Кочубею 2 апреля 1820 года, писал: «Такое лицемерное воспитание... умножает только людей развращенных. В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей. Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них —

Пушкин, по высоч. пов., секретно наказан» (здесь Каразин имеет в виду слух, что Пушкин был вызван в полицию и там высечен. — Б. Т.).

Мы замечаем, что даже у людей, посвятивших всю жизнь изучению литературы, нет полного единства мнений. Лотман писал, что *гнусная сплетня* поползла по Петербургу в апреле 1820 года. М. А. Цявловский (1883—1947), которого называют не просто знатоком, а выдающимся пушкинистом, тоже считал, что слух пущен Толстым в середине апреля, после того как Пушкин побывал у Милорадовича. Правда, со временем Мстислав Александрович изменил свою точку зрения; сравним его «Путеводитель по Пушкину» (1931 год) с книгой «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» (издательство «Наука», 1991 год): в новом издании сплетня доходит до поэта не в апреле, а раньше, в январе 1820 года:

Пушкин *последним* узнает от Катенина о слухе, позорящем его (Пушкина) и пущенном гр. Ф. И. Толстым (чего Пушкин не знает), будто бы он был отвезен в тайную канцелярию и высечен. Пушкин дерется по этому поводу с кем-то неизвестным на дуэли, у него появляются мысли о самоубийстве, но Чаадаев доказывает ему всю несообразность этого намерения.

По этой версии, слухи имели хождение еще в 1819 году, по крайней мере в конце года, а дуэль с кем-то неизвестным состоялась где-то сразу после того, как П. А. Катенин (1792—1853) пересказал сплетню Пушкину. Лотман считает, что оскорбленный Пушкин помышлял или покончить с собой, или убить императора Александра. Почему же у Цявловского нет столь важной детали: замысел *цареубийства*? Потом: сплетня ходила по Петербургу, граф же Толстой — житель

московский... Все больше запутываясь, мы ищем: кто бы рассказал нам точнее и увереннее? Имея в домашней библиотеке собрание сочинений А. С. Пушкина в шести томах, я обратился к примечаниям, их составил Д. Д. Благой (1893—1984), тоже известный авторитет в пушкинистике, и Дмитрий Дмитриевич сообщает следующее — по поводу пушкинской эпиграммы на Федора Толстого, написанной в 1820 году, в которой *Американец* назван, среди прочих неместных отзывов, *картежным вором*:

В Кишиневе до Пушкина дошло известие, что якобы Толстой был инициатором злой и глубоко ранившей поэта сплетни, согласно которой его, Пушкина, как автора политических стихов, незадолго до ссылки высекли в полиции. Этим и вызвана данная эпиграмма.

Мы сами раскладываем и собственными мозгами раскидываем: из Петербурга поэт выехал в начале мая 1820 года, до Кишинева он доехал в сентябре — 21 сентября, если верить хронологии Н. О. Лернера; следовательно, только осенью 1820 года до Пушкина дошла, наконец, злая сплетня и... следовательно, у Пушкина не могла состояться дуэль ни с Кондратием Рылеевым, ни с какими-либо другими лицами, известными или неизвестными, оставшимися в Петербурге!

Если в среде именитых пушкинистов, державших в руках подлинные рукописи поэта, изучавших свидетельства всех его современников, друзей и недругов, если между ними согласия нет, что говорить о сонмах доморощенных любителей русской словесности и русской истории: ничтоже сумняшеся они строчат и строчат опусы, увеличивая количество любовниц, побывавших в постели с Пушкиным, и дуэлянтов, выходявших с ним на поединки!

## Вклад Пушкина в миф о Шешковском с кнутом в руке

Пушкин, как мы услышали от знающих литературоведов, сильно переживал и злился, когда его опозорили лживой сплетней, — в это мы верим, ознакомившись с отзывами современников о пушкинском характере; например, М. А. Корф (1800—1876), учившийся с ним в лицее, обрисовал его следующим образом: *вспльчивый до бешенства, с необузданными африканскими страстями*. Это мнение недоброжелателя, но и люди, уважавшие Пушкина за поэтическое дарование или терпевшие его *из жалости к таланту*, не считали нужным выставлять его скромником, тихоней и невинной жертвой; например, Н. М. Карамзин, хлопотавший за поэта в апреле 1820 года, считал его *беспутным*; вспомним письмо (часть которого воспроизвел нам Лотман), где историк жалуется И. И. Дмитриеву:

Хотя я уже давно, истощив все способности образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однакож, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться.

Жена историка, Е. А. Карамзина, сообщала той же весной Вяземскому в Варшаву, для выразительности сильно преувеличивая:

У г. Пушкина всякий день дуэли; слава Богу, не смертоносные, так как противники остаются невредимы.

Мы принимаем во внимание все сказанное, но все же относим к догадкам намерение поэта покончить с собой в назначенный период и к вымыслам его поединков с Кондратием Рылеевым, как и планы убить Александра I, — не имеется касательно этого ни достоверных свидетельств, ни надежных доказательств.

Нетерпимый к оскорблениям по отношению к себе, Александр Сергеевич позволял себе резкие остроты, злые насмешки и едкие эпиграммы в адрес окружающих; ему же принадлежит несколько необдуманно высказываний, которые, принимаемые на веру, наводят на ошибочные выводы о беспредельной жестокости Шешковского, якобы *своеручно* бичевавшего подследственных в Тайной экспедиции. Слух о том, что Пушкин высечен в полиции, является ложным — независимо от того, Федор Толстой или кто другой придумал *подиутить* над поэтом; столь же далеки от действительности следующие заявления самого Пушкина, сделанные им в «Заметках по русской истории XVIII века»:

Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность.

Из этого домысливается, что Н. И. Новиков (1744—1818) после допросов Шешковского попал в некую темницу не иначе как избитый кнутом. Радищева, действительно, отправили в Сибирь — императрица заменила ему смертный приговор ссылкой в Илимский острог. Выдумка о порке Княжнина имела хождение, но *увековечил* ее А. С. Пушкин; в 1903 году А. В. Амфитеатров своеобразно использовал давнюю сплетню в своих сатирико-обличительных рассуждениях о русской журналистике: плачевная участь журналистов в екатерининское время показана на примере *страдальца* Княжнина, коего допрашивает — в связи с пьесой «Вадим» — не кто иной, как Шешковский.

Молчит Княжнин, трясется.

Шешковский нюхает *rape* из золотой жалованной табакерки и кротко говорит заплечным мастерам:

— Максимушко, раздень господина сочинителя Княжнина, а ты, Ефимушко, принеси из чана розги... посоленные...

*Rape* вроде бы предполагает нечто изысканное; однако по-французски это просто указание на пачке, на ярлыке, что табак *тертый*, *протертый* — то есть нюхательный, не для курильщиков; французский глагол *gâter* значит *тереть*, как, например, сыр на терке. Наречие *кротко* по отношению к Шешковскому выдает знакомство Амфитеатрова со *свидетельствами*, печатавшимися в «Русской старине», где наш *кнутобоец* представлен человеком поначалу обходительным: вежливо приглашает сесть в кресло — как говорится, мягко стелет, да жестко спат! Объяснения и уточнения такого рода даются легко, нам куда сложнее оспаривать Пушкина, ставшего для всех непререкаемым авторитетом; следует все же дать опровержение: сочинитель Я. Б. Княжнин умер не после порки розгами (*посоленными*, как ерничал Амфитеатров), он скончался своей смертью от простуды в 1791 году. Пьеса «Вадим Новгородский», из-за которой Шешковский якобы измывался над Княжнинным, была напечатана только через два года после смерти сочинителя. Императрица, возможно, не одобряла литературные произведения Д. И. Фонвизина (1745—1792), но никто не собирался его сечь — это домыслы, сродни тем ядовитым сплетням, которые придворные дамы, шушукаясь, распространяли про своих соперниц: вы знаете, Кожину высекли, вы слышали, Дивову с Турчаниновой выпороли...

Пушкину мы обязаны и следующей *классической* байкой, включенной им в подборку анекдотов, от разных лиц услышанных, из разных источников перепис-

санных, объединенных под общим названием «Table-talk» в 1835 или 1836 году:

Потемкин, встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему: «Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?» — На что Шешковский отвечал всегда с низким поклоном: «Помаленьку, ваша светлость!»

Сия незатейливая анекдотическая вещьца, исторического значения не имеющая, присутствует в качестве веского свидетельства во всех современных *серьезных* сочинениях и рассуждениях о Тайном приказе и Тайной канцелярии, о пытках и телесных наказаниях на Руси, о деятельности русских *спецслужб* и политическом сыске во все царствования и правления.

### Шешковский, орудующий не кнутом, а кулаком

В советское время Шешковского не вносили в биографические справочники, плотно заполненные выдающимися партийными и государственными деятелями новой социалистической эпохи. Анекдот, включенный Пушкиным в «Table-talk», печатался во всех собраниях его сочинений, и, обратившись к примечаниям, читатель получал об упомянутой личности короткую справку вроде этой: «Речь идет о начальнике Тайной экспедиции, которого Пушкин иронически называл *домашним палачом кроткой Екатерины*». Ольга Форш (1873—1961), писательница, весьма прославившаяся, в советские же годы, своими художественными произведениями о *пламенных революционерах и первенцах свободы*, нарисовала портрет Шешковского, выставив его в прямом смысле *палачом и заплочных дел мастером*. В романе «Радищев», написанном в 1930-е годы, Ольга Дмитри-

евна приспособила к своему творческому замыслу пушкинский анекдот, выдав его за исторический факт: арестованному писателю Радищеву советуют принести чистосердечное покаяние — *во избежание крайних мер*, «потому что следствие будет вести сам Шешковский, тот, которого Потемкин при встрече вопрошает: “Каково, Степан Иванович, кнутобойничаешь?” — Если не принести покаяния добровольно, все равно его Шешковский добьется пытками».

Для нескольких поколений русских людей, живших при социализме, вера в печатное слово была особенно сильна, мы не сомневались: в книге, подготовленной государственным издательством и напечатанной в государственной типографии, рассказывается правда, мы понимали однозначно, что Шешковский выбивал показания кнутом. И не только кнут, он и кулаки пускал в ход! В том же романе писательница рассказывает, как вел себя Шешковский при казни Пугачева. Предводитель бунта (крестьянского восстания, как называлось означенное событие в исторических учебниках моего времени) был приговорен к четвертованию, но палач *одним махом снес ему голову*, не дав жертве помучиться. Почему не выполнен приказ? На первый план выдвигается Шешковский... Скажем лучше так: писательница Форш выдвигает его, при казни Пугачева, может быть, совсем не присутствовавшего, на передний план. Семен Иванович, по ее утверждению, *сам первейший в империи заплочных дел мастер*, берется допрашивать палача о причинах его *дерзкого ослушания*:

По своему обычаю, Шешковский ласково окликнул приведенного к нему палача. Осведомился об его имени-отчестве. Засим, подойдя легко, шажочками, вдруг что силы поддал ему в нижнюю челюсть. Таково ловко умел поддавать, что



свои зубы вместо ответа на пол сплевывал опрошенный. И кулачком-то хватил господским, не дюже великим, а видать, по какому-то заграничному способу был учен.

— Да как это только, голубчик мой, ты посмел? Ручки-ножки злодеевы пожалел? Раньше сроку головку оттяпал? По какому такому резону?

И, не трогаясь с места, отвечал палач:

— Ошибочка вышла.

— Хороша ошибочка — две руки, две ноги! А ну-тка поближе!

Судьба пощадила оставшиеся зубы старшего палача. Прибыл экстренный курьер с секретной эстафетой Потемкина: «Допроса палачу не чинить, зане акт милосердия свершен по воле самой императрицы. Сего разглашать не следует, но дело прекратить».

То, что моему и двум предыдущим поколениям казалось серьезным и в то же время занимательным чтением, сегодня кажется литературщиной... Но разбором стиля и языковых средств мы заниматься не будем, мы рассуждаем о Шешковском: так он и в розгах с кнутом не нуждался! Тем более зачем ему, *запленных дел мастеру*, какие-либо сложные технические ухищрения в виде кресла и люка, когда он обладает зубодробительным ударом, если он своим *не дюже великим кулачком* так поддаст в челюсть, что допрашиваемый зубы на пол сплевывает.

Мне скажут: литератор имеет право на художественный вымысел! Право на вымысел обсуждать сейчас не будем, сосредоточив внимание на поиске первоисточников. Ольга Форш, приписывая Шешковскому недюжинные боксерские способности, явно опиралась на некое историческое свидетельство. Мы догадываемся по одной детали, а именно по *выбитым зубам*, о знакомстве автора с записками П. А. Радищева.

Павел Радищев (1783—1866) — сын литератора, прославившегося «Пу-

тешествием из Петербурга в Москву». Можно полагать, что за время пятилетнего пребывания в Илимске опальный Радищев-старший рассказывал подрастающему сыну честно и откровенно, как его допрашивали в Тайной экспедиции; вернувшись в Петербург, по прошествии какого-то времени Павел Александрович написал биографию отца, и мы, обратившись напрямую к его запискам, надеемся услышать, наконец, свидетельство опального писателя, побывавшего в руках Шешковского. Воспоминания Радищева-младшего об отце выходили отдельной книгой, но я предлагаю зачитать один отрывок — в том виде, в каком мы находим его в статье П. А. Ефремова (1830—1907), напечатанной в журнале «Русская старина» в 1870 году. Ефремов, будучи книгоиздателем, в 1860-х годах собирался выпустить в двух томах собрание сочинений А. Н. Радищева, включая «Путешествие из Петербурга в Москву», находившееся с 1790 года под запретом, и Павел Радищев передал ему записки об отце для пользы дела. До двухтомника дело не дошло, а когда в «Русской старине» вспомнили Шешковского (по анекдотам от Карабанова), Ефремов счел возможным вставить свое слово, имея под рукой означенные записки, в которых Павел Александрович характеризует Шешковского следующим образом:

Низкий происхождением, воспитанием и душевными качествами, Шешковский был грозою столицы. ...Этот Великий Инквизитор России... действовал с отвратительным самовластием и суровостью, без малейшего снисхождения и сострадания. Шешковский сам хвалился, что знает средства вынуждать признания; а именно, он начинал тем, что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакают. Ни один обвиня-



емый при таком допросе не смел защищаться, под опасением смертной казни (?). Всего замечательнее то, что Шешковский обращался таким образом только с знатными особами (?), ибо простолюдины были отдаваемы на расправу его подчиненным. <...> Наказание знатных особ он исполнял своеручно. Розгами и плетью он сек часто. Кнутом он сек с необыкновенною ловкостью, приобретенною частым (?) упражнением. Однажды кн. Потемкин, после продолжительного отсутствия возвратившийся в Петербург, заметив между явившимися к нему посетителями Шешковского, спросил у него при всех: много ли в его отсутствие он пересек персон из своих рук? Тот, однако же, устыдясь, благодарил уклончиво за такую милостивую насмешку.

Вопросительные знаки в журнальной публикации, как я понимаю, были поставлены рукой Ефремова: видимо, некоторые утверждения Павла Александровича его озадачили. Мы, тоже весьма озадаченные, добавим еще пару вопросов по тексту. Во-первых, о Потемкине, возвратившемся в Петербург и увидевшем среди посетителей Шешковского: Радищев-младший слышал эту историю от отца или он позаимствовал ее у Пушкина для литературного украшения своей рукописи? Потом, хотелось бы уточнить: обер-секретарь и писателя Радищева хватал палкой под подбородок, и у того тоже трещали или даже выскакивали зубы?

В судебном разбирательстве — если бы сын, предположим, подал в суд, желая восстановить справедливость, донести до публики правду, представив ей истинное лицо Шешковского, — председательствующий заметил бы: вы утверждаете, что Шешковский со всеми знатными особами так обходился, но все для суда значит никто, и если вы говорите, что Шешковский сек часто, то часто для суда значит никогда, так что вы скажи-

те конкретно, Павел Александрович: вашего отца Шешковский бил палкой? Ваш отец лишился зубов от его ударов? Шешковский стегал вашего отца кнутом? Когда и где это было? У вас, Павел Александрович, претензии к Шешковскому в связи с вашим родителем, так что говорите только о том, что происходило между двумя названными людьми. И еще вот какое замечание: у Александра Сергеевича Пушкина, как мы все читали, князь Потемкин-Таврический спрашивает: «Что, Степан Иванович, каково кнутабойничаешь?» — что можно понять в прямом смысле, будто обер-секретарь собственноручно сечет подсудимых, но можно трактовать как иронический выпад Потемкина в адрес всей Тайной экспедиции с ее жесткими и даже жестокими методами; ваше изложение, Павел Александрович, несколько отличается от пушкинского: у вас Шешковский сек персон из своих рук, то есть собственноручно. Но, как мы видим, вы утверждаете это с чужих слов, и даже ваш отец ничего не сообщал вам о жестоком обращении Шешковского лично с ним, Александром Радищевым.

Можно подумать, поскольку зашел разговор о суде, будто я взялся защищать и чуть ли не обелять Шешковского, о котором все говорили и говорят, что он палач, кнутабоец, инквизитор, низкая личность... Повторю: то, о чем все говорят, может быть сплетней, как, например, сплетня о порке Пушкина в полиции. Для установления исторической правды требуется не пересказывать чужие байки, будто Шешковский своеручно наказывал знатных особ, часто сек розгами и плетью обвиняемых, попавших в Тайную экспедицию, требуется представить хотя бы одну особу, назвав ее по имени, которая бы поделилась личными впечатлениями о допросах, производимых Шешковским.

## Еще один кнутабоец, Потемкин, умерший, по слухам, от яда после встречи с Шешковским

В романе Ольги Форш, в сцене, где Шешковский выбил зубы палачу, упомянут Потемкин. Видимо, писательница имела в виду светлейшего князя, бывшего любовника Екатерины II, и мы догадываемся, что в пушкинском анекдоте идет речь тоже о нем. Вспомним, однако, что обер-секретарь Тайной экспедиции по роду своей службы пересекался, общался, сотрудничал с другим Потемкиным, которого звали Павлом Сергеевичем. Граф П. С. Потемкин (1743—1796) приходился дальним родственником Потемкину-Таврическому. В 1774 году императрица повелела ему отправиться в Казанскую и Оренбургскую губернии, назначив начальником комиссии по расследованию Пугачевского бунта. К слову, граф, имевший широкие полномочия, использовал для умирения края и для подавления волнений все средства, в том числе кнут и плети, но все же не сам *кнутобойничал*, а, как пишут в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (том 14), он «уполномочил воевод сечь кнутом начальников шаек, а десятого человека из шаек сечь плетью». Он же, П. С. Потемкин, в начале октября 1774 года лично допрашивал Пугачева в Симбирске; в Москве вместе с князем Волконским и Шешковским он вел следствие и участвовал в составлении приговора, по которому *самозванца* должны были четвертовать. Вполне возможно, что в анекдотах о Шешковском, имевших хождение впоследствии, вместо менее известного графа Потемкина действующим лицом сделали всем известного князя Потемкина-Таврического — довольно распространенное явление в истории, когда смешиваются разные вожди, князья, цари, да и любые личности, носившие одно и то же имя.

Граф Потемкин — который *не Таврический* — стал жертвой сплетни не в

потомках, а при жизни. В феврале 1796 года *все говорили, что он опился ядом...* Продолжим чтение статьи в энциклопедическом справочнике:

В январе 1796 года разнесся слух о привлечении Потемкина к суду по обвинению в умерщвлении и ограблении в 1786 году персидского принца Гедает-Хана, искавшего спасения на русском военном судне от преследования своего брата; но обвинение это не заслужено Потемкиным и не согласуется с истиной. В защиту себя Потемкин написал стихотворение «Глас невинности»... в нем он упрекает клеветников в неблагодарности к человеку, неоднократно жертвовавшему жизнью для славы отечества. Потемкин не вынес удара, тяжело заболел горячкой и умер 29-го марта 1796 года; были слухи, что он принял яд, избегая наказания; рассказывали, будто Екатерина послала ему рескрипт с одним словом «умри», и он умер через несколько часов...

Какие страсти, прямо как во времена Древнего Рима, когда какой-нибудь Нерон, злодействуя, приказывал тому или иному подчиненному умереть, и тот покорно глотал яд или вскрывал себе вены. Не удивительно, что некоторые господа, склонные видеть во всем заговоры и происки, усмотрели в кончине Потемкина коварные козни обер-секретаря Тайной экспедиции! Пошел слух, будто граф *умер скоропостижно после свидания с Шешковским*. Такое свидание не могло состояться по очень простой причине: Семена Ивановича в 1796 году не было в живых. Он, *тайный советник и равноапостольного князя Владимира второй степени кавалер*, как начертано на его надгробном камне на Лазаревском кладбище при Александро-Невской лавре: «Скончался 1794 года, мая 12-го дня», — и это является одним из немногих достоверных и неопровержимых фактов по делу о Шешковском.

(Окончание следует.)

Владимир ЯРАНЦЕВ

## ХОР И ГОЛОС

*Прашкевич Г. Русский хор: Повести. — Новосибирск: Свинья и сыновья, 2018. — 350 с.*

В книгах Геннадия Прашкевича всегда есть некая загадка, точнее, атмосфера тайны, в которой важна не разгадка, а что-то совсем другое. Главное — вот эта аура, когда нечто тревожное, неясно-волнующее озадачивает, ошеломляет, иногда одурманивает читателя, и он уже согласен на все, лишь бы развязка состоялась.

Создается такой эффект путем торжества сюжета — вставными новеллами, байками, описаниями, а также воспоминаниями и прочими ретроспекциями, с добавлением развернутых детализаций, нюансировок. А также чисто авторским приемом — рефренами, как в стихах или музыке.

Вместе с очевидными следами поэзии, которой писатель давно и серьезно занимается, и не менее очевидной склонностью к иронии и юмору это и составляет сложную формулу творчества Г. Прашкевича, его весьма органическую, точнее, органичную «химию».

Формула эта — загадочность, замешанная на поэтическом языке и мышлении при обязательной, врожденной какой-то ироничности — практически не менялась вот уже лет сорок. С некоторыми закономерными отклонениями, когда туманность подменялась «разговорностью»: превышением «лимита» на диалоги и сопутствующие истории, как это было в повестях о промышленных

шпионах и других «крутых» ребятах. Или когда загадочность сразу, без лишних разговоров, принимала форму научной фантастики, как это было, например, в «Кормчей книге». Найти меру в соотношении ингредиентов помог исторический жанр, конкретно — тема Сибири XVII—XVIII вв., когда в «Секретном дьяке», например, загадочность удачно соответствует цели путешествия, а ненарочитая ироничность-смешливость находит выход в использовании языка той эпохи, полного забавных, на наш нынешний взгляд, речений.

В новой книге это чувство меры обрело почти классический — в смысле «формулы» творчества Г. Прашкевича — вид. Важно, что писатель вновь представил нам цикл: склонность к циклизации заметна у него еще с «Курильских повестей» и вплоть до «Русской Гипербореи», цикла повестей исторических. Важно и то, что Г. Прашкевич тут выступает в «чистом» виде: ведь известно, что он много и плодотворно работает в соавторстве. Есть в этом феномене, однако, и своя «химия», заслуживающая отдельного разговора. Например, в цикле «коммерческо-бандитских повестей», написанных вместе с А. Богданом: кто из авторов здесь отвечает за «криминальную», а кто за «человеческую» составляющую? Особенно неудержим Г. Прашкевич в книгах

биографических, ЖЗЛовского формата, добрая половина которых написана в соавторстве. Это симптом другой черты Г. Прашкевича, писателя и человека, — его острое чувство товарищества, необходимости дружеского плеча. Особенно характерно его давнее содружество с А. Етоевым, известным книголюбом из Петербурга.

Знакомство тоже симптоматичное, так как открывает в Г. Прашкевиче завязку «книжника», и свойство это сполна проявляется в его текстах. Произведения Г. Прашкевича всегда познавательны и «просветительны». Есть, правда, и обратная сторона такой прекрасной эрудированности автора: вольно или невольно он бывает свысока снисходителен к своим персонажам — из тех, кто мало или совсем необразован. Отсюда зачастую и исходит его авторская ирония, порой довольно едкая, язвительная, развенчивающая. Особенно явственно это проявляется во второй повести книги «Русский хор» — «Иванов-48», в описании жителя-бытия одной «вороньей слободки» — новосибирского барака 1948 года. Тут что ни персонаж, то гротеск: татарка Аза «в крапчатых военных штанах», инвалид с отталкивающей фамилией Пасюк и всеми вытекающими из этой фамилии крысиными свойствами, осколок прошлого — Француженка, ссыльная, а также библиотекаряша Полина, маниакально жаждущая родить непременно от героического Полярника из того же барака. Автор, пожалуй, перебарщивает с гротескностью, но в противовес этому чувству авторского превосходства над столь убогими персонажами дан тот самый заглавный Иванов, который изображен с подлинно человеческим, теплым к нему сочувствием. И пусть Иванов столь по-детски наивен, что вдруг загорается мыслью получить Сталинскую литературную премию за свой крамольный роман.

И так же девственно непорочен идеологически, когда пишет книгу «Идут эшелоны» о герое-машинисте Н. Лунине, не подозревая, что это «говно» (простите: категория эстетическая, без которой не обойтись) в глазах ценителей. Все это только в плюс газетчику и писателю Иванову при общении со следователем Сергеевичем, подлинным волком в сравнении с агнцем Ивановым. Но как истолковать искреннее недоумение литератора, почему рукопись о председателе сельхозячейки Яблокове, данная ему на экспертизу чекистом, так отличается от книг не только коллег по цеху, но и его самого? Хотя он и понимает, что написана она, безусловно, им. И выходит, что он одновременно и типичный писатель-контрреволюционер, написавший этакую крамолу, и буквально доносчик, обещающий в письме к Сталину «доносить» «все, о чем говорит народ». Он не сноб и не зоил, но все, что он думает о произведениях своих соратников по перу, говорит без колебаний и начистоту. Если в этом и состоит ответ на «вопрос о национальной идее» (см. подзаголовок к повести), то он весьма противоречив и загадочен. Г. Прашкевич здесь явно не нуждается ни в логике, ни в доказательности, ни в публицистических эскападах, а только в чувстве: ему достаточно симпатии и любви к своему герою.

Другое время и другие люди в повести «ЗК-5». Другая и «воронья слободка» — «Зона культуры» № 5, учрежденная правительственным указом. А точнее — зона бескультурья. Ярких ее представителей герой повести Салтыков встречает по дороге в сей оазис. «Фактурный чувачок» поэт Рогов-Кудимов, пишущий о январе 1924 года в алтайской деревне, озабоченной похоронами Ленина; «крепыш» полковник Овцын, толкующий о «глубинных бомбах» и «духовных костяках»; «циркульный поэт» Рябокобылко, паразитирующий в своем

«творчестве» на журналах мод. В общем, достаточно, чтобы составить представление об обитателях и гостях этой «ЭК», многозначительно созвучной тюремным «зэка». Но вместо Иванова, оправдывающего существование жителей «барака на Октябрьской», автор предлагает нам двух неравноценных главных героев. Один, Салтыков, защитник и «охранник» культуры прошлого, за что получает прозвище «Кистеперый» — то есть некое ископаемое существо. Другой, Овсянников, режиссер-авангардист, для которого литературная классика — только подсобный материал, сырье в его творчестве, адресованном не назад, в прошлое, а вперед, в будущее.

Казалось бы, симпатии автора повести налицо, когда далеко зашедший, вернее, зарвавшийся в своих экспериментах с прошлым режиссер прилюдно топит собачку, условную Муму (действие повести происходит в Год Тургенева), доводя лозунг нового искусства — «Искусство есть то, что мы считаем искусством» — до логического конца. То есть до самоотрицания и саморазоблачения. Но зачем тогда с таким увлечением описывается одно из «покушений на искусство России» этого безбашенного Овсянникова, вздумавшего укоротить Льва Толстого, убитого, согласно его хрестоматии «История России в художественных образах», еще в 1861 году на дуэли с Тургеневым? Зачем все эти «Подвиг вредителя», «Истопник», «Аудиторская проверка» и прочие дикие фантазии по следам Пушкина, Гоголя, Тургенева и т. д., если безусловная правда на стороне Салтыкова? Да потому, что правда у Г. Прашкевича как раз таки не безусловна и не абсолютна, а эмпирична и поделена как минимум надвое (Ивановых ведь тоже двое: автор лунинских «Идут эшелоны» и — рукописи о Яблокове). Эта правда, истина — где-то там, вдали, в будущем, она фантастична в лучшем

смысле слова, т. е. не из прихоти праздного борзописца, она подчас требует жертв, роковых поступков и в конечном смысле реалистична. Как реалистичен один из главных «любимчиков» Г. Прашкевича, к которому восходит Овсянников, — «скандальный поэт» Мориц из романа «Пятый сон Веры Павловны», он же реальный томский поэт Макс Батурин. Не зря Овсянников гибнет после художественного акта с собачкой, как Мориц-Батурин в повести 2001 года, а глубоко положительного Салтыкова сравнивают с крысой, «жадным грызуном». Неслучайно и то, что часы в этой зоне указывают «будущее время», а не обычное, скучное.

Вряд ли, однако, Г. Прашкевич так уж стремился морализировать, быть концептуальным, идеологичным, высококобым. Специальных «философских» мест тут нет. Он и в этой драматичной повести остается самим собой, привычно сбиваясь на не всегда лирические отступления и включая свою неподражаемую иронию, на этот раз в адрес новоиспеченных футуристов, в детских шалостях своих колеблющихся тот самый треножник, на самом деле непоколебимый. Сам же автор, кажется, забывая и о Салтыкове, и об Овсянникове, демонстрирует вдруг нам свою начитанность и осведомленность о редких литературных именах разных времен. И делает это с какой-то непосредственностью, едва ли не детской (такой же наивностью книголюба отличается и издавшее эту книгу издательство «Свиный и сыновья», всякий раз изумляющее читателя редкостными или вроде бы уже забытыми, но интереснейшими книгами), уподобляясь и Иванову, и Овсянникову.

И Пантелею Кривосудову-Трегубову, герою еще одной повести этой книги — «Упячка-25». Все это герои одного типа, одного склада, одной крови. Мечтательные, но и знающие жизнь,



ребячливые — и очень взрослые, с виду слабые, но способные на большой поступок, и при этом глубоко, сущностно творческие, с острым чутьем на будущее. Г. Прашкевичу мало таких правильных «бинарных оппозиций», он всегда ищет иные тропки, всегда утончает, не замечая сгустившегося тумана то ли загадочности, то ли невнятности, неясности. В повести таким туманящим фактором выступает компьютерная субкультура, особого рода идиотизм не всегда глупых инфантилов, говорящих на «олбанском языке», одним из понятий которого и является «упячка». Само по себе колоритное — и по звучанию, и по экспрессивности — оно, согласно толкованиям, выражает чувство безграничной радости и счастья, возникшее без особой причины. Лишь бы не было скучно. Созданное людьми компьютерной эры, давно уже перепробовавшими все виды борьбы со скукой, это понятие переносится Г. Прашкевичем во времена Хрущева. Юный Пантелей здесь с первых же страниц, вслед за скупыми сведениями о сером существовании героя в северном Певеке, уже начинает рисовать, творить, удивлять. И вряд ли случайно (якобы из-за отсутствия других красок) он изобразил людей, гусей, небо одним синим цветом. Это стало его находкой, открытием, изобретением — видеть мир по-своему и в то же время в его подлинном цвете и свете.

Но не все так просто: для Г. Прашкевича это было бы слишком элементарно. Ведь и Овсянников, этот отпетый ЗЭК № 5, тоже все видел и делал по-своему, но потерпел крах, став заложником только одной идеи борьбы с прошлым. Вот и Кривосудов стал бы еще одним ущербным самородком в ряду прочих местных художников и чудаков: один для пущего шарма воздействует на свои полотна паром от испорченных батарей, другой использует кухонных тараканов,

художественно объедающих гуашь; третий, инженер, толкует о чудесных свойствах изобретенной им детали; четвертый, историк, — об одном бурятском ламе, проскакавшем на коне по глади озера. Но, как нарочно, рядом с Пантелеем оказывается очаровательная молодая, а главное, энергичная искусствоведша. Заурядную фанерку с коровьей лепешкой, как-то оригинально, «чудесным образом», засохшей на ней, она смогла подать как шедевр Пантелея. Хотя он всего лишь подобрал ее на улице. И вот очередное везение: в новосибирский Академгородок приезжает сам Первый, т. е. Хрущев. Ошеломленный наглостью художника, взявшего в соавторы корову и вывесившего сей артефакт на стену как полноценную картину, Хрущев, хоть и не сразу, ее принимает. По-своему «художник», он следует при этом своей особой логике крестьянина, оказавшегося на троне, самодура, так и не отделившегося от былой, простонародной среды, ее нравов и вкусов.

И конечно, в первую очередь Кривосудову и его опекунше повезло со временем — самый разгар «оттепели», 1961 год: Гагарин, Солженицын в «Новом мире»... Временем, внезапно забежавшем далеко вперед, в эпоху тех самых «культурных» номерных «зон», где искусством является все, что ты сам считаешь таковым.

Несмотря на кажущийся туман и художественный беспорядок этой прозы, строится она по своей, пусть и неочевидной, логике. И согласно ей, этой логике постоянного стремления к будущему, известному, полуизвестному, почти не известному, вторая половина «Упячки-25» выглядит нелогичной, сплошным падением в прошлое, деградацией, декадентством (в буквальном значении слова). Творческая парочка, Пантелей и Галина Борисовна (имя вполне символичное), становятся конъюнктурщиками, а чаемый благо-



детель, маразматический Брежнев — злой карикатурой (в духе В. Войновича), с очередным: «Упячка!» в адрес огромного списка наград Генерального. В конце повести Пантелеймону хочется вернуться в детство, на свою малую родину, станцию Тайга, где он увидел не коровью лепеху на дощечке, а именно «Солнце земное», как называли потом эту фанерку-картину. Не отделаться, кстати, от параллели с книгой Иванова «Идут эшелоны» о Н. Луние, которую библиотекаря называют «говном». Но, оказывается, в пространстве этой эстетической категории возможно как низведение, так и восхождение. И в этом весь Г. Прашкевич.

Герою «Упячки-25» приходится жить одним днем, в котором уместается и прошлое, и будущее. О прошлом можно теперь только ностальгировать, мечтать, воссоздавать его по памяти. Повесть «Русский хор», завершающую книгу, вполне в духе художественных авантюризм и дерзаний Г. Прашкевича можно назвать творением Пантелея Кривосудова-Трегубова. Для него, потерявшего вкус к будущему, прошлое ведь окрашено в светлые, радужные тона. И не мог ли он в порыве ностальгии представить себя сыном служилого помещика в одной из «не самых знатных русских губерний» аж в начале XVIII века, в славные времена Петра I? Но он уже не будет рисовать синих гусей или подбирать на улице фанерки с навозом: Петр I не Хрущев, может и головы лишить — но может и отправить за границу учиться, например в Венецию. Правда, он сошлет туда юного Алексея Зубова за другое — за сходство с ненавистным ему преступным сыном. И где бы он ни был, в родных ли Зубовке и Томилине, в Венеции или на службе у царя, юноша будет знать только один талант: слышать гармонические созвучия, музыку, «музикию». Но зато какой талант!

Вместе с красотой звуков он стал видеть окружающий мир, их породивший, людей, животных, облака, дождь. И наконец красоту как таковую и время, которые, подчеркивает автор, он «стал остро чувствовать». Но тут, когда, казалось бы, одна теперь дорожка у Алеши: блаженного, юродивого, святого (имя-то у него непростое, а «житийное», как у Алексея, человека Божия, или у Алеши Карамзова), является кривосудовский комиссар Благов и круто меняет судьбу героя. Идиллия кончается, ностальгия, гипотетически приписанная нами Кривосудову, развеивается, и начинается собственно Г. Прашкевич.

Нет, музыка продолжает звучать в герое, но теперь это музыка большой жизни, больших людей и дел — и даже подвигов. Музыка эта петербургская, новоиспеченного «Санкт-Петербурха». Сходство с сыном Петра I в этом смысле оказалось не случайностью или авторской прихотью, а знаком того, что изначально Алексей имел признаки не зубовской, а петербургской породы. И Венеция тоже не случайна: как и Санкт-Петербург, это город на воде, город воды. И уж тем более не случайна встреча с Антонио Вивальди, который разжигает в Зубове желание написать «виватный кант». И для него «следует одержать победу». Возможно, что как раз ради этого Алексей становится истинным сыном Петра I, а не мнимым, только внешне похожим, и за это отправлен «отцом» на верную погибель — в неравный бой с превосходящими силами шведов. «Для чего он (Зубов. — В. Я.) еще нужен, кроме нашего утверждения?» Жизненно важно утвердить «нового человека», «породу новых людей», иначе не устоит ни Петербург, ни государство, ни сам Петр. Несколько главков, написанных словно от лица Петра I, — как размышления самого Г. Прашкевича, выдвинувшего смелую, фантастическую гипотезу сходства и вдруг начавшего опасаться, что

его герой, ничего не умеющий и не знающий из «навигационных наук», не сдюжит.

Но виктории не может не быть: она подготовлена верным слугой и хранителем Алексея Ипатичем, досконально, до досточки, изучившим еще до решающей битвы вражеский корабль «Святое Пророчество». А главное, она вершилась благодаря той самой волшебной музыке, что «звенела в голове» героя и здесь, перед боем, и в Зубовке, и в Венеции, и в Пиллау, где строилось «Пророчество». И под эту музыку он уже «мысленно выстраивал будущий хор», где нашлось бы место всем «матрозам» для исполнения «виватного канта». Читателю осталось узнать детали дерзкой виктории: ложное «Сдаемся!» — и внезапное нападение с убийством и пленением растерявшихся шведов. Все прошло как по нотам, как в музыкальной пьесе, на ходу сочиняемой командиром утлой шнявы Алексеем: «престо, престо» с переходом на «адажио» и резкое «аллегро», «виво», и наконец — «модерато» и «анданте». Вот и получается, что викторию сию одержали не только хитроумный Ипатич или музыкальный Алексей, а весь русский хор, то самое «тутто», т. е. «все вместе», которое рефреном звенело в голове героя во время сражения и подзаголовком стоящее в «Части второй» повести. И все произведение, таким образом, развивается как музыкально-хоровое, от «Части первой (ауфтакт)» до третьей («да капо»), самой короткой, эпилоговой. Так что если и могло такое привидеться, Пантелею Кривосудову, то разве что под музыку и хоровое пение.

А разве не вся книга Г. Прашкевича являет собой такой «русский хор»? И указания на это можно встретить в других повестях. Вспомним финал «Иванова-48»: на «старой, черно-белой карточке» все обитатели барака на Октябрьской стоят как родные: «Полярник

притиснул Иванова к горячей татарке», «Инвалид прижался к Полярнику», тут же рядом и женщины, вполне свои, бок о бок. Без всех них, этого русского хора — 48, не было бы Иванова и его подвига в виде подсудной рукописи, не было бы и «национального вопроса», поскольку всех их объединило, без различия наций, торжественное событие — Сталинская премия Полярника. Надо только, чтобы таких поводов было как можно больше, и, если их нет в реальной жизни, надо их создавать, придумывать, изобретать. В крайнем случае просто мечтать, жить отчасти в будущем. Как это происходит в «ЭК-5», события которой отчасти вымысел (сюжет, видимо, возник после не столь уж давнего решения властей организовать специальные игровые зоны в разных местах страны), отчасти правда (субкультура интернетовского беспредела с русским языком и способами коммуникации, пофигистское отношение к прошлому все более становятся культурой без всяких приставок). Там тоже есть некое сообщество, спаянное обожанием режиссерских фокусов Овсянникова (очевидно, прототипом выступил неизвестный Кирилл Серебренников), и это тоже своего рода хор. И тоже в какой-то степени русский, ибо Овсянников русскую литературу знает не понаслышке, а детально, что как-то оправдывает его эксперименты.

Собственно, и сам Г. Прашкевич тоже отчасти Овсянников, и авторы аннотации к книге косвенно подтверждают это, написав фантастическую (в обоих смыслах слова) фразу: «Нигде, ни в одной стране мира, прошлое не зависит так сильно от будущего, как в России». Это парадокс, но не больший ли парадокс — название книги, объединяющее все эти повести в один коллективный портрет нашего народа — вопреки тому, что в этом хоре обязательно найдется голос, желающий петь

соло. То есть найти, открыть, принести в мир что-то совершенно новое. Как написал в своем вступлении «От автора» сам Г. Прашкевич: «Явиться в мир с каким-то своим личным откровением».

Но мы все-таки думаем, что дело тут не в одном писателе, пусть даже таком «эсклюзивном», со своим голосом, как Геннадий Мартович Прашкевич. Пора уже обратить внимание на такую важную деталь, как подписи под повестями: под двумя из них, первой и последней, значится: «Санкт-Петербург — Новосибирск». И это указание на то, что в их создании принимала участие великая и загадочная Северная столица, и кто же не ведаёт, что это самый умышленный, самый фантастический город? А как пройти мимо большого друга Г. Прашкевича Александра Етоева, петербуржца по рождению и духу, писателя не менее фантастического, чем его родной город? Вместе с В. Лари-

оновым он создал такой необычный литературный портрет Г. Прашкевича, что не уступит прозе самого героя.

А. Етоев заметил, что творчество Г. Прашкевича поэтично по сути своей. Отметим: «перетекать из тонкостенного поэтического стекла в граненую прозаическую посуду» нашему земляку, как представляется, не всегда уютно. Г. Прашкевич пытается соединить прошлое и будущее посредством парадокса — способ («сосуд») еще более «тонкостенный», чем поэзия. Зато объединить отдельный, часто хрупкий, голос и хор всего остального мира у писателя, кажется, получилось. По крайней мере, ни Пантелей, ни Иванов, ни Овсянников, ни Алексей Зубов одинокими не остаются. Ни прижизненно, ни посмертно. И это залог того, что будущее у России есть. Если, конечно, выживет ее многострадальное прошлое.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Васильев Константин Борисович** родился в 1952 г. Окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор ряда журнальных публикаций и учебных пособий. Готовил к печати для издательства «Азбука» серию «Русская словесность» и редактировал такие произведения, как «История кабаков в России» И. Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г. В. Есипова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Живет в Санкт-Петербурге.

**Габриэль Александр** родился в 1961 г. в Минске. Окончил Белорусский национальный технический университет, инженер-теплотехник. Работал научным сотрудником в НИИ, занимался коммерческой и банковской деятельностью. Автор многочисленных журнальных публикаций и пяти книг стихов; трижды лауреат конкурса им. Н. Гумилева (Санкт-Петербург), лауреат Чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, Латвия). С 1997 г. живет под Бостоном (США).

**Костин Владимир Михайлович** родился в 1955 г. в Абакане. Окончил филологический факультет Томского государственного университета, кандидат филологических наук. Преподавал, был председателем Томского отделения Союза российских писателей. Живет в Томске.

**Марков Павел Юрьевич** родился в 1979 г. в Перми. Вырос в Красноярском крае. Окончил Красноярский аграрный университет. Трудовой путь начал с дворника, окончил директором. На этом завершил карьеру и из Сибири перебрался на Кубань, где проживает и поныне. Ранее не публиковался.

**Охотникова Вера Александровна** родилась в 1953 г. в с. Коптелово Алапаевского района Свердловской области.

Работает преподавателем рисунка и живописи в детской школе искусств. Публиковалась в журналах «Урал», «Арион», «Южная звезда». Автор двух книг стихотворений. Живет в Верхнем Тагиле.

**Савельева Елена Ибрагимовна** родилась в 1973 г. в Перми. Окончила филологический факультет Пермского государственного университета. Работала журналистом, литературным редактором, копирайтером. Член Союза журналистов России. Живет в Перми.

**Сапрыкина Татьяна Валентиновна** родилась в 1970 г. в Новосибирске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Публиковалась в журналах «Полдень. XXI век», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Автор сборника сказок для детей «Читалка». Лауреат премии им. Н. Самохина (2018). Живет в Новосибирске.

**Софронов Вячеслав Юрьевич** родился в 1949 г. в Тобольске. Окончил физико-математический факультет Тобольского педагогического института. Автор двух десятков книг. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Родина», «Врата Сибири», «Ямальский меридиан» и др. Доктор исторических наук, профессор. Член Союза писателей России. Живет в Тобольске.

**Яранцев Владимир Николаевич** родился в 1958 г. в Калининне. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 06.06.2019. Дата выхода № 7 за 2019 г. в свет 18.07.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.